

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

5

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1984

СОДЕРЖАНИЕ

Кононов А. Н. (Ленинград). Актуальные проблемы тюркского языка	знания
Эдельман Д. И. (Москва). К генетической классификации иранских языков	14
Жукова А. И. (Ленинград). Инкорпоративный комплекс как словосочетание в языках чукотско-камчатской группы	1

ДИСКУССИИ И СЛУЖЕНИЯ

Щербак А. М. (Ленинград). О постратических исследованиях с позиций тюрколога	1
Потаенко Н. А. (Пятигорск). К языковому освоению временной структуры действительности	1
Лантеева О. А. (Москва). О языковых основаниях выделения и разграничения разновидностей современного русского литературного языка	56
Колосова Т. А. (Воронеж), Черемисина М. И. (Новосибирск). О принципах классификации сложных предложений	60
Малащенко В. П. (Ростов-на-Дону), Богачев Ю. П. (Москва). Словосочетание и члены предложения	81
Овчаренко В. М. (Харьков). Моделирующие функции субстанции выражения в языке	87
Шаховский В. И. (Волгоград). Значение и эмотивная валентность единиц языка и речи	97

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Катлинская Л. П. (Москва). К вопросу о категориях описания в синхронном словообразовании	104
Эмирова А. М. (Самарканд). К вопросу о номинативной сущности фразеологических (идиоматических) предикатов	114
Забавников Б. Н. (Москва). К проблеме структурирования речевого акта (речевого действия)	119

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Карцевский С. Введение в изучение междометий	127
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Волкова З. Н. (Москва). Алисова Т. Б., Репина Т. А., Таривердиева М. А. Введение в романскую филологию	138
Полиская М. С., Журильская М. А. (Москва). Handbook Australian Languages	141
Тестелец Я. Г. (Москва). Dixon R. M. W. The Languages of Australia	146
Смирнов Л. Н. (Москва). Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции	148

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	152
Указатель статей, опубликованных в 1984 г.	154

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева,
В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),
О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-49, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78
Зав. редакцией И. В. Соболева

КОНОПОВ А. Н.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЮРКСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Становление и развитие тюркского языкознания в советскую эпоху¹ непосредственно связано с решением ряда насущных практических задач, возникших при реализации ленинской национальной политики в области преподавания родного языка и его функционирования в общественно-политической жизни тюркоязычных народов и народностей.

Социолингвистический анализ функционирования и развития тюркских языков — это сравнительно новое направление в тюркском языкознании постепенно стало привлекать к себе все возрастающее внимание советских тюркологов.

Взаимодействие тюркских языков между собой и тюркских языков с русским в эпоху развитого социализма в СССР представляет собой явление исключительного значения как для языкознания, так и для социологии [5, 6]. Тюркские языки с их длительной историей дают исследователю интересный и важный материал для изучения процессов функционального и внутривидового развития языков социалистических наций (см., например, [7; 4, с. 27—33]), особое влияние на которые оказывает русский язык — язык межнационального общения. Углубленному изучению воздействия русского языка на всестороннее развитие тюркских — особенно письменно-литературных языков — посвящены многочисленные исследования (статьи, монографии, диссертации), имеющие и определенное практическое значение.

Расширение общественных функций литературных языков народов СССР обогатило эти языки разнообразной терминологией, охватывающей все отрасли экономики, науки и культуры. Бурное развитие художественной, общественно-политической, научной литературы, многообразие форм использования литературных языков привели к перестройке некоторых фонетических и синтаксических норм в ряде тюркских языков.

В настоящее время перед тюркологами-лингвистами стоят важнейшие задачи практического характера: расширение терминологической базы национальных тюркских языков, дальнейшая нормализация литературных языков и широкая работа по вопросам культуры устной и письменной речи. Реальных шагов требуют и задачи совершенствования алфавитов и орфографий (см. [8], а также [1, с. 23, примеч. 11]).

Русский язык — язык межнационального общения в Советском Союзе, многочисленные переводы общественно-политической, художественной, технической литературы на тюркские языки (равно как и на другие языки) играют положительную роль, оказывая благотворное влияние на развитие и обогащение синтаксиса, морфологии, фонетики и лексики тюркских языков.

Исследование грамматики и фонетики тюркских языков в синхронном плане — создание научно-теоретических трудов, а также практических пособий является одной из важных задач советского тюркского языкознания, которые, в основном, успешно решаются. В дооктябрьский период, на уровне своего времени, был описан грамматический строй (преимущественно морфология) чувашского, та-

¹ Анализ достижений советского тюркского языкознания и современных задач, стоящих перед ним, с указанием большой литературы посвящен ряд обзоров, в частности [1—3; 4, с. 12—34, 99—141, 206—210]. Многие проблемы, названные ранее, сохраняют свою актуальность и поныне, поэтому автор, избегая повторений, в некоторых случаях лишь кратко указывает на них, давая самую последнюю литературу и отсылая за подробностями к другим источникам.

тарского, турецкого, азербайджанского, кумыкского, якутского, алтайского, казахского, тувинского языков².

В советскую эпоху все тюркские языки СССР, а также турецкий язык неоднократно получали научные описания различной степени полноты. 70-е—80-е годы ознаменованы появлением новой серии грамматик, написанных коллективами ученых тюркоязычных республик и представляющих собой серьезные, а во многих случаях и фундаментальные исследования грамматического строя языков: татарского (М., I, 1969; II, 1971), туркменского (вышло два тома — Ашхабад, I, 1970; II, 1977), азербайджанского (Баку, 1971 — на русск. яз.; в трех томах на азерб. яз. — вышло два тома: I, 1978; II, 1982), хакасского (М., 1975); карачаево-балкарского (Нальчик, 1976), узбекского (в двух томах на узб. яз. — Ташкент, 1976), башкирского (М., 1981), якутского (М., 1982). Эту серию открывал вышедший несколько ранее труд казахских языковедов (Алма-Ата, 1962), который к настоящему времени, по-видимому, уже нуждается в обновлении. В связи с последним хочется подчеркнуть, что работа над грамматиками (как и над словарями) активно функционирующих тюркских языков должна вестись в соответствующих научных коллективах непрерывно. Углубление и накопление знаний, фиксация объективных изменений в языке, совершенствование приемов описания — все это осуществляется в исследованиях более частного порядка, которые затем с определенной периодичностью (10—15 лет) необходимо обобщать в фундаментальных академических грамматиках.

Заметны достижения в области изучения фонетического строя тюркских языков, прежде всего с использованием экспериментальных методов. Расширение сети лабораторий экспериментально-фонетических исследований (наряду с Ленинградом — Новосибирск, столицы тюркоязычных союзных и автономных республик и областей и некоторые др. города), оснащение их разнообразной аппаратурой, подготовка квалифицированных кадров, совершенствование инструментальных приемов и методики анализа³ позволили уже выполнить большое число работ той или иной степени частности, затрагивающих отдельные стороны (вокализм, консонантизм, акцентуация и т. п.) или фрагменты (длительность гласных, характер противопоставления согласных и т. п.) звуковых систем [2, с. 13—14, примеч. 2]; к сожалению, медленно идет обобщение полученных данных, и создание подобных трудов по многим из тюркских языков остается насущной задачей наших фонетистов. Отрадно, что исследованиями охвачены некоторые диалекты, существенно отличающиеся от соответствующих литературных языков — речь долган, шорцев, барабинцев, телеутов [2, с. 14, примеч. 3], кумандишцев [11] и др.

Привлечение нового исследовательского материала по всем аспектам языка — фонетике, грамматике, лексике — вообще является доброй традицией советской тюркологии (в этой связи уже приходилось отмечать наши несомненные успехи [1, с. 16]; из новых книг добавим [12—14]). Наряду с ростом фактологической базы немалое значение имеет и неуклонное повышение теоретического и методического уровня описания языковых явлений. Этому весьма способствует постоянное и широкое обсуждение целого ряда узловых вопросов тюркской грамматики. В области морфологии — это теория частей речи и функциональных форм, теория грамматических и лексико-грамматических категорий (залога, числа, вида и аспекта и т. п.), морфологическая структура слова и т. д. (см., к примеру, [15—17]). В области синтаксиса — это теории словосочетания и предложения (особенно сложного и сложноподчиненного), разработка которых на широком и разнообразном материале во многом остается заслугой советских тюркологов. Весьма актуальна здесь задача четкого разграничения разновидностей предложения — простого, осложненного и сложного. В этой связи дает о себе знать старый, не решенный до конца вопрос о различии между именными и глагольными пред-

² Подробнее об основных направлениях в изучении грамматического строя тюркских языков в дореволюционный период см. [9, с. 299—307].

³ Наглядное представление обо всем этом можно почерпнуть в [10].

ложениями, а также о природе функциональных форм глагола — причастии, деепричастии, глагольном имени (масдаре), образующих конструкции с грамматически выраженным подлежащим или без него; подобные конструкции со своим подлежащим некоторые советские синтаксисты вслед за известным французским тюркологом Жаном Дени (1879—1963) считают возможным рассматривать как особую синтаксическую категорию, которую Дени назвал *quasi-proposition*. Однако само слово *quasi* разрушает всё построение, так как оно в применении к грамматическому объекту смысла не имеет: все может быть *quasi*!

Последнее время наибольшее число сторонников приобретает точка зрения, согласно которой подчиненное (придаточное) предложение должно иметь форму предложения, т. е. совпадать по форме с самостоятельным предложением; при этом имеется в виду, что подчиненная часть семантически проявляет себя только вместе с главным (подчиняющим) предложением.

Специалист по германским языкам В. Г. Адмони в статье «Сложносоединенное предложение в тюркских языках. (Заметки нетюрколога)» (СТ, 1982, № 3) предложил ввести трехчленную парадигму сложного предложения: сложноподчиненное предложение (паратаксис), сложноподчиненное предложение (гипотаксис), сложносоединенное предложение (гипертаксис). Эту продуктивную идею В. Г. Адмони поддержал и критически развил М. З. Закиев в статье «Актуальные проблемы сложных предложений в тюркских языках» (СТ, 1983, № 3).

При решении вопроса о природе сложного предложения необходимо иметь в виду малое количество подчинительных союзов тюркского происхождения; в современных тюркских языках, литературы на которых развивались под воздействием арабского и персидского языков, подчинительные союзы в основном — заимствованы из названных языков; союзные сложноподчиненные предложения соответствуют строю сложного предложения индоевропейских языков. Что же касается бессоюзного сложноподчиненного предложения, то в этом случае его структура определяется: 1) лексическим значением сказуемого подчиняющей части сложного предложения; 2) морфологическим оформлением сказуемого подчиненной части сложного предложения; 3) интонацией («союзной паузой»); 4) косвенно-вопросительной конструкцией (косвенно-вопросительное подчинение) [18].

В тюркологии появляются первые работы по перспективному направлению семантического синтаксиса [19—21]. Очень интересно работает в Новосибирске на материале тюркских и других языков коллектив под руководством М. И. Черемисиной, выпустивший ряд сборников, главным образом, по синтаксису сложного и осложненного предложения [22—24]. Глубокое исследование одной из центральных категорий синтаксиса — предикативности предпринято в ряде статей и обобщающей монографии Р. Г. Сибгатовой [25].

Исследование звукового и грамматического строя тюркских языков ведется также в сравнении с иносистемными — индоевропейскими языками, что отвечает насущным требованиям успешного преподавания родного и иностранных языков в средней и высшей школе тюркоязычных республик и областей Советского Союза. Особое значение в тюркских контрастных исследованиях имеет сопоставительное изучение фонетики и грамматики русского и тюркских языков. Дальнейшие достижения в этой важной отрасли тюркского языкознания связаны с углубленной разработкой методики подобных работ.

Сравнительно-историческая и историческая фонетика и грамматика тюркских языков — отрасли, которые достаточно активно развиваются в последние 10—15 лет (солидный обзор проблематики и большую библиографию, отечественную и зарубежную, содержит [26]). Этот период ознаменовался у нас созданием важных трудов, среди которых назовем прежде всего три книги А. М. Щербака [Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970; Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. (Имя). Л., 1977;

(Тлагол). Л., 1981], книгу Н. З. Гаджиевой (Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973) и учебные пособия М. Г. Федотова (Сравнительная грамматика тюркских языков. Чабоксары, 1975) и Б. А. Серебренникова и Н. З. Гаджиевой (Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Баку, 1979). В секторе тюркских и монгольских языков Института языкознания АН СССР завершается создание четырехтомного труда «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков» (Т. I. Фонетика; объявлен выходом в 1984 г.).

Названные работы характеризуются стремлением авторов — наших ведущих компаративистов последовательно применить различные — традиционные и некоторые новые — приемы сравнительно-исторического метода. Однако тюркские языки ввиду своей исключительной структурной близости, когда, скажем, облик праформы во многих случаях фонетически и семантически почти не отличается от подавляющего большинства ее рефлексов, дают мало «материала» для их эффективного использования. Вот почему, я думаю, как справедливо отмечено, «перед тюркской компаративистикой стоит еще немало нерешенных проблем, как, например, установление критериев определения древности форм, способов расположения реконструируемых архетипов в одной хронологической плоскости, способов отделения древних реликтовых явлений от новообразований, отработка метода относительной хронологии появления звуков, слов, форм, определения исконных черт и отграничение их от особенностей, возникших под влиянием других языков, и т. д.» [26, с. 211].

Историческая фонетика и грамматика отдельных тюркских языков, несмотря на некоторые, в том числе удачные, опыты [27—29], все еще не вышли из стадии предварительных изысканий. Серьезные затруднения в этой работе вызывает то обстоятельство, что тюркские письменные памятники в большинстве своем не представляют единой линии развития. В истории письменно-литературных тюркских языков более и менее отчетливо намечаются следующие периоды: I. Язык тюркских рунических памятников (VII—IX вв.); II. Язык древнеуйгурских памятников (IX—XIII вв.); III. Язык памятников караханидской эпохи (X—XIII вв.); IV. Литературный язык улуса Чагатай и улуса Джучи—Золотой Орды (XIV—XVI вв.); V. Кыпчакско-огузский литературный язык Мамлюкского Египта XIV в.

В XIV в. на просторах Золотой Орды, Средней Азии и Египта возникла довольно обширная литература, лингвистической основой которой были смешанные языки: огузско-кыпчакский, кыпчакско-огузский, огузо-туркменский, староузбекский, карлукско-уйгурский (см. подробнее [30, 31], ср. [32]). Эта пестрая, неоднородная картина развития языка тюркских литературных памятников весьма осложняет задачу создания обобщающего исследования по истории тюркских языков.

Позднее, в XVII и последующих веках начинают складываться основные типы тюркских языков, получивших впоследствии статус национальных и языков народностей. Исследование истории сложения этих языков является одной из первоочередных задач.

В связи с историей образования и развития чувашского и татарского языков обсуждаются проблемы отношения названных языков к языку болгар [33—37]. С сожалением следует отметить, что хазарская проблема не привлекает внимания тюркологов-лингвистов.

Для достижения заметных успехов в области исторической грамматики необходимо выполнить большую предварительную работу: подготовить свод диалектных данных по фонетике, грамматике и лексике отдельных тюркских языков, которые затем должны быть сведены в компендиум, представляющий семью тюркских языков в целом. То же самое следует проделать по всем основным памятникам тюркской письменности, сведя их в общую систему диалектных данных и данных, извлеченных из памятников литературы.

Дальнейшее продвижение в деле исторических исследований находится в прямой зависимости от разработанности тюркского лингвисти-

ческого источниковедения, основная задача которого заключается в выявлении, археографическом описании, изучении и издании по строго определенной — единообразной — схеме памятников тюркской письменности всех жанров: поэзия, проза, исторические хроники, словари, глоссарии, грамматические трактаты.

При подготовке к изданию рукописного труда во весь рост встает проблема тюркской текстологии — основе основ исследования любого памятника письменности. Текстологическому изучению тюркских памятников письменности уделяется сравнительно (с их филологическим значением) немного внимания, хотя и в этой области заметно некоторое оживление (П. Шамсиев, Х. Сулейманов, С. С. Джикия, Г. Араслы, К. Каримов, М. Тахмасиб, Дж. В. Магарамов, Е. И. Маштакова, Ф. А. Салимзянова, Э. И. Фазылов, Я. С. Ахметгалиева).

Одна из самых сложных областей тюркского источниковедения — издание древнейших памятников — получила развитие в опубликовании Д. Д. Васильевым «Корпуса тюркских рунических памятников бассейна Енисея» (Л., 1983), а также во 2-м выпуске «Эпиграфики Киргизии» Ч. Джумагулова (Фрунзе, 1982). Не прекращалась разработка грамматического строя языка [38, 39] и палеографии [40] тюркской руники. Собрание древнеуйгурских источников пополнилось книгой Л. Ю. Тугушевой «Фрагменты уйгурской версии Сюань-цзана» (М., 1980). Продолжалось также текстологическое изучение древних памятников на основе выявления закономерностей их организации как текстов определенных жанров [41, 42]. Осуществляется подготовка ряда важных изданий: корпуса болгарских надписей (Ф. С. Хакимзянов), 2-го издания сутры «Золотой блеск» (Э. Р. Тенишев), описание уйгурских рукописей из фондов ЛО ИВ АН СССР (Л. Ю. Тугушева и Э. Р. Тенишев).

Выдающийся памятник караханидско-(карлукско-)уйгурской поры поэма «Кутадгу билиг» (1069/1070 г.) Юсуфа Баласагунского представлен теперь мастерски выполненным С. Н. Ивановым поэтическим переводом на русский язык (серия: Литературные памятники. М., 1983); однако в лингвистическом плане памятник в полном объеме еще не изучен.

Последнее время вновь привлекают внимание тюркологов «Кодекс Куманикус», кыпчакско-огузские памятники Мамлюкского Египта, рукописи из Каменец-Подольска, писанные армянским алфавитом (А. Н. Гаркавец, Я. Р. Дашкевич, И. А. Абдуллин, А. А. Чеченов и др.).

Особым разделом восточного лингвистического источниковедения является изучение теории и практики восточных лингвистических школ, для тюркологов прежде всего арабской, восходящей, как и европейское языкознание, к античной традиции. Средневековые тюркские словари и грамматики по своей структуре и терминологии целиком основывались на арабской грамматической схеме. (Заметим попутно, что ни средневековая, ни традиционная европейская грамматические системы не вскрывают в достаточной мере специфику тюркской морфологии и синтаксиса, поэтому необходим дальнейший пересмотр давно утвердившихся приемов описания). В этой отрасли в последнее время прибавилось: «Изысканный дар тюркскому языку». (Грамматический трактат XIV в. на арабском языке). Введение, лексико-грамматический очерк, перевод, глоссарий, грамматический указатель Э. И. Фазылова и М. Т. Зияевой (Ташкент, 1978); А. И. Чайковская. Тюркская грамматика в арабоязычных филологических трактатах XIII—XIV вв. Глагол. (Ташкент, 1981).

Лингвистическое наследие поэта и ученого Алишера Навои (1441—1501) еще ждет своего обстоятельного изучения, начало которому уже положено рядом работ (А. Усманов, У. Санакулов). Его трактат «Тяжба двух языков», имеющий большое значение для изучения истории узбекского языка, переведенный ранее на турецкий, персидский и английский языки, ныне переведен А. Н. Малеховой на русский язык. Важно не ослаблять усилий и по изучению самого языка произведений А. Навои как литературного языка определенной эпохи [43].

Исследование в лингвистических целях ханских жалованных актов-ярлыков, ханских посланий-битиков, родословных-шаджара/шеджере и

других исторических источников на тюркских языках, несмотря на предшествующую довольно длительную традицию по темпам и размаху их изучения в настоящее время нельзя признать удовлетворительным, хотя их значение для исторической грамматики и лексики очевидно (в историко-археографическом плане названные источники изучаются довольно активно, см., например [44—46]).

Изучение языка тюркского фольклора сулит немалую пользу как для общих сравнительно-исторических штудий, так и для истории отдельных тюркских языков. Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР издает серию «Эпос народов СССР», в которой публикуются и памятники тюркского эпоса в транскрипции и переводе на русский язык (подробнее см. статьи А. А. Петросян, А. С. Мирбадалевой, И. В. Кидайш-Покровской — СТ, 1982, № 3).

Диалектография и диалектология. Наличие во всех тюркоязычных республиках и областях специальных научно-исследовательских подразделений (отделов, секторов и т. п.), занимающихся изучением диалектов, сыграло важную роль в создании описательных работ по отдельным диалектам, говорам, группам диалектов; большое количество записей и исследований по диалектам тюркских языков СССР позволило приступить к подготовке обобщающих трудов, прежде всего Диалектологического атласа тюркских языков (ДАТЯ), в разработке основных положений которого деятельное участие принимал В. М. Жирмунский. Работа по созданию ДАТЯ, которой руководит комиссия во главе с М. Ш. Ширалиевым при постоянной консультации М. А. Бородиной, приближается к окончанию (см. ВЯ, 1983, № 6, с. 155); подготовлены и находятся в стадии завершения диалектологические атласы азербайджанского, чувашского, татарского, киргизского, казахского, узбекского, туркменского языков.

Учитывая исключительное значение единообразного описания лексики и фонетико-грамматического строя тюркских диалектов, Советский комитет тюркологов поручил Л. Т. Махмутовой разработать «Краткую схему описания тюркских диалектов», которая опубликована в журнале «Советская тюркология» (1983, № 5).

Ближайшими задачами в области тюркской диалектологии является систематизация по единой схеме фонетико-грамматических и лексических данных, представленных в диалектах и говорах, с целью использования их при разработке проблем исторической грамматики отдельных тюркских языков и общей сравнительно-исторической грамматики этих языков. Данные диалектов и говоров для немалого числа бесписьменных в прошлом тюркских языков являются единственными источниками при изучении их истории; для старописьменных языков диалектальные данные как отражающие живую речь являются необходимым «справочным коэффициентом» к показаниям письменно-литературных языков.

Весьма положительной оценки заслуживает создание диалектологических словарей по ряду языков: азербайджанского (Баку, 1964), казахского (Алма-Ата, 1969), татарского (Казань, 1969), узбекского (Ташкент, 1971), киргизского (Фрунзе, 1976), якутского (М., 1976), туркменского (Ашхабад, 1977). Очень много у нас в стране, особенно на местах, издается статей и книг, содержащих анализ самых разнообразных тюркских диалектов и говоров или отдельных диалектных черт и особенностей, так что нет возможности указать сколько-нибудь полную библиографию вопроса (см., например, [2, с. 18, примеч. 32]).

И тем не менее следует подчеркнуть, что опубликована лишь малая часть весьма обширных собраний лексики и иных диалектных материалов. Эту труднейшую работу необходимо настойчиво продолжать. Здесь, очевидно, надо шире внедрять в практику депонирование подготовленных к печати записей текстов, словарей, фонетико-грамматических очерков и т. п., с тем, чтобы подобные труды (дающие все права авторства, в том числе при защите диссертаций, а также не исключающие последующей публикации) становились известны и доступны широкому кругу специалистов возможно скорее.

Лингвогеография и ареально-лингвистические исследования являются сравнительно молодой отраслью тюркского языкознания. Пионерами тюркской лингвогеографии были В. А. Богородицкий и Е. Д. Поливанов [47]; детальная разработка этого направления тюркского языкознания в 60-е годы является заслугой В. М. Жирмунского [48].

Содержание терминов „ареальная лингвистика“ и „лингвистическая география“ не следует отождествлять, так как ареальная, или пространственная, лингвистика, заслуживающая быть выделенной в самостоятельное лингвистическое направление, имеет как синхронный, так и диахронный планы исследования» [49, с. 5]. Также строго следует различать задачи и объекты диалектологии и ареальной лингвистики [49, с. 18—19]. С другой стороны, ареальная география и ареальная лингвистика, опираясь на диалектологию, приобретают способность охватывать одновременно большие территории и большое количество фактов и, следовательно, приобретают новые возможности для широких обобщений [50].

Идеи ареальной лингвистики получили свое развитие в трудах Н. З. Гаджиевой, Е. И. Убрятовой, Э. Р. Тенишева, М. А. Бородиной, Г. Ф. Благовой (подробнее см. [51]).

Солидным вкладом в ареальные исследования тюркских языков является обстоятельный труд Т. М. Гаришова «Кыпчакские языки Урало-Поволжья. Опыт синхронической и диахронической характеристики» (М., 1979), посвященный анализу взаимоотношений тюркских языков одного из ареалов их распространения.

Дальнейшее развитие ареальной лингвистики на материале тюркских языков теснейшим образом связано с совершенствованием методики подобных изысканий.

Лексикография и лексикология. Собираение и систематизация тюркской лексики в России имеет весьма длительную историю [9, с. 32 и сл., 317]. В послеоктябрьскую эпоху одной из первоочередных задач явилось составление тюркских словарей самого различного назначения. Озирая путь, пройденный отечественной лексикографией за последние полвека, можно без преувеличения сказать, что проделана огромная работа, в результате которой были составлены как общие двуязычные национально-русские и русско-национальные словари, так и множество специальных (терминологических, орфографических и т. п.).

Особо следует отметить издание многотомных толковых словарей: туркменского (Ашхабад, 1962), азербайджанского (Баку, 1966), казахского (Алма-Ата, 1951—1961; новое изд. — 7-й т., Алма-Ата, 1982), татарского (Казань, 1981), узбекского (М., 1981) языков.

Безусловными достижениями отмечены историческая лексикография и лексикология: «Древнетюркский словарь» (Л., 1969), Э. Наджип. Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV века. На материале «Хосроу и Ширин» Кутба. Кн. I (М., 1979), Толковый словарь языка произведений Алишера Навои. I, II (Ташкент, 1983; 1984; на узб. яз.).

Важное общетюркологическое значение имеет издающийся «Этимологический словарь тюркских языков» (I—II—III, М., 1974, 1978, 1980), составленный Э. В. Севортьяном (1901—1978), возглавлявшим группу сотрудников Сектора тюркских и монгольских языков ИЯ АН СССР; работа над словарем продолжается той же группой под руководством Л. С. Левитской (сдан в печать IV том). Словарь послужит надежной базой для этимологических словарей отдельных тюркских языков, разработка которых остается одной из актуальнейших задач; ранее в числе первых опытов были изданы «Этимологический словарь чувашского языка» В. Г. Егорова (Чебоксары, 1964) и «Краткий этимологический словарь казахского языка», составленный коллективом авторов (Алма-Ата, 1966; на казах. яз.). В настоящее время ведется работа по подготовке этимологических словарей азербайджанского, башкирского, казахского, татарского, тувинского, чувашского языков.

Преодоление трудностей, связанных с этой тонкой исследовательской работой, сдерживается отсутствием строго очерченных границ этимоло-

гизирования, четкого определения состава словника этимологического словаря каждого данного языка, общепринятых принципов этимологизации заимствований, нерешенностью ряда других методических и технических вопросов; слабо, чтобы не сказать определеннее, разработана на материале тюркских языков методика семантической реконструкции.

Для изучения тюркской лексики в ее историческом развитии необходимо глубже вникать в традиционные методы восточной лексикографии и шире привлекать сами памятники тюркской лексикографии; к ним в первую очередь относятся «Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгарского (XI в.), русский перевод которого подготовлен к изданию А. Рустамовым (Ташкент), «Сангях» Мехди-хана (XVIII в.) и целый ряд других сочинений (подробнее см. [1, с. 19—20]).

В настоящее время, когда основные памятники тюркской лексикографии достаточно полно изучены, на очереди стоит создание сводного труда на основе всех имеющихся словарей и других источников.

Синхроническая и диахроническая лексикология, изучающая синхронное состояние и исторические процессы постоянной смены и семантического развития лексики отдельных тюркских языков, либо каких-то их ареалов, либо всей семьи в целом, является обширной исследовательской областью тюркского языкознания, в которой выполнено значительное количество, в том числе крупных, работ (см. [1, с. 21; 2, с. 9; 26, с. 225—233]) и которая непрерывно пополняется новыми публикациями [52—55]).

Исследование лексики как в плане синхронии, так и в плане диахронии органически связано с изучением фразеологии, семасиологии и терминологии. Эти проблемы в последние годы привлекают все возрастающее внимание, о чем свидетельствуют многочисленные публикации, в том числе словари [56, 57]; однако в этой области немало «белых» пятен. Так, важной и крайне необходимой, но еще недостаточно изученной темой является тюркская профессиональная и специальная лексика.

В обширной области лексикологии важное место занимает ономастика, изучающая собственные имена: антропонимы, топонимы, этнонимы, космонимы, зоонимы, оронимы, гидронимы и т. п. Изучение зарождения и развития ономастических систем в каждом данном языке и в семье языков должно базироваться на лингвистических, исторических и этнографических данных. Ономастика всегда имеет свою лексико-грамматическую систему, которую и надлежит выявить ее исследователю. Из последних по времени работ в области тюркской ономастики следует отметить [58—63].

Исключительно важное место в исторической лексикологии занимает изучение заимствованной лексики разных эпох.

Взаимодействие русского и тюркских языков представлено двумя основными темами: тюркизмы в русском языке и русизмы в тюркских языках: первая из них является традиционной в русской тюркологии (обширную библиографию вопроса см. в [64], сюда же [65, 66]), вторая — находит в последнее время все возрастающее число исследователей, особенно в республиках. Для полного выявления и объяснения тюркизмов в русском языке необходимо предпринять сплошное обследование семнадцатитомного Словаря русского языка, Словарей русского языка XI—XVII вв. и XVIII—XIX вв., «Лексикона» В. Н. Татищева, «Материалов для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского и других русских лексикографических трудов, продолжая работу, начатую тюркологами прошлого. Особое место — по количеству и своеобразию фонетической и семантической адаптации — занимают ориентализмы в лексике русских народных говоров, изучение которых в этом плане ждет своих исследователей.

Не меньшее значение имеет изучение и других слоев заимствованной лексики — средневековой (арабской, иранской), более ранней (среднеперсидской, согдийской, китайской); особый интерес представляет исследование доисторических заимствований с задачей разработки методики определения таких заимствований. Последнее имеет самое непосредственное отношение к проблеме родства/неродства тюркских языков с другими алтайскими.

«Алтайская теория» обсуждается в науке давно [67, с. 67—69; 68—71], и дискуссия по этой проблеме не утихает, обнаруживая самые различные подходы как среди сторонников генетического родства алтайских языков, так и среди тех, кто объясняет наличие общих элементов в них типологическим сходством (преимущественно в фонетике, грамматике) и древними ареальными связями (преимущественно в лексике)⁴. В. М. Иллич-Свитыч признавал, что «родство трех алтайских языковых групп (тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской.— К. А.), несомненно, является весьма отдаленным», на что указывают «глубокие расхождения, существующие (прежде всего в области основного словарного фонда) между отдельными семьями алтайских языков» [67, с. 69]. Основываясь на такой посылке, Вяч. Вс. Иванов высказал предположение, что «... языки, объединяемые полезным классификационным термином „алтайские“ (тюркский, монгольский, тунгусо-маньчжурский, пракорейский и, вероятно, прааппонский), могли происходить из определенной части (восточно-) ностратического диалектного континуума и без промежуточного алтайского праязыка» [74, с. 202—203]. Это положение, чтобы стать действующей гипотезой, нуждается в дальнейшем обосновании путем практических изысканий в необъятной ностратической макросемье языков, для чего, в свою очередь, требуется совершенствовать методику подобных сопоставлений*. Во всяком случае при указанном допущении представляется методически оправданным (по крайней мере, в области морфологии) стремление до получения системы праформ придерживаться независимой или автономной реконструкции для каждой из групп языков, после чего уже возможно сопоставление таких реконструируемых систем [75, с. 3, 73—74].

Несмотря на нерешенность, как это очевидно, многих теоретических и методических вопросов, разработка проблем взаимосвязей тюркских языков с другими алтайскими и ностратическими ведется активно и у нас в стране, и за границей. Здесь можно отметить серию трудов ленинградских алтаистов [76—80]; большое число алтаистических сопоставлений содержат упоминавшийся «Этимологический словарь тюркских языков» и «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков» (I, II, Л., 1975, 1977), составленный под руководством В. И. Цинциус (1903—1983). Появились новые опыты, продолжающие старую традицию сравнительного (скорее — сопоставительного) исследования тюркских языков с монгольскими [81, 82], тунгусо-маньчжурскими [83], дравидийскими, вновь оживился интерес к японскому языку как одному из членов алтайской семьи [84—86].

Использование всех возможностей, которые предоставляют фактические данные алтайских языков (каково бы ни было их происхождение), — это единственный путь (пусть даже это «путь проб и ошибок»), чтобы приблизиться к решению задачи создания сравнительно-исторической грамматики алтайских языков. Отказаться от использования таких возможностей — это значит лишить себя единственной возможности выйти за ограниченные рамки отдельных языковых групп.

Здесь мы не имеем возможности остановиться подробнее на ряде важных задач в таких отраслях тюркской филологии, пытающих тюркское языкознание, как описание, изучение и издание тюркоязычных рукописей (что настоятельно вызывает к росту издательских возможностей), библиографическая и биобиблиографическая работа. Особого рассмотрения требует вопрос о подготовке квалифицированных научных кадров, в особенности специалистов широкого профиля (обо всем этом подробнее см. [1, с. 24—25]).

Ближайшие задачи, стоящие перед советскими тюркологами, четко и ясно сформулированы в резолюциях 2-й [4, с. 392—396] и 3-й (СТ, 1981, № 2) Всесоюзных тюркологических конференций.

⁴ Подробнее с обширной литературой вопроса см. названные выше [67—71], из числа последних публикаций [72—75].

* См. также статью «О ностратических исследованиях с позиций тюрколога» А. М. Щербака в настоящем номере (*Примеч. ред.*).

ЛИТЕРАТУРА

1. Кононов А. Н. Современное тюркское языкознание в СССР. Итоги и проблемы. — ВЯ, 1977, № 3.
2. Кононов А. Н., Тенишев Э. Р., Фазылов Э. И. Тюркское языкознание в СССР: итоги и перспективы. — СТ, 1981, № 1.
3. [Колл. авт.]. Итоги, проблемы и задачи тюркского языкознания. — СТ, 1982, № 6.
4. Проблемы современной тюркологии. Материалы II Всесоюзной тюркологической конференции 27—29 сентября 1976 г. г. Алма-Ата. Алма-Ата, 1980.
5. Язык в развитии социалистическом обществе. М., 1982.
6. Взаимовлияние и взаимообогащение народов СССР (на материале автономных республик Поволжья и Приуралья). Казань, 1982.
7. Основные процессы внутривидового развития тюркских, финно-угорских и монгольских языков. М., 1983.
8. Опыт совершенствования алфавитов и орфографий языков народов СССР. М., 1982.
9. Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России. Дюктябрьский период. 2-е изд. Л., 1982.
10. Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984.
11. Селютин И. Я. Кумандинский консонантизм. Экспериментально-фонетическое исследование. Новосибирск, 1983.
12. Рассадин В. И. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. М., 1978.
13. Бирюкович Р. М. Морфология чулымско-тюркского языка. Ч. I. М., 1979; ч. II. Саратов, 1981.
14. Тенишев Э. Р. Уйгурские тексты. М., 1984.
15. Иванов С. Н. Курс турецкой грамматики. Л., ч. 1, 1965; ч. 2, 1977.
16. Юлдашев А. А. Соотношение дееспричастных и личных форм глагола в тюркских языках. М., 1977.
17. Гусев В. Г., Насилов Д. М. Словоизменительные категории в тюркских языках и понятие «грамматическая категория». — СТ, 1981, № 3.
18. Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М. — Л., 1956, с. 513—538.
19. Азматов И. Х. Структурно-семантические модели простого предложения в современном карачаево-балкарском языке. (Основные вопросы теории). Нальчик, 1983.
20. Насилов Д. М. Конструкции с модальными словами *экан* и *эмши* в узбекском языке. — В кн.: Категории глагола и структура предложения. Л., 1983.
21. Насилов Д. М. Стагив и порфект пассива в узбекском языке. — В кн.: Типология результативных конструкций. Л., 1983.
22. Подчинение в полипредикативных конструкциях. Новосибирск, 1980.
23. Падежи и их эквиваленты в строе сложного предложения в языках народов Сибири. Новосибирск, 1981.
24. Структурные и функциональные типы сложных предложений. Новосибирск, 1982.
25. Сибгатов Р. Г. Теория предикативности (на материале татарского языка). Саратов, 1984.
26. Гаджиева Н. З., Левитская Л. С., Тенишев Э. Р. Тюркские языки. — В кн.: Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы. М., 1981 (литература — с. 337—344).
27. Абдурашмонов Ф., Шукуров Ш. Узбек тилининг тарихий грамматикаси. Морфология на синтаксис. Тошкент, 1973.
28. Левитская Л. С. Историческая морфология чувашского языка. М., 1976.
29. Усманбаев А. М., Исмаилов В. Ш. Историческая грамматика башкирского языка: Учебное пособие. Уфа, 1984.
30. Наджил Э. Н. Кыпчакско-огузский литературный язык Мамлюкского Египта XIV века: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1965.
31. Курьшизматов А. К. Язык старокыпчакских письменных памятников XIII—XIV вв. Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Алма-Ата, 1973.
32. Закиев М. З. О периодизации истории тюркских письменных литературных языков. — СТ, 1975, № 5.
33. Закиев М. З. Татар халкы теленең барлыкка килүе. Казан, 1977; основные положения по-русски: Закиев М. З. Об истоках языка основных компонентов казанских татар. — В кн.: Вопросы татарского языкознания. Казань, 1978.
34. Хакимзянов Ф. С. Язык эпитафий волжских булгар. М., 1978.
35. Азматов И. Х. Сравнительное исследование татарского и чувашского языков. (Фонетика и лексика). М., 1978.
36. Азматов И. Х. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. М., 1981.
37. Федотов М. Р. Чувашский язык в семье алтайских языков. Чебоксары, I, 1980; II, 1983.
38. Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980.
39. Кондратьев В. Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности VIII—XI вв. Л., 1981.
40. Васильев Д. Д. Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала. (Опыт систематизации). М., 1933.

41. Кормушин И. В. Текстологические исследования по древнетюркским руническим памятникам. I. — В кн.: Тюркологический сборник. 1977. М., 1981.
42. Тузусиева Л. Ю. О структуре древнеуйгурских текстов. — В кн.: Тюркологический сборник. 1977.
43. Абдурамонов Р., Рустамов А. Новый тилининг грамматик хусусиятлари. Тошкент. 1984.
44. Усманов М. А. Татарские исторические источники XVII—XVIII вв. Казань, 1972.
45. Усманов М. А. Жалованные акты Джучиева улуса XIV—XVI вв. Казань, 1979.
46. Григорьев А. И. Монгольская дипломатика XIII—XV вв. (Чингизидские жалованные грамоты). Л., 1978.
47. Блазова Г. Ф. Е. Д. Поливанов и тюркская ареальная лингвистика. (К девяностолетию со дня рождения). — СТ, 1981, № 1.
48. Жирмунский В. М. О некоторых вопросах лингвистической географии тюркских диалектов. — Тюркологический сборник. М., 1966.
49. Гаджиева Н. З. Проблемы тюркской ареальной лингвистики. Среднеазиатский ареал. М., 1975.
50. Гаджиева Н. З. Тюркоязычные ареалы Кавказа. М., 1979, с. 8—9.
51. Блазова Г. Ф. Тюркское склонение в ареально-историческом освещении. (Юго-восточный регион). М., 1982.
52. Антелава Г. И. Словарь новых слов в турецком языке. Тбилиси, 1980.
53. Лексикология узбекского языка. Ташкент, 1981 (на узб. яз.).
54. Гулямов Х. Узбекско-таджикские языковые связи. Лексико-этимологические исследования. Ташкент, 1983.
55. Баскаков А. И. Лексикология и фразеология турецкого языка. М., 1983.
56. Чернов М. Ф. Чувашско-русский фразеологический словарь. Чебоксары, 1982.
57. Ахатов Г. Х. Фразеологический словарь татарского языка. Казань, 1982.
58. Конкобаев К. Топонимия Южной Киргизии. Фрунзе, 1980.
59. Саттаров Г. Ф. Татар исемнәре сүзлегө. Казань, 1981.
60. Джамузаков Т. Очерк казахской ономастики. Алма-Ата, 1982.
61. Хабичев М. А. К гидронимике Карачая и Балкарии. Черкесск. 1982.
62. Молчанова О. Т. Структурные типы тюркских топонимов Горного Алтая. Саратов. 1982.
63. Молчанова О. Т. Опыт сравнительно-исторического и типологического исследования тюркской топонимии Горно-Алтайской автономной области: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1983.
64. Библиография основной отечественной литературы по изучению ориентализмов в восточнославянских языках. Сост. Добродомов И. Г., Романова Г. Я. — В кн.: Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979, с. 211—238.
65. Юналеева Р. А. Опыт исследования заимствований. (Тюркизмы в русском языке сравнительно с другими славянскими языками). Казань, 1982.
66. Шеломенцева З. С. Взаимодействие русского и тюркских языков. Краснодар, 1980.
67. Иллич-Свитич В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (b—k). М., 1971.
68. Тюркское языкознание в СССР за шестьдесят лет. — СТ, 1977, № 6, с. 18—19.
69. Насилов Д. М. Из истории алтаистики. — СТ, 1977, № 3.
70. Насилов Д. М. Об алтайской языковой общности. (К истории проблемы). — В кн.: Тюркологический сборник. 1974. М., 1978.
71. Баскаков А. И. Алтайская семья языков и ее изучение. М., 1981.
72. Дёрфер Г. Базисная лексика и алтайская проблема. — ВЯ, 1981, № 4.
73. Андреев Н. Д., Суник О. П. О проблеме родства алтайских языков и методах ее решения. — ВЯ, 1982, № 2.
74. Иванов Вяч. Вс. Праязыки как объекты описания в издании «Языки мира». — В кн. Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980.
75. Кормушин И. В. Системы времен глагола в алтайских языках. М., 1984.
76. Проблема общности алтайских языков. Л., 1971. См. рецензии на этот сборник Г. Дёрфера (ВЯ, 1972, № 3) и Н. Поппе (Central Asiatic Journal, 1972, N 16).
77. Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л., 1972.
78. Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. Л., 1978. (Рецензию Т. Текина см.: FUF, 1983, Bd. XLV).
79. Исследования в области этимологии алтайских языков. Л., 1979.
80. Суник О. П. Существительное в тунгусо-маньчжурских языках. В сравнении с другими алтайскими языками. Л., 1982.
81. Суняев Х. И. Карачаево-балкарские и монгольские лексические параллели. Черкесск, 1977.
82. Мамедов А. Н. Сравнительно-историческое исследование современного азербайджанского и монгольского языков. Баку, 1978.
83. Чупаева Я. Лексические взаимосвязи тунгусо-маньчжурских и древнетюркских языков. Ашхабад, 1983.
84. Сыромятников Н. А. Древнеяпонский язык. М., 1972.
85. Сыромятников Н. А. Как отличить заимствования от исконных общностей в алтайских языках? — ВЯ, 1975, № 3.
86. Азербайев Э. Р. Вопросы японско-тюркских языковых связей: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982.

ЭДЕЛЬМАН Д. И.

К ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Как принято считать, общеиранский праязык, или «язык-основа», просуществовав какое-то время в виде относительно единой системы, впоследствии дифференцировался на две основные диалектные группы, условно называемые «западной» и «восточной», — по месту их предполагаемого распространения в древности относительно пустынь Центрального Ирана [см. 1, с. 137 и сл.; 2, с. 36 и сл.; 3, с. 88]. В дальнейшем от диалектов, локализовавшихся на западе, произошли «западноиранские» языки (мидийский, парфянский, белуджский, курдский, талышский, персидский, таджикский, татский и др.), от «восточных» диалектов, распространившихся по огромной территории от Северного Причерноморья до Восточного Туркестана, в регионах нынешних Афганистана, Пакистана, Средней Азии, — «восточноиранские» языки (скифо-сарматские и сакские наречия, согдийский, хорезмийский, афганский, осетинский, памирские языки и др.). В итоге традиционные названия генетических групп не совпадают с ареалами исторического и современного распространения входящих в них конкретных языков (ср., например, юго-восточное положение современного белуджского и северо-западное — осетинского [1, с. 342; карта]).

По традиции, основными признаками, противопоставляющими друг другу языки «западной» и «восточной» групп, считаются некоторые историко-фонетические черты их консонантизма, а именно: 1) сохранение древнеиранских начальных звонких смычных **b-*, **d-*, **g-* в западноиранских языках при спирализации их в *v-*, *δ-*, *γ-* в восточноиранских; 2) сохранение древнеиранских интервокальных групп согласных **-ft-*, **-xt-* в западноиранских языках при озвончении их в *-vd-*, *-γd-* в восточноиранских. Иногда к этим классификационным признакам добавляют другие, среди которых наиболее существенными считаются: 1) отражение древнеир. **č* в начальной позиции в виде западноиранской *č* ~ восточноиранской *s-*, в поствокальной и постсонорной позициях соответственно с озвончением: зап. **-č-* > *-ž*, *-z* ~ вост. **-č-* > **-c* > *-z*, *z*; 2) сохранение древнеиранской начальной **h-* в западных языках при отпадении ее в восточных. Подробнее о классификационных признаках в исторической фонетике см. [4, с. 415 и сл.; 1, с. 347; 2, с. 179]; сводку основных признаков с учетом новейшей литературы см. [3, с. 91—97].

Предпринимались также попытки выявить морфолого-синтаксические черты, дифференцирующие эти две группы: различие в происхождении показателей мн. числа имен; лучшая сохранность падежной флексии в восточноиранских языках в сравнении с западными [4, с. 416; 2, с. 180, 185]; характерность для восточной группы препозиции определения при развитии в большинстве западноиранских языков изафетной конструкции, где определение постпозитивно [1, с. 350—351; 2, с. 180]; характерные типы построения предложений с глаголами в прошедших временах [4, с. 416 и сл.]. Однако одни из указанных черт оказались свойственны лишь отдельным подгруппам внутри этих двух групп, другие — различным языкам как западной, так и восточной групп.

Постулировались также отдельные лексические различия [4, с. 414—415; 1, с. 351], однако в настоящее время с появлением новых материалов по живым и вымершим языкам соответствующие изоглоссы нуждаются в коренном пересмотре.

Таким образом, признавая важность морфолого-синтаксических и лексических критериев в генетической классификации языков в принципе, приходится констатировать, что на данном этапе исследованности истории иранских языков наиболее надежными и всеобъемлющими в масштабах всей семьи в целом остаются все же историко-фонетические критерии. Между тем и указанные выше историко-фонетические признаки, как оказалось, нуждаются в уточнении: их анализ показывает, что они охватывают неодинаковое количество языков и, следовательно, имеют различную хронологическую глубину и ареальную соотнесенность, а потому и разную значимость для общей генетической классификации иранских языков (а также для выделения определенных ареалов субстратного воздействия на них со стороны доиранских, включая доиндоевропейские).

В частности, признак отражения общепр. *č- в виде зап. č- ~ вост. с- далеко не всеобъемлющ. Многие восточноиранские языки сохраняют č-: согдийский, ягнобский; язгулямский; мунджанский и йидга (два последних — в подавляющем большинстве лексем); скифо-сарматские наречия (с возможными колебаниями č- — с в части из них). В осетинском — потомке одного из скифских наречий — переход *č- > с- был относительно поздним, о чем свидетельствуют ранние заимствования из осетинского в соседние кавказские языки, где сохраняется č- [5]. С другой стороны, переход *č- > с- наблюдается в языке ормури, входящем по другим признакам в западную группу (анализ отражения *č- и примеры см. [3, с. 94—96]). Аналогичные исключения отмечаются и в отражении срединной *-č-, которая в тех же восточных языках продолжается в виде j, ž, а в части западных — в виде z, см. [3, с. 96—97].

Существенно при этом, что и в тех восточноиранских языках, где реализован сдвиг *č- > с-, *-č- > z, z, он не всегда фронтален, а наблюдаемые отклонения носят системный характер и различаются по языкам. Так, в мунджанском *č сохраняется в виде č перед рефлексам *a, *ā, но сдвигается в с перед рефлексом *i. В ишканимском, при обычном переходе *č > с, налицо случаи сохранения č, в основном, перед рефлексам *a [6, с. 298] и в составе древнего суф. *-či (возможно, благодаря его поздней продуктивности). В ваханском *č > с в разных позициях (*-č- > z после сонорных), но перед рефлексам *i и в определенных иных случаях *č > č, č, j [7, с. 35—36]. В хотаносакском *č сохраняется (или озвончается в срединной позиции) перед рефлексам *i, *ī, поддерживавшими палатальность, но дентализуется в других позициях [8].

Такие — иногда диаметрально противоположные изменения *č в различных восточноиранских языках (типа сохранения палатального фокуса перед рефлексам *i, *ī в сакско-ваханской подгруппе, при дентализации в той же позиции в мунджанском, шугнано-рушанской группе, афганском, ишканимском; дентализации перед рефлексам *a, *ā в хотаносакском, ваханском, при сохранении палатального характера в ишканимском, мунджанском и т. п.) свидетельствуют о поздней его дентализации в уже разошедшихся конкретных языках — в тех позициях, которые для каждого данного языка являлись дентализующими.

Уместно напомнить также, что даже в относительно близко родственных языках отражение *č неодинаково. Так, в севернопамирской генетической подгруппе, объединяющей язгулямский язык и шугнано-рушанскую группу языков и диалектов (разделение ее определяется глутохронологическим методом периодом около 1300—1400 лет назад [9], оказываясь в условиях восточноиранской группы очень недавним), рефлексация *č различна: в язгулямском она сохраняется в анлауте и озвончается в j, ž в инлауте (несмотря на наличие в его системе дентальных с, z, z иного происхождения), а в шугнано-рушанской группе дентализуется в с-, -z, -z соответственно, поскольку здесь позиция перед рефлексам *i, *ī, *a, *ā (в которой возможна была древняя *č в силу ее происхождения) являлась продвигающей вперед для всех непередних согласных (ср. сдвиг в ней *k > č, *g > *γ > ž, *x > š).

Таким образом, дентализация *č затронула лишь часть восточноиран-

ских языков (и один из западных), была относительно поздней, развиваясь по языкам в различных позициях самостоятельно и, по-видимому, неодновременно. Следовательно, она не может рассматриваться как классификационная черта, обособляющая восточную группу от западной.

Более осторожной оценки требует и признак отпадения **h-* для восточноиранских языков. Если сохранение **h-* в западноиранских является нормой и представляет общий для них архаизм (хотя исключения отмечаются и здесь), то исчезновение его в восточноиранских не может рассматриваться как общая и достаточно старая инновация, которая могла бы быть отнесена к единому для них состоянию (хотя случаи отпадения **h-* имеют статистическое преимущество). Обычно лексемы с начальной **h-* в прототипе действительно отражаются либо с гласной в анлауте, либо с наращением сонорной протезы (обычно *w*, *y*, реже *h*, в зависимости от характера гласной), аналогично лексемам с начальной гласной в прототипе, ср. отражение общеир. **hapta-* «семь» (ср. ав. *hapta*, др.-инд. *saptá* < арийск. **sapta-* < и.-е. **septm-*): скиф. **awd-*, согд. *'βt*, хорезм. *'βt*, *'βd* [avd], хот.-сак. *hauda-* (с нефологическим *h-*, отмеченным и как протеза перед гласным: *hamgušta-* < **angušta-* «палец», *hašta-* < **ašta-* «восемь»); осет., ягн. *avd*, афг. *owš*, шугн., руш. *wuwd*, хуф., барт. *ūvd*, сар. *uvd*, язг., ишк. *uvd*, вах. *wb*, мундж. *ovdā*, см. [3, с. 97]. Выпадает обычно и срединная **h-*, часто с последующим стяжением окружающих ее гласных (см. ниже). Однако в ряде случаев наблюдается обратный процесс — «огрубление» или «усиление» **h* с переходом его в *x*, происходящее, что весьма существенно, по отдельным языкам в тех же лексемах, которые в других языках отражаются с **h* > *θ* (или с поздней протезой). Ср., например, осет. *xid/xed* «мост», при шугн. *yēd*, руш., барт. *yīd*, йидга *yeuā*, ягн. *i/ētk*, согд. *ytkw*, ишк. *yatik* «то же» < **haituka-*, ср. ав. *haētu-*, др.-инд. *sētu-*, но осет. *æm-*, *æn-* < **ham-* префикс, при *a-*, *am-*, *æt-* и т. п. в остальных языках. Особенно характерно усиление **h* в слогах типа **hu*, **huç*, связанное, по-видимому, с фонетической лабиализацией **h*, влекущей за собой во многих языках мира развитие заднеязычного или увулярного фокуса (о связи последних с лабиальностью см. [10, с. 258—259]), хотя и здесь отражение в различных языках неодинаково (что частично объясняется колебаниями огласовки слога: **hu*, но **hça* > **x'a*). Ср., например, осет. *xəysk'* «сухой», но афг. *wuš*, вах. *wəsk*, мундж. *wušk*, язг. *wažk* < **huška-* < и.-е. **sus-ko* [11, с. 880—881]; осет. *xur* «солнце», ягн. *xū/ūr*, согд. будд. *yur*, ман. *xwr* [xūr, xōr], шугн. *xīr*, руш. *xor*, барт. *xōr*, сар. *xer* < **x'ar-*, ср. ав. *hvar-*, *x'an-*, др.-инд. *svár-* < и.-е. **suei-*, но язг. *xəwūr* < **xuwār-* < **huçar-*, хорезм. *xur* < **huçar-(ya-)*, ср. ведич. *suvar-* < и.-е. **suei-*; афг. *lmar*, *ntar* < **hçar-* с переходом **hç* > *nw* [12], при вах. *(y)ir* < **hur-* «солнце», но *šarvədn*, *šarədn* «время около полудня» — из **x'ar-* и производного от корня **tap-* (различные огласовки **sç* еще в индоевропейском прототипе лексемы «солнце» см. [11, с. 881]), ср. различные огласовки **hç* в прототипах вах. *(y)inot* «сновидение» < **hupnā-ta-*, ср. ав. *x'afna-*, но *gyž(y)p-* «спать, засыпать» от того же корня в форме **x'ar-* (ср. и.-е. огласовки **sçer-*, **sup-* [11, с. 1048]). Аналогичны отражения срединной **h-*, ср. мундж. *yīnā*, йидга *ino*, ишк. *wen*, сангл. *wēn*, афг. *wīna* «кровь» < **çahuni-*, **çahuna-*, но шугн. *wixin*, руш., барт. *waxin*, язг. *š'an*, вах. *wə/wižən*, ягн. *wāxin*, хорезм. *hwny* (мн. ч.), согд. *xwrn*, *yçw(r)n* < **wəxuni* < **çahuni-*, ср. тадж. *xup*, ав. *voḥuni-* из **x'ahuni-* [13] или, скорее, из **çahuni-*, если признать эту лексему производной от и.-е. **çes-* «сочить-ся» [11, с. 1171—1172].

Обе тенденции — к ослаблению и к усилению **h* — отмечаются даже в недавних заимствованиях, ср. ягн. *hāta*, *hātta*, *xātta* «весь, все», *toh*, *tox*, *to* «луна» из таджикских *hata*, *toh*.

Тем самым, ни ослабление и выпадение **h* > *θ*, ни усиление **h* > *x* не являются общими и единовременными для восточноиранских языков. Эти процессы — относительно поздние, охватывают языки, не всегда близкородственные или связанные с единым ареалом. Поскольку общеир. **x* в тех же восточноиранских языках в данных позициях не переходила

в *h и не выпадала, остается признать, что для общевосточноиранского состояния древняя *h еще не исчезла даже в начальной позиции. Тем самым для восточноиранских диалектов древности общим оказывается не исчезновение фонемы *h, а ее фонологическая неустойчивость и широкая фонетическая вариативность — от легкого ларингального выдоха до шумного «жесткого» заднеязычного или увулярного щелевого, совпавшего затем с *x. Такое явление отмечается в языках с отсутствующим или слабо развитым фонологическим рядом ларингальных, где артикуляторная база в заротовой полости не разработана [см. 10, с. 252—253]; в данном случае оно могло быть связано как со спонтанным развитием восточноиранских языков, в которых, несмотря на раннюю фонологизацию *h и становление оппозиции *s ~ *h, ларингальная полость так и не включилась активно в артикуляционный процесс, так и с субстратными производительными навыками, наложившими ограничения на активизацию заротовой полости.

Таким образом, отпадение начальной *h- не является инновацией общевосточноиранского состояния и не может рассматриваться как классификационный признак восточноиранской генетической группы.

Признак отражения общеиранских начальных *b-, *d-, *g- в виде зап. b-, d-, g- ~ вост. v-, ð-, γ- охватывает практически все иранские языки. Исключения встречаются и здесь, однако они носят качественно иной характер.

Так, рефлекс реконструируемой общеир. *b- в бактрийском и хотаносакском языках отражаются графикой в виде «b-». Однако данная графема могла обозначать здесь и смычный, и, как полагают специалисты, щелевой звук, на что указывают косвенные свидетельства. Для бактрийского [14] это — его распространение в ареале спирантизации начальных звонких смычных. О спирантизации *b- в истории хотаносакского говорят следующие факты: 1) хотанские заимствования в языках Северной Индии с v- < *b- [15]; 2) случаи изображения рефлексов *b- графикой «v-», а не «b-» (ср. основу vā-, vi- «быть, становиться» < *buya-, прич. vāta- < *būta- от корня *bau-, varga- «плод (?)» от *bar- «приносить (плоды)» [16, с. 378, 385]); 3) случаи передачи рефлексов *b- через «b-» вместо «v-» (ср. bilga- «почка (анат.)» < *ṛika-, bī «ива» < *ṛaiti-; bār- «идти (дождю)» < *pār-; birgga- «волк» < *uṛka- и др.), аналогично рефлексам *b- (ср. būrai «резчик» < *barnaka-, būṣṣ- «одевать» — от *bazš- и т. п.) [16, с. 278—279, 289, 300]. Это подтверждает произнесение в данных словах в эпоху, фиксируемую графикой (или в предшествовавший ей период), начальной щелевой v- — с возможным последующим переходом в b- при тенденции к анлаутной интенсивности.

По-видимому, аналогичный этап был пройден осетинским языком. Отсутствие явных свидетельств фонологического перехода *b- > v- в скифском материале и в современном осетинском языке связано в первом случае, возможно, со спецификой греческой орфографии, а во втором (а, возможно, и в первом) — с ареальной фонетической тенденцией к анлаутной интенсивности, родственной хотаносакской, вызвавшей вторичный смычный характер начальной звонкой согласной. Косвенными свидетельствами произнесения здесь прежде рефлекса *b- в виде *v- являются: 1) сходные с хотаносакскими «перебои» в отражении *b- в виде b- (вм. w-: bar/baræ «воля, право» < *pāra-, ср. др.-инд. vāra-, ав. vāra-; byjyn/bijun «вить, плести» от *ṛai- «вить», ср. др.-инд. vayati, русск. вить и др., см. [17]), которые В. Ф. Миллер относил к неясным случаям [18] и которые объясняются тем, что часть лексем с начальным *b- подчинилась общему стремлению к анлаутной интенсивности и отразила *b- > *w- > *v-/β- > b-; 2) сохранение этана v при метатезе (ср. ærvad/ærvadæ «брат» < *brātā-, при ærdulærdo «волос» < *drau-); 3) нехарактерность v для анлаута в современном осетинском в исконной лексике [см. 19, 20], что означает наличие здесь в недавнем прошлом дополнительной дистрибуции звуков *b и *v: первый был представлен в анлаутной и постназальной позициях, второй — в срединной и конечной (но не после носовых), ср. отсутствие таких ограничений для обычного w < *p.

Таким образом, тенденция к вторичному усилению начального звонкого щелевого (с переходом его в итоге в смычный) была свойственной раннеосетинскому и, возможно, позднехотаносакскому, представляя тем самым инновацию, общую для скифско-сакских диалектов; реализовалась же она в окончательном виде в осетинском.

Иное отражение *b- в афганском и ягнобском связано с их фонологической системой: в первом, где исконная лексика не имеет губно-зубного ряда, w- наследует *b- и *ɸ-; во втором, при наличии оппозиции v ~ w, она (возможно под воздействием таджикского языка) находится на стадии затухания, поэтому наблюдаются перебои v/w в отражении как *b-, так и *ɸ- (ср. v/wuz «коза, козел» < *buzā-, w/vita «веревка» < *ɸitaka-от *ɸai- «вить»).

Исключения из правила перехода *d > ɖ- (примеры см. [3, с. 93—94]) также ограничены, однако иным образом. Отсутствие особой фиксации ɖ- в памятниках письменности хотаносакского языка не свидетельствует об отсутствии в нем этой согласной, как и в случае с v- (см. выше). То же можно сказать о скифо-сарматских наречиях и о предшествующем состоянии осетинского языка, однако в осетинском ранняя утрата соответствующей глухой *θ (перешедшей в t) лишила артикуляционной и фонологической поддержки звонкую *ɖ, которая «вернулась» в d во всех позициях.

Аналогично отражение *d > d- в некоторых других восточноиранских языках, где фонемный статус *ɖ был неустойчивым в результате раннего исчезновения глухой *θ. Таково положение в ягнобском — потомке одного из не зафиксированных письменностью согдийских диалектов, — где глухая *θ отразилась как s в восточных говорах ~t в западных; в результате *ɖ, возможно, существовавшая на фонетическом уровне, не успела фонологизоваться или осталась на периферии системы (различные точки зрения на фонологический статус *ɖ в раннем ягнобском см. [21, с. 13—14; 22]), чему могло содействовать влияние таджикского языка (согдийские диалекты, дошедшие до нас в письменных памятниках, знали фонемы θ, ɖ, включая ɖ < *d-). Сходное с ягнобским развитие наблюдается в собственно ишканимском и зебканском диалектах ишканимского языка, где *d сохраняется в разных позициях, включая анлаутную (по мнению Г. Моргенштерне, в результате таджикского влияния [6, с. 299—300]). В санглинском же диалекте анлаутная d- и интервокальная ɖ- (включая ɖ < *d-) находятся в отношении дополнительной дистрибуции и могут считаться вариантами единой фонемы (аналогичная система предполагается и для раннего состояния ишканимского [см. 6, с. 303—305]). При этом глухая *θ и здесь была утрачена, отразившись в виде ишк. s ~ санг. t, аналогично ягнобским рефлексам.

Характерно, что начальная d < *d- в ягнобском и в ишканимском-санглинском явилась результатом не столько анлаутной интензивности (поскольку ее не обнаруживают другие локальные ряды), сколько разрушением глухой *θ, а с ней — артикуляционной базы фонологизации дентальной фрикативной серии. Последнее может зависеть от ареальных тенденций, в частности, от отсутствия этой серии в языке (или языках) субстрата, с одной стороны, и в таджикском, влияющем на данные языки, — с другой.

Другой способ замены неустойчивых дентальных щелевых *θ, *ɖ наблюдается в более южном ареале, где они оба (или только звонкая) переходят в l — в языках бактрийском, афганском, мунджанском и йидга (а также в нуристанском языке прасун, что подтверждает ареальную, а не генетическую приуроченность перехода *d > *ɖ > l и снимает предположение о происхождении этого явления в мунджанском из афганского [ср. 23]). Случаи отражения *t- в виде l показывают, что процесс перехода *d > *ɖ > l был длительным и захватывал вторичные озвонченные дентальные звуки. При этом глухая *θ отражалась в разных языках различно (ср. ʒ в мунджанском, l в афганском), что свидетельствует об ее относительно позднем исчезновении в уже разошедшихся языках.

Таким образом, исключения из общей тенденции к переходу $*d > \delta$ носят вторичный, инновационный характер и связаны с определенными процессами внутри отдельных языков, в большинстве случаев обусловленными ареальными фонетическими и фонологическими закономерностями.

Рефлексация $*g$ в виде γ обнаруживает значительно меньше отклонений, имеющих к тому же очевидный поздний характер (примеры см. [3, с. 94]). Так, в языках шугнано-рушанской группы палатализация $*\gamma > \check{z}$ обусловлена позицией соседства $*a$, $*\bar{a}$, $*i$, $*\bar{i}$ (в других позициях сохраняется γ); в язгулямском (и отчасти в афганском) лабиализация $*\gamma > \gamma^o$ (или γ^w) связана с соседством лабиальных; в ваханском переход $\gamma > \check{z}$, $\check{j}$ происходит в соседстве с $*r$ (в других позициях $*\gamma$ дает обычно заднеязычную шипящую $\check{y}$); в ишкашимском ярко выражена тенденция к ослаблению и соноризации $*\gamma$ — в y после i (при палатализации) и в $\bar{y}$ после a и т. п.

Существенно, что в отличие от звонких согласных других рядов спирализация $*g > \gamma$ оказалась более устойчивой, без случаев «возврата» в g , что, по-видимому, связано со сдвигом γ в увулярную зону практически во всех иранских языках (возможно, лишь с незначительными колебаниями, зависящими от ареальных произносительных норм). Этот сдвиг поддерживал относительно раннюю фонологизацию щелевой γ и способствовал закреплению увулярного ряда в целом. В этих условиях в восточноиранских языках щелинность начальной γ также оказалась устойчивой, и в том единственном случае, когда тенденция к анлаутной интенсивности все же возобладала, а именно — в иронском диалекте осетинского языка, — она привела к переходу $*\gamma$ — не в $*g$ -, а в единственную существующую к этому времени в данном диалекте смычную фонему увулярного ряда — q -, утратив при этом и признак звонкости (с чем связано соответствие диг. $\gamma \sim$ ирон. q , о котором см. [24]).

Таким образом, спирализация звонких смычных в анлауте, во всяком случае, на фонетическом уровне, была тенденцией, свойственной всем восточноиранским диалектам древности, а исключения, наблюдаемые в отдельных языках, — результат либо ареальных (субстратных, реже — адстратных) фонетических и фонологических отклонений, либо позднейших перестроек уже в конкретных языках. Тем самым данная черта может быть признана классификационной, отделяющей восточноиранские языки от западноиранских. В уточнении нуждается, однако, историко-фонетическая трактовка этого явления.

Отмечено, что в индоарийских языках звонкие придыхательные в анлауте могут реализоваться как спiranты (особенно очевидно — губной, см. [25, с. 181]; о реализации спiranтами глухих аспирированных в раннюю эпоху см. [25, с. 227]). Спирантная реализация звонких придыхательных в разных позициях предполагается и для позднего индоевропейского состояния [26, 27, 28]. Если учесть, что одной из общеиранских инноваций явилось совпадение звонких придыхательных с неспиранированными и образование единого фонологического ряда звонких ($*b$, $*d$, $*g$, см. [3, с. 29]), об исключениях в виде случаев раннего оглушения звонких придыхательных и отражения их по типу $*bh > *ph > f$ см. [29, с. 38—39]), и если предположить, что в ареале восточноиранских диалектов древности, дольше контактировавших с древнеиндоарийскими диалектами, оппозиция аспирации у звонких была более устойчивой, чем в западноиранских, то напрашивается вывод, что последующее совпадение придыхательных с неспиранированными звонкими происходило здесь за счет выравнивания артикуляции последних по типу первых, которые в анлауте могли быть представлены спiranтами. В диалектах же западной группы аспирация звонких была утрачена раньше, и исчезновение оппозиции аспирации вызвало здесь унификацию презентации звонких по типу неспиранированных, т. е. простых смычных.

Если это так, то начало процесса спирализации звонких придыхательных в анлауте на фонетическом уровне должно было относиться к периоду до полного совпадения аспирированных звонких с неаспирированными

в части индоиранского языкового континуума¹, а завершение этого процесса с выходом на фонологический уровень — уже после совпадения этих двух серий согласных и выравнивания их по типу аспирированных (во всяком случае для анлаута) — уже в восточных диалектах общеиранского состояния. Такой ход развития объясняет, кстати, и сохранение смычкости звонкими после носовых, *z, *ž, поглощавших часть воздушной струи, в результате чего группа [типа */ndh/, как и */nd/, реализовалась в виде *[nd] и отражалась в дальнейшем без спонтизации.

Наконец, требует внимания и признак соответствия интервокальных групп согласных — глухих в западноиранских языках (-ft-, -xt-) ~ звонким в восточноиранских (-vd-, -vd-). Здесь тоже имеется целый ряд исключений в разных восточноиранских языках, однако явно поздних и сводимых к прототипам в виде общевосточноиранских *-vd-, *-vd-: ср. развитие *-vd- в скиф. *wd, афг. wd, w (учитывая отсутствие здесь оппозиции v ~ w в искономном материале), вах. vd, b (< *vd), сангл. vδ и т. п.; развитие *-vd- в шугн.-руш. wd, yδ (в зависимости от позиций) при последующем стяжении y, w с соседними гласными (но yδ в близкородственном язгулямском), сангл. yδ, вах. yδ, афг., хотаносак. -d (при соноризации и утрате *-y-) и т. п. [см. 3, с. 97]. Оглушение этих групп в ft, xt в ягнобском — очень позднее и обязано воздействию таджикского языка (в записях XIX в. еще отмечена звонкость первого компонента групп) [21, с. 12—13]. Практически же соответствие данных восточноиранских звонких групп (или их рефлексов) глухим западноиранским (или их рефлексам) проходит по всей иранской семье и является надежным классификационным признаком даже при утрате первого компонента групп.

Комментария требует историко-фонетическая интерпретация данного признака. Обычно это соответствие трактуется как сохранение в западноиранских языках более архаичного — древнеиранского глухого звучания данных групп при озвончении их в восточноиранских [4, с. 415; 3, с. 89, 97]. Однако такой трактовке противоречат, по крайней мере, два явления.

Во-первых, общеиранские *f, *x не озвончаются в большинстве восточноиранских языков даже в интервокальной позиции (ср. осет. xæf/xæftæ «слизь», ягн. xōfa «слюна», xaf, xāfa «пена», угн., руш., барт. šāf «слюна» < *xafā-, шугн. xīf, руш. xof, барт. xōf, сар. xef, язг. xāf «пена» < *xafa(-ka) < *kafa-; вах. xuf «пена, слизь», мундж. xəf, ишк. xāf, хорезм. kf-, хот.-сак. khavā «пена», ср. кл.-перс. kaf, ав. kafa-, др.-инд. kapha-; ср. также осет. tax, ягн., мундж., язг. tox, йидга māx, ишк. tēx, сангл. amax, шугн., руш., барт., роп. māš, сар. maš «мы» < *amāxat < *ahmākat, ср. ав. ahmākat, др.-перс. amāxat; афг. tēx «лицо» < *mīxā- < *mukha-, ср. др.-инд. mukha- и т. п.). Не озвончается и *-t- в ягнобском и ваханском языках. Тем более трудно представить себе озвончение в восточноиранских языках целой консонантной группы, состоящей из двух глухих, из которых по крайней мере одна в этой позиции не озвончается.

Во-вторых, в ряде слов авестийский язык сохраняет не щелевой, а смычный первый компонент группы, например, hapta- «семь», ср. др.-инд. sapta; dugādar- «дочь», ср. др.-инд. dūhitar-, т. е. выявляет более архаичное древнеиранское звучание, чем отраженный в западноиранских языках прототип *hafta-, *duxtār-. При этом в ряде случаев диалект Гат выявляет здесь «восточноиранскую» форму (типа aogāda «сказал»), диалект Поздней Авесты — «западноиранскую» (aoxta).

Эти противоречия снимаются, если объяснять соответствия зап. *ft, *xt ~ вост. vd, yδ не поздним озвончением данных групп в восточноиранских диалектах, а ранним процессом различной унификации консонантных

¹ Слабость аспирации звонких или ее неустойчивость, очевидно, была общим свойством части общеарийских диалектов; возможно, она объясняется ареальными факторами: ср. отсутствие рефлексов аспирированных, отличных от неаспирированных, в курдистанских языках [30] и относительно позднюю утрату аспирации звонкими придыхательными (сопровождающуюся в отдельных языках появлением тоновых оппозиций соседних) в части северо-западных индоарийских языков [25, с. 181—183; 31, с. 78—79, карта 4].

групп, содержащих придыхательные и непридыхательные согласные как это делал Хр. Бартоломе [32, с. 20—22]. Принцип предложенной им схемы унификации основан на том, что при изменениях придыхательных в сочетаниях типа $ph + t/th$, $bh + t/th$, согласно «закону Бартоломе», соответственно в pth , bth , начинают появляться различные варианты исхода корня (например, на $*-b-$ и $*-bh-$) и начала суффикса (например, на $*-dh-$, $*-t-$). Это способствует выравниванию по аналогии звучания постфиксов, имеющих сходные функции. Этот процесс особенно характерен для личных глагольных форм и глагольных имен (инфинитива, пассивного прошедшего причастия, имен действия и деятеля). На примерах с озвончением постфиксальных согласных (в свете «закона Бартоломе») в группах типа $bh + t > bth$, $bh + s > bsh$, $gh + t > gdh$, $gh + s > gzh$ в авестийском и с оглушением по аналогии к другим формам в западноиранских языках (и частично в авестийском) Хр. Бартоломе доказывает, что формы типа гат. ав. *dugədar-*, поздн. ав. *duγdar-* «дочь» суть закономерные фонетические продолжения общепр. $*dugdar-$, где группа $*gd$ — из арийск. $*gdh < *gh + t$, ср. др.-инд. *duhitar-* $< *dugh-(i)tar-$ [32, с. 21], а кл. перс. *duxtar* с глухой группой xt — вторична и является результатом оглушения под влиянием $*t$ суф. $*-tar$ других терминов родства [32, с. 22].

Если продолжить данное положение Хр. Бартоломе, то получается, что унификация в произнесении данных групп в различных диалектах общепиранского состояния имела неодинаковую направленность. В западноиранских языках эти группы отразились в виде продолжения сочетаний звонких непридыхательных или глухих с $*t$, которые давали глухие рефлексy еще в общепиранском (ср. др.-инд. прич. *yuktā-* от *yaug-* «соединять, запрягать» и *ukta-* от *vak-* «говорить») и преобразовались здесь по «глухому» типу:

$$\left. \begin{matrix} -b + t- \\ -p + t- \end{matrix} \right\} -pt- > -ft-, \quad \left. \begin{matrix} -g + t- \\ -k + t- \end{matrix} \right\} -kt- > -xt-,$$

«захватив» и перестроившиеся по аналогии к ним формы от корней на звонкие придыхательные.

В восточноиранских языках индуцирующими явились формы от корней со звонкими придыхательными, озвончавшими суффиксальную $*t$, согласно закону Бартоломе. К ним присоединились (очевидно, достаточно рано — при совпадении звонких придыхательных с непридыхательными) формы от корней со звонкими непридыхательными, а затем — по аналогии — и с глухими, что вызвало здесь унификацию по «звонкому» типу:

$$\left. \begin{matrix} -bh, b + t- \\ -p + t- \end{matrix} \right\} -bd- > -vd-; \quad \left. \begin{matrix} -gh, g + t- \\ -k + t- \end{matrix} \right\} -gd- > -γd-.$$

Эти комплексы стали впоследствии настолько стереотипны, что распространились и на несуффиксальные сочетания древности, например, при отражении $*hapta-$ «семь».

При этом различия между двумя авестийскими диалектами — Гат и Поздней Авесты, — включающие и различное отражение рассматриваемых консонантных групп — по «восточному» и «западному» типам, соответственно, объясняются сохранностью в диалекте Гат последствий действия «закона Бартоломе» в его классическом виде, т. е. с озвончением $*t$ после общепиранских звонких придыхательных (по типу *aogəda* «сказал» $< *augda < *augdha < *augh-ta$), при «глухом» отражении соответствующих групп с общепиранскими звонкими непридыхательными и с глухими, аналогичном древнеиндийскому (по типу *yūxta-* от *yaug-*; *-ūxta-* от *vak-*), в то время как в диалекте Поздней Авесты наблюдается вторичное оглушение групп согласных, из которых первая продолжает общепиранскую звонкую придыхательную (по типу *aoxta* «сказал» $< *aukta < *augh-ta$). В последнем мог сказаться произносительный узус западноиранских жрецов [33, 34]. Таким образом, диалект Гат, — если отвлечься от поздних напластований, — характеризуется отсутствием унификации данных групп как по «глухому» (западному), так и по «звонкому» (восточному) типу, т. е.

не разделяет ни западноиранских, ни восточноиранских инноваций в этом плане.

Итак, соответствие зап. **-xt-*, **-ft-* ~ вост. **-γd-*, **-vd-* оказывается не только всеохватывающим классификационным признаком, делящим иранские языки «послегатского» периода на две генетические группы, но и признаком пережитков древнейшего состояния, восходящего к периоду действия «закона Бартоломе» в общеарийский период. Позднейшая унификация, наблюдаемая и в западной, и в восточной группах, происходила уже в диалектах общеиранского и более позднего состояния, после слияния звонких придыхательных с непридыхательными (и заострения диалекта Гат как языка религии), при этом в западноиранских диалектах придыхательные уподобились непридыхательным, в восточных — наоборот (с вовлечением затем в орбиту данной унификации и форм с глухими смычными).

Если это так, то следует признать, что последние две черты, отделяющие восточноиранские языки от западноиранских, а именно, соответствия зап. **b-*, **d-*, **g-* ~ вост. **v-*, **δ-*, **γ-* и зап. **-ft-*, **-xt-* ~ вост. **-vd-*, **-γd-*, — начали складываться сначала в фонетической сфере — еще в диалектах общеарийского состояния, во всяком случае, до совпадения звонких придыхательных с непридыхательными. Выход же их на фонологический уровень происходит значительно позднее — уже после совпадения этих двух рядов в единый фонемный ряд звонких в диалектах общеиранского состояния и фонологизации звонких щелевых согласных в последующие периоды (и после вычленения диалекта Гат). При этом различные типы реализации звонких придыхательных фонем в тех арийских диалектах, из которых затем развились восточноиранские и западноиранские языки, обусловили в дальнейшем и различные способы совпадения двух фонемных рядов звонких согласных: в западных диалектах, благодаря сильной смычке и слабому аспирационному компоненту, индуцирующими явились непридыхательные; в восточноиранских диалектах, где аспирация удерживалась дольше, а смычный компонент был, возможно, менее интенсивным, возобладала унификация по типу древних аспирированных.

Тем самым, согласно историко-фонетическим данным, общеиранское состояние предстает в виде не единого «ствола родословного дерева», а совокупности диалектов или диалектных групп, в которой единая в фонологическом аспекте система допускает различные типы презентации определенных фонем в разных диалектных зонах.

Следует напомнить к тому же, что и другие общеиранские инновации, отделяющие иранские языки от индоарийских и нуристанских, также начали зарождаться в достаточно глубокой древности и не одновременно, а в определенной хронологической последовательности, с определенными ареалами архаизмов и инноваций уже в диалектах общеиранского континуума (не всегда совпадавших с последующим членением общеиранского на группы) [см. 29, с. 39—42, 45]. Эти факты делают очевидной большую хронологическую глубину становления и «распада» общеиранского состояния, а также его диалектную неоднородность [ср. 1, с. 137; 2, с. 37; 3, с. 32—34].

Если добавить к этому, что некоторые инновации были ускорены или, наоборот, замедлены ареальными тенденциями [см. 31, с. 84—85; 7, с. 39—40], то следует признать, что праязыковое состояние как для общеиранского, так и для «восточноиранского» и «западноиранского» уровней представляло собой не монолитное целое, а континуум диалектов, имевших весьма существенные различия и объединяемых между собой общностью совокупности материальных черт, в том числе и инновационных.

ЛИТЕРАТУРА

1. Оранский И. М. Введение в иранскую филологию. М., 1960.
2. Оранский И. М. Иранские языки. М., 1963.
3. Оранский И. М. Введение. — В кн.: Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
4. Geiger W. Kleinere Dialekte und Dialektgruppen. — Grundriss der iranischen Philologie. Bd I, Abt. 2. Strassburg, 1898—1901.

5. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. I. М.—Л., 1949, с. 205—207.
6. Morgenstierne G. Indo-Iranian frontier languages. V. II. Oslo, 1938.
7. Стеблян-Каменский И. М. Историческая фонетика ваханского языка: Канд. диссерт. Л., 1971.
8. Герценберг Л. Г. Хотаносакский язык.— В кн.: Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981, с. 242—244.
9. Соколова В. С. Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы. Л., 1967, с. 123.
10. Принципы описания языков мира. М., 1976.
11. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern — München, 1959.
12. Morgenstierne G. An etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927, p. 54.
13. Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904, Sp. 1434.
14. Стеблян-Каменский И. М. Бактрийский язык.— В кн.: Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981, с. 339.
15. Bailey H. W. Languages of the Saka.— In: Handbuch der Orientalistik. Bd 4, Abschn. 1. Leiden — Köln, 1958, p. 136.
16. Bailey H. W. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979.
17. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.—Л., 1958, с. 235—236, 248, 262, 277.
18. Миллер В. Ф. Язык осетин. М., 1962, с. 62.
19. Осетинско-русский словарь. Орджоникидзе, 1962, с. 172—173.
20. Исаев М. И. Дигорский диалект осетинского языка. М., 1966, с. 16.
21. Боголюбов М. Н. Ягнобский (новосогдийский) язык. Исследование и материалы: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1956.
22. Хромов А. Л. Ягнобский язык. М., 1972, с. 123—124.
23. Соколова В. С. Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской языковой группы. Л., 1973, с. 60.
24. Абаев В. И. О диалектах осетинского языка.— In: Indo-Iranica. Mélanges présentés à Georg Morgenstierne. Wiesbaden, 1964, с. 3.
25. Елизаренкова Т. Я. Исследования по диахронической фонологии индоарийских языков. М., 1974.
26. Walde A. Die Verbindungen zweier Dentale und tönendes z im Indogermanischen.— Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. Bd XXXIV. Neue Folge. Bd XIV. 1897 (repr. 1963, Wiesbaden), S. 466—467, 504.
27. Knobloch J. Concetto storico di protolingua e possibilità e limiti di applicazione ad esso dei principi strutturalistici.— In: Le «Protolingue». Atti del IV Convegno Internazionale di linguisti. Milano, 1965, p. 153.
28. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980, с. 159.
29. Эдельман Д. И. К перспективам реконструкции общеиранского состояния.— ВЯ, 1982, № 1.
30. Buddruss G. Nochmals zur Stellung der Nūristān-Sprachen des afghanischen Hindu-kusch.— Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. München, 1977, Hf. 36, S. 22—23.
31. Эдельман Д. И. Основные вопросы лингвистической географии (на материале индоиранских языков). М., 1968.
32. Bartholomae Chr. Vorgeschichte der iranischen Sprachen.— In: Grundriss der iranischen Philologie. Bd I, Abt. 1. Strassburg, 1895—1901.
33. Соколов С. Н. Авестийский язык. М., 1961, с. 34, 37.
34. Соколов С. Н. Язык Авесты.— В кн.: Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979, с. 158, 160.

ЖУКОВА А. Н.

ИНКОРПОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАК СЛОВСОЧЕТАНИЕ В ЯЗЫКАХ ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКОЙ ГРУППЫ

Инкорпорация в чукотско-камчатских языках характеризовалась с самого начала ее изучения как неотъемлемая и специфическая черта грамматического строя этих языков [1]. Инкорпоративные комплексы типа чук. *гачъааанмылэн*, кор. *зачъ'ыкоянмаллэн* «жирного оленя убил»; чук. *тым-эйылэвтыпытыркын*, кор. *тыкужэйылэв'тытг'ылын* «у меня очень болит голова» не могли не привлечь внимания североведов при первом ознакомлении с языками чукотско-камчатской группы. Вызывали интерес и комплексы, глубина которых превышает среднюю, например, кор. *Ынно аяти майңы-пэты-онмы-кайңы-в'анэвтың* «Он провалился в большую старую глубокую медвежью берлогу». Инкорпоративные комплексы такого типа обнаруживаются в текстах. Однако в эксперименте коряки указывали на предпочтительность комплексов *майңыкайңы'анэвтың* («в большую медвежью берлогу» или *пэтыкайңы'анэвтың* «в старую медвежью берлогу», явно противодействуя употреблению комплекса большой сложности.

Разные подходы к исследованию проблемы инкорпорирования проанализированы в общих чертах П. Я. Скориков [2].

При всей неравномерности изучения и описания синтаксиса палеоазиатских языков, располагая самыми общими сведениями о способах выражения синтаксической связи, языковеды обратили внимание на сходство и различие инкорпорирования и примыкания. Особенно остро был поставлен вопрос (как дилемма — инкорпорирование или примыкание?) в отношении нивхских инкорпоративных или «так называемых инкорпоративных» комплексов [3—8].

Изучая примыкание в типологическом плане, И. И. Мещанинов считал, что при типологических сопоставлениях примыкания и инкорпорирования «представляется некоторая возможность ближе подойти к освоению используемых языком синтаксических приемов соединения и слияния слов, посредством которых передаются переменные признаки атрибутивных членов» [9].

Анализ различных случаев примыкания в чукотско-камчатских языках приводит к выводу, что в этих языках примыкание не связано неразрывно с препозицией зависимого слова. Примыкание может осуществляться и в постпозиции зависимого члена словосочетания, например, чук. *эпиңкулин нуунри* «прыгнул туда»; *Лыгнэййткульын гролмакы* «Очень гористая местность вокруг».

При инкорпорировании возможна только препозиция зависимого компонента комплекса. Например, в кор. *Кумэлэйгулэньңынн нутэнут* «Хорошо знает тундру» зависимый компонент -мэл- «хорошо» может находиться только в непосредственной препозиции к главному компоненту инкорпоративного комплекса, глаголу *йыгулэтык* «знать». Наречие же *нымэлэ'эв* «хорошо» примыкает к глаголу или препозитивно или постпозитивно: *Нымэлэ'эв куйгулэньңынн нутэнут* «Хорошо знает тундру»; *Нутэнут куйгулэньңынн нымэлэ'эв* «Тундру знает хорошо».

С выражением синтаксической связи способом примыкания для многих нефлективных языков сопряжены сложные вопросы разграничения слова и соотнесенных с ним единиц — слова и основы слова, основы слова и корневой морфемы, слова и словосочетания.

Для языков чукотско-камчатской группы проблема соотношения этих понятий связана с инкорпорированием.

Представление о том, что инкорпоративный комплекс «многокорневая структура», распространен весьма широко [10—12], хотя в работах по чукотско-камчатским языкам компоненты инкорпоративных комплексов не сводятся к корневым морфемам.

Вопрос о морфологической характеристике компонентов инкорпоративных комплексов не представляется формальным. Если в пределах комплекса объединены компонент, внешне совпадающий с основой, и слово, можно ожидать обнаружения между ними отношений иных, чем при соединении «основы и основы» или «корня и корня». Таким образом, при описании чукотско-камчатских языков безразличен вопрос о соотношении членов триады корень — основа — слово. Характерно, что с самого начала изучения инкорпорации параллельно употреблялись наименования «корень» и «основа». Различению этих понятий не придавалось значения. Позже были внесены уточнения и подчеркнута возможность употребления в инкорпоративном комплексе наряду с корневыми (resp. непроезводными) и производных основ [13].

Существенным представляется то, что в роли зависимых компонентов комплексов всех типов преимущественно употребляются лексически и семантически простые, не перегруженные словообразованием компоненты, которым внешне соответствуют непроезводные основы, совпадающие, в свою очередь, с корневыми морфемами. Например, в типичном чукотском инкорпоративном комплексе *вэзмимлык* «в речной воде» (соответственно в корякском *в'эзмимлык*) зависимый компонент именного комплекса — *вэзм*. Этот компонент внешне совпадает с корневой морфемой *вэзм-*, например, *вэзм-кин* «речной, имеющий отношение к реке», с непроезводной основой существительного — *вэзм-ык* «на реке», с формой им. падеж ед. числа существительного *вэзм* «река». Такое совпадение отнюдь не обязательно. Например, компонент *аңқа-* корякского инкорпоративного комплекса *аңқамэлык* «в морской воде» совпадает внешне с корнем — *аңқа-кэн* «морской», с основой существительного *аңқа-к* «в море», но не совпадает с формой абсолютного падежа ед. числа существительного *аңқа-н* «море».

Определению статуса зависимых компонентов инкорпоративного комплекса, используя данные и чукотско-камчатских языков, вскрывая противоречия в определениях инкорпорации, большое внимание уделяет в своих работах В. З. Панфилов. Тот факт, что зависимые компоненты инкорпоративного комплекса выступают в составе словосочетаний в форме, совпадающей с основой, В. З. Панфилов соотносит с достаточно широко распространенным явлением — совпадением с основой одной из форм слова [14].

В чукотско-камчатских языках грамматическую завершенность в дополнение к лексической самостоятельности слово получает только при включении в активные отношения с другими словами в предложении. Так, чукотское слово *вэзм-ык* «в реке» состоит из основы *вэзм-* и падежного аффикса *-ык*, служащего средством связи с другими словами для включения слова в предложение, например, *Вэмык нымкыкэн ымнээн* «В реке много рыбы» (соответственно кор. *В'эмык амкыка ыну*). Рассмотрим далее с той же позиции зависимый компонент *вэзм-* чукотского инкорпоративного комплекса *вэзмимлык* «в речной воде» из предложения *Вэзмимлык нывагэн ымнээн* «В речной воде есть рыба». В последнем случае *вэзм-*, зависимый компонент инкорпоративного комплекса, представляет собою основу *вэзм-* + обязательная непосредственная препозиция по отношению к главному компоненту комплекса. В данном случае главный компонент комплекса — *имлык* «в воде» — существительное в форме местного падежа. Полную аналогию находим при рассмотрении корякских инкорпоративных комплексов в разных диалектах: *в'эзмимлык*, *в'аяммимлык* «в речной воде». Обязательность непосредственной препозиции зависимого компонента по отношению к определяемому им слову и есть в данном случае формальное средство его связи с этим словом.

Внешнее сходство зависимого компонента комплекса с корневой мор-

фемой или с основой не означает их тождества. От «самостоятельно оформленного слова» зависимый компонент инкорпоративного комплекса формально отличается только отсутствием словоизменительного аффикса, но это и сигнализирует об их функциональном различии. Отличие основы слова от словоформы тоже заключается в отсутствии/наличии словоизменительного аффикса. Отличие же корневой морфемы от слова совсем иного рода. Если корень в чукотско-камчатских языках явление морфолого-семантическое, то основа — морфолого-функциональное.

Внешнее совпадение зависимого компонента комплекса с корнем и со словом отнюдь не обязательно, но и слово в чукотско-камчатских языках не всегда совпадает с основой, а основа с корнем. Зависимый компонент инкорпоративного комплекса внешне всегда совпадает с основой, и это не случайное совпадение. Основа слова в чукотско-камчатских языках — потенциальный член синтаксической конструкции. При актуализации этой потенции основой склоняемого или спрягаемого слова используется широкий выбор средств связи с другими словами — вся система форм изменяемого слова, например, в корякском языке — *в'эем-ык* «у реки», *в'эем-э* «рекой», *в'аям-этык* «к реке», *в'аям-ыкко* «с реки», *в'аям-гыпык* «по реке» и так далее. Вместе с тем в каждом конкретном случае выбор единичен, определен синтаксической связью слова в составе словосочетания и предложения: *В'эемык чеймык куюнэтык* «(Он)у реки живет»; *В'аям-гыпык кулэч качер* «По реке идет катер».

Основа как составная часть зависимого компонента инкорпоративного комплекса тоже получает грамматическое завершение, для чего используется обязательная непосредственная препозиция по отношению к главному компоненту комплекса: *В'эемжымлык амкыка мигув'у* «В речной воде много мальков»; *В'аямжэмыкко этонэн* «Из речной воды достал». Зависимый компонент комплекса может быть определен как эквивалент слова.

О главном компоненте инкорпоративного комплекса в каждом конкретном случае можно сказать имя это или глагол и дать его грамматическую характеристику. Главный компонент любого инкорпоративного комплекса в чукотско-камчатских языках — грамматически завершенное слово, что особенно отчетливо можно показать на простейших примерах: кор. *майчыв'алата*, чук. *майчываалата* «большим ножом» — *в'алата*, *ваалата* «ножом»; *майчыв'аямгыпык*, *майчываамгыпы* «по большой реке» — *в'аямгыпык*, *ваамгыпы* «по реке»; кор. *майчыачагатык* «сильно смеяться» — *ачагатык* «смеяться», *майчыачагата* «сильно смеялся» — *ачагата* «смеялся».

Сочетание компонентов инкорпоративного комплекса рассматривается нами как один из видов словосочетания — атрибутивное словосочетание. При этом принимаются во внимание отличительные черты инкорпоративного комплекса. Отличие инкорпоративного комплекса от словосочетания, компоненты которого соединены другим способом синтаксической связи, например, управлением или примыканием, не сводится только к технике оформления синтаксических групп в составе предложения. Прежде чем раскрыть это отличие, необходимо аргументировать соотношение инкорпоративных комплексов с другими типами словосочетаний.

Целесообразно сопоставить данные об инкорпоративных комплексах в чукотско-камчатских языках с теми представлениями, которые сложились на основе изучения словосочетаний в разных языках.

1. Инкорпоративный комплекс состоит из двух или более компонентов. Соответствующим является и состав словосочетаний в разных языках. И для инкорпоративного комплекса, и для словосочетания характерно различие простых, состоящих из двух компонентов, и сложных структур. «Многоосновные» многокомпонентные инкорпоративные комплексы соотносятся в общих чертах со сложными словосочетаниями. Многокомпонентные комплексы, извлеченные из контекста (главным образом, из контекста разговорной речи), в своем подавляющем большинстве беспорочно двучленны. Двучленность обусловлена семантическими связями между компонентами комплекса. Два зависимых компонента инкорпоратив-

ного комплекса могут быть объединены между собою семантически (сложное слово — крайний случай проявления такой связи) или один из зависимых компонентов более тесно и постоянно связан с главным, чем другой. Так, в чукотском инкорпоративном комплексе *мач'-ақа-йықы-қамэтва'ат* «довольно плохо наспех поели» значения компонентов комплекса распределяются попарно: *мач'-ақа* + *йықықамэтва'ат* «довольно плохо + наспех поели», причем объединенный признак *мач'-ақа* «довольно плохо» относится к глаголу, уже осложненному другим признаком *йықы-қамэтва'ат* «наспех поели». «Многоосновность» не является столь характерной для инкорпорирования, как это представлялось при первом ознакомлении с языками чукотско-камчатской группы.

2. Характерно, что не только в отношении членов инкорпоративного комплекса, за которым укрепились репутация явления специфического, предпринимались попытки как-то терминологически отграничить составные члены комплекса от членов предложения, но и в отношении словосочетания есть аналогичные попытки отграничения синтаксической функции внешней, для связи с другими членами предложения, и внутренней, внутри словосочетания. Предложен, например, термин «синтаксический элемент» в отличие от «член предложения» [15].

3. Внутри инкорпоративного комплекса отношения между компонентами определены как отношения главного и зависимого. Этот признак — неоднородность компонентов — свойство не только инкорпоративного комплекса. Чрезвычайно существенно, что вопрос о неоднородности элементов языка ставится кардинально — как о фундаментальном свойстве элементов всяких систем, и прежде всего функциональных [16].

Неоднородность компонентов инкорпоративного комплекса выражена не только содержанием отношений между компонентами комплекса (предмет и его признак, процесс и его признак), но и формально. Главный компонент комплекса — словоформа, агглютинативно оформленное слово. Зависимый компонент морфологического показателя синтаксической связи, как правило, не получает.

4. Инкорпоративный комплекс образуется на основе подчинительной связи так же, как и большинство словосочетаний. Иерархическая организация комплекса соответствует в основных чертах организации словосочетания.

5. Особое значение придавалось цельнооформленности инкорпоративного комплекса как отличительному его признаку, сближающему комплекс со словом. Словоизменятельный аффикс дан один на весь инкорпоративный комплекс. Самостоятельность словоизменения, грамматического оформления зависимого члена подчинительного словосочетания тоже относительна. Хорошо известна и «цельнооформленность» словосочетаний в агглютинативных языках, а также тенденция к монофлексии в немецком языке, в иберийско-кавказских языках. Цельнооформленность инкорпоративного комплекса еще не обуславливает принципиального отличия комплекса от словосочетания.

6. Общее для инкорпоративного комплекса и словосочетания можно увидеть в том, что при описании комплексов, как и при описании словосочетаний, приходится прибегать к морфологической, а не к морфемной характеристике компонентов.

7. Для выражения внутренней связи между компонентами инкорпоративного комплекса используется прием непосредственной контактной препозиции зависимого компонента по отношению к главному. Эта связь аналогична примыканию, основанному на соположении определения и определяемого с обязательной препозицией определения в составе словосочетания. В структуре словосочетания используется порядок морфологически завершенных слов, таким образом, примыкание — средство связи между словами, лишь аналогичное по типу инкорпорированию в чукотско-камчатских языках.

8. Известная «зыбкость граней» между инкорпоративными комплексами и сложными словами типа *ыныулавоа* «старик» соотносима с аналогичными колебаниями между словосочетаниями и сложными словами. Ко-

лебания эти отмечены, по существу, во всех языках, в которых есть композиты.

9. Изменение логико-грамматического (актуального) членения предложения приводит в чукотско-камчатских языках к перестройке инкорпоративных комплексов — атрибутивных словосочетаний в составе предложения. Аналогичным образом влияет изменение логико-грамматического членения предложения на словосочетания, синтаксические группы в составе предложения в других языках.

Следует отметить, что изменение логико-грамматического членения предложения не затрагивает сложные слова в языках чукотско-камчатской группы. Перестройке подвергаются лишь инкорпоративные комплексы как атрибутивные словосочетания в составе предложения. Реакция на изменение актуального членения предложения служит одним из средств различения инкорпоративных комплексов и композитов в языках чукотско-камчатской группы.

10. Функциональная сторона инкорпоративного комплекса определяется, раскрывается в составе предложения. Особенности функционирования словосочетания могут быть определены тоже только через предложение.

11. Порядок следования зависимого/зависимых и главного компонентов инкорпоративного комплекса твердо определен. Непосредственная препозиция зависимого компонента — обязательное условие конструирования комплекса. Этот порядок не может быть изменен без нарушения значения или даже перестройки всего инкорпоративного комплекса в составе предложения.

Сведения о порядке расположения членов словосочетания — неотъемлемая часть описания словосочетаний в различных языках, что является еще одним из общих признаков словосочетания и инкорпоративного комплекса.

12. Характерные черты инкорпоративного комплекса, которые представлялись особенностями одного из способов образования новых слов, в действительности соотносятся с признаками словосочетания как номинативной единицы. Инкорпоративные комплексы в чукотско-камчатских языках, являясь атрибутивными словосочетаниями, соотносятся как средство выражения атрибутивной номинации со словами, выражающими простую номинацию. Если атрибут перестает ощущаться атрибутом, комплекс передает простую номинацию и становится сложным словом. Соотношение между инкорпоративным комплексом и сложным словом аналогично соотношению между атрибутивным словосочетанием и сложным словом.

13. Именно в связи со словосочетанием часто поднимается вопрос о синтагматическом членении речи и синтагме как фонетическом и семантико-синтаксическом единстве [17, 18].

Соотнести инкорпоративный комплекс с синтагмой побуждает, в частности, распространение на него действия сингармонизма гласных и чередования согласных в чукотско-камчатских языках. Действие сингармонизма гласных в пределах не только слова, но и инкорпоративного комплекса представляется сопоставимым с проявлением других фонетических и морфонологических закономерностей в рамках словосочетания того или иного типа.

Сопоставительное изучение инкорпоративных комплексов в чукотском и корякском языках позволило охарактеризовать инкорпоративный комплекс как словосочетание. Сравнение по аналогии существенных признаков инкорпоративных комплексов и словосочетаний подтверждает предположение о соответствии инкорпоративных комплексов словосочетаниям в других языках.

Значительная неравномерность исследования разных сторон инкорпорирования объясняется тем, что описание внешних признаков закономерно предшествовало проникновению в суть такого многомерного явления, как инкорпорирование, установлению связей между его разнородными признаками.

Морфологический анализ был и остается существенной частью исследования инкорпорирования. В процессе изучения инкорпоративных комплексов уточнялась морфологическая характеристика компонентов комплекса. Утверждение о том, что в комплекс входят корни слов, смее-лось определением компонентов комплекса как основ слов и, далее, дифференцированным определением главного и зависимого компонентов.

Вместе с тем морфологический анализ и тем более морфемный не вскрывает всех существенных свойств инкорпоративного комплекса.

Рассматривая меру специфичности инкорпорирования, необходимо было обратиться к определениям грамматически зависимых компонентов словосочетаний в других языках.

Зависимый компонент инкорпоративного комплекса в чукотско-камчатских языках грамматически ориентирован на тесную связь с главным, и «несамостоятельность» его относительна, грамматически обоснована. Это не некая несамостоятельность, возникшая из-за неопределенности, неравности, специфичности морфологических средств. Прием инкорпорирования используется для выражения атрибутивных отношений, для конструирования атрибутивных словосочетаний. Инкорпорирование входит в один ряд с другими видами подчинительной связи слов в предложении: согласование, управление, примыкание, инкорпорирование.

Определение инкорпоративного комплекса в чукотско-камчатских языках как атрибутивного словосочетания несколько снимает остроту вопроса об арханке и генезисе инкорпорации. Оснований видеть в инкорпоративном комплексе слово-предложение не больше, чем для обнаружения слова-предложения в других видах словосочетания.

Противопоставление атрибутивной и предикативной связи слов в предложении требует дальнейшего углубленного изучения. В чукотско-камчатских языках это противопоставление на синтаксической основе служит целям выражения различного логико-грамматического членения предложения.

Углубленный анализ признаков инкорпорации лишает это явление покрова экзотичности и дает возможность обосновать направление дальнейшего исследования инкорпорирования в русле синтаксиса словосочетания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богораз В. Г. Луоравет анско-русский (чукотско-русский словарь). М.—Л., 1937, с. XIV.
2. Скорик П. Я. О соотношении агглютинации и инкорпорации (на материале чукотско-камчатских языков).— В кн.: Морфологическая типология и проблема классификации языков. М.—Л., 1965.
3. Панфилов В. З. К вопросу об инкорпорировании.— ВЯ, 1954, № 6.
4. Панфилов В. З. Проблема слова и «инкорпорирование» в нивхском языке.— ВЯ, 1960, № 6.
5. Панфилов В. З. К типологической характеристике нивхского языка.— ВЯ, 1966, № 5.
6. Панфилов В. З. Философские проблемы языкознания. М., 1977, с. 111—112.
7. Крейнович Е. А. Об инкорпорировании в нивхском языке.— ВЯ, 1958, № 6.
8. Крейнович Е. А. Об инкорпорировании и примыкании в нивхском языке.— ВЯ, 1966, № 3.
9. Мещанинов И. И. Примыкание в различных синтаксических системах.— ВЯ, 1967, № 3, с. 14—15.
10. Азманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
11. Успенский Б. А. Принципы структурной типологии. М., 1962, с. 30.
12. Мельников Г. П., Озотина Н. В. Выявление детерминанты и классификация морфем банту (на материале суахили).— В кн.: Проблемы африканского языкознания. М., 1972, с. 13.
13. Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка. Ч. I. Фонетика и морфология имен-ных частей речи. М.—Л., 1961, с. 97.
14. Панфилов В. З. Об определении понятия слова.— В кн.: Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.—Л., 1963.
15. Бурлакова В. В. Основы структуры словосочетания в современном английском языке. Л., 1975.
16. Солнцева Н. В., Солнцев В. М. Взаимодействие частей речи и членов предложения (на материале изолирующих языков).— В кн.: Члены предложения в языках различных типов. Л., 1972, с. 83.
17. Виноградов В. В. Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка.— В кн.: Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
18. Щерба Л. В. Фонетика французского языка. 7-е изд. М., 1963.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ЩЕРБАК А. М.

О НОСТРАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ С ПОЗИЦИЙ ТЮРКОЛОГА*

1. В данном случае нет необходимости подробно излагать историю вопроса, хотя это не потребовало бы больших усилий: она не богата ни именами ученых, ни названиями трудов. Основоположники ностратической гипотезы — Х. Педерсен [1] и А. Тромбетти [2], из которых первый не оставил специальных работ. Приверженцами идей ностратизма были и другие языковеды, например, А. Кюни, объединивший в ностратическую семью индоевропейские и семитохамитские языки и допускавший расширение ее состава [3]. Наиболее последовательное развитие эти идеи получили в трудах В. М. Иллич-Свитыча, активно разрабатывавшего ностратическую грамматику и составившего сравнительный словарь [4, 5]. Из публикаций заслуживают также внимания статьи различных авторов и рецензии на «Опыт сравнения ностратических языков». Из критической литературы, связанной с выходом в свет первого тома «Опыта сравнения...», следует выделить монографию Г. Дёрфера, в которой сделан разбор трех типов «всеобщего» сравнения, представленных соответственно у А. Тромбетти, Г. Мёллера и В. М. Иллич-Свитыча [6].

К ностратическим принято относить семитохамитские, картвельские, индоевропейские, уральские, дравидийские и алтайские языки. Если учесть, что каждую из перечисленных «малых» семей, каждую группу и каждый отдельный язык связывают узлами генетического родства с языками, традиционно не относимыми к ностратическим, то может стать реальностью превращение ностратической гипотезы в гипотезу о единой глобальной языковой семье.

Итоги изучения связей между ностратическими языками подведены в статьях В. А. Дыбо [7, 8], содержащих и общие соображения по поводу правомерности выделения «большой» семьи, и конкретные мысли о соответствиях, о фонологических оппозициях, о совпадающих морфологических показателях.

2. Ниже предпринимается попытка соотнести важнейшие положения работ В. М. Иллич-Свитыча и комментарии к ним его коллег с представлениями о фонологической системе и морфологической структуре тюркских языков, сложившимися в тюркологической среде. Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что обе книги В. М. Иллич-Свитыча изданы посмертно, что начатые поиски не были завершены и что поэтому наши критические замечания не должны рассматриваться как оценка выдвинутых им идей. Этическая сторона вопроса уже затрагивалась в статье Дж. Клосона и здесь уместно воспроизвести ее заключительную часть: «Всегда неприятно критиковать работу ученого, потратившего годы интенсивного труда на ее выполнение, и вдвойне неприятно, когда его уже нет, чтобы защитить себя. Огромное трудолюбие и энтузиазм В. М. Иллич-Свитыча вызывают глубочайшее уважение к нему. Это трагедия, что они были потрачены на доказательство истинности положения, которое, вероятно, не может быть истинным» [9]. В. М. Иллич-Свитыч выполнил огромную работу и сделал многое для того, чтобы гипотеза Х. Педерсена приобрела

* Публикуя настоящую статью, редакция надеется продолжить дискуссию по проблемам ностратических исследований.

качество научной концепции. Перечень обсуждаемых проблем и объем охваченного материала настолько велики, что даже простая систематизация их кажется трудом, непосильным для одного человека. Однако, признавая масштабность замыслов В. М. Иллич-Свитыча и необыкновенную интенсивность творческих усилий, необходимо отметить вместе с тем явную несоизмеримость с ними полученных результатов, которые более чем скромны и не дают оснований для оптимистических прогнозов. Причиной отрицательного отношения к ним является не «характерная эмоциональная реакция на принципиально новое открытие», как уверяет нас Вяч. Вс. Иванов [10, с. 179], и не гипертрофированный скепсис, а отсутствие убедительных фактов и ненадежность предложенных реконструкций. Впрочем, ни эмоциональная реакция, ни чрезмерная осторожность никогда не вредили науке так, как вредят ей поспешно сделанные категорические заключения. Примечательно, что и сам основоположник ностратики Х. Педерсен призывал к осторожности, констатируя присутствие в турецком языке ранних заимствований из индоевропейских языков: *deri* «кожа, шкура», *öküz* «бык, вол», *davar* «мелкий рогатый скот», *eşek* «осел» и др. [1, с. 561].

Вначале коснемся вопроса о связях между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками, составляющими вместе так называемую алтайскую семью.

2.1. «...статус алтайской семьи,— пишет В. А. Дыбо,— не затрагивает существа ностратической гипотезы: если тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки не образуют единой прасемьи, то те древние сходжения между ними, которые установлены сторонниками алтайской теории, окажутся сближениями ностратического уровня» [8, с. 400].

С этим подкупающим наивной простотой высказыванием трудно согласиться, тем более что оно противоречит другим высказываниям того же автора и не отражает взглядов В. М. Иллич-Свитыча, пользовавшегося понятием «алтайская семья языков» [11, с. 90] и подчеркивавшего свою ориентацию на праязыковые реконструкции шести «малых» семей [4, с. 1, 4, 67, 69; 12]. Настораживает априорность в подходе к решению вопроса о принципах объединения различных языков в одну семью. Поскольку под ностратическим уровнем подразумевается древнейшее состояние индоевропейского праязыка (до начала действия аблаута, с вокализмом уральского и консонантизмом картвельского типа), то «сближениями ностратического уровня» для алтайских языков должны оказаться произвольные индоевропейско-урало-картвельские реконструкции. Далее, следует возразить против ничем не обоснованного упрощения проблемы алтайской общности. Разграничение древних и поздних сходжений, вообще, никогда не было чисто механическим приемом. В случае же с алтайскими языками существуют особые трудности: в течение длительного времени турки, монголы и тунгусо-маньчжуры, находясь на смежных территориях, многократно вступали в тесные контакты и частично смешивались, и уже одно это обстоятельство побуждает отнестись со всей серьезностью к выделению в их языках разновременных пластов заимствованной лексики, в том числе и очень древних. «Чем больше я старею,— писал в 1932 г. крупнейший представитель ортодоксальной алтаистики В. Банг,— тем больше считаю просто абсурдным сравнивать между собой два языка, скажем монгольский и тюркский, до того как мы установим, что ими было заимствовано, дважды заимствовано и перезаимствовано» [13, с. 103].

2.2. О результатах, полученных В. М. Иллич-Свитычем, В. А. Дыбо говорит так: «гипотеза начала работать» [8, с. 403]. Ср. у Вяч. Вс. Иванова: «...В. М. Иллич-Свитыч сумел доказать родство ностратических языков» [10, с. 182]; у Н. Поппе: «Ностратическая гипотеза остается вероятной, хотя и недоказанной» [14, с. 222].

Иллюстрацией к тому, как работает гипотеза, служит мотивировка разделения индоевропейских гуттуральных на три ряда: лабиовелярный, палатальный и велярный. В. М. Иллич-Свитыч устанавливает соответствие А) индоевропейским лабиализованным гуттуральным (k^u , g^u , g^uh) уральских и алтайских сочетаний гуттуральных согласных с лабиализо-

ванными гласными (и, о, ü, ö); В) индоевропейским палатализованным гуттуральным (k', g', g'h) — уральских и алтайских сочетаний гуттуральных согласных с нелабиализованными гласными переднего ряда (ä, e, i) и гласным у (развившимся из i в словах с непередним вокализмом других слогов); С) индоевропейским велярным гуттуральным (k, g, gh) — уральских и алтайских сочетаний гуттуральных согласных с нелабиализованным гласным заднего ряда (a) [15, с. 22] и затем делает вывод, что индоевропейские гуттуральные дополнительно распределились по характеру уральского и алтайского вокализма, который являлся первичным и в индоевропейских языках был «стерт» действием аблаута.

Анализ примеров В. М. Иллич-Свитыча не оставляет сомнений в том, что они подбирались с заранее поставленной целью, о чем свидетельствует, в частности, состав включенных в параллели алтайских реконструкций. Для лабиовелярного ряда их — три: *kol'-¹ «вертеться, быть в движении», *kir- «строить, приводить в порядок», *pākū- «горячий»; для палатального — десять: *kās- «резать, отламывать», *kyra- «иней», *kärä- «привязывать, завязывать», *kyra- «скоблить, резать», *kūma- «рвение, пыл, жар», *nākā- «преследовать, сражаться», *kibi- «жевать», *kālīn «сноха, невестка, свояк», *gedā «задняя часть», *gilā- «блестеть»; для велярного — семь: *kaşy- «скрести», *kaly- «подниматься», *kap- «хватать», *kara «черный», *kal'- «голый, лысый», *kamā- «срывать, прижимать», *gara «сук, сухая ветка» [15, с. 22—25]. Некоторые из них опираются на материалы одной или двух групп языков, например: *kol'- «вертеться, быть в движении» (тюрк., монг.), *pāku «горячий» (монг., тунг.-маньч.), *nākā- «преследовать, сражаться» (монг., тунг.-маньч.), *kaşy- «скрести» (тюрк.), *kal' «голый, лысый» (тюрк., монг.), *gara «сук, сухая ветка» (тунг.-маньч.), *bagy- «брать» (монг.). При этом реконструкция палатализованных согласных, ср.: (*kol'-, *kal', находится в противоречии с основополагающими признаками фонологических систем тюркских языков, так же как реконструкция первичного i в др.-тюрк. kyragu (<*kiragu) «иней», тув. xyr-² (<*kir-) «скоблить», якут. kŭm (<*kīm) «искра».

В пределах алтайского материала, привлекаемого В. М. Иллич-Свитычем в связи с объяснением трехрядности индоевропейских гуттуральных, немало сопоставлений заимствованных слов и сопоставлений, подсказанных сомнительной внешней близостью, ср.: монг.-п. qolgida- «вертеться, сидеть беспокойно» (?) и турецк. koş- «бежать, мчаться»; ср.-монг. he'üsi-je- «страдать от жары» (?) и нан. pāku «горячий, жаркий»; монг.-п. kiragi и туркм. gyraу, др.-тюрк. kyragu «иней»; монг.-п. kimagan «рвение» (?) и якут. kŭm «искра»; монг.-п. gileji- «блестеть и (горно)алт. kileŋ «блестящий»; монг.-п. qaltar «голый, лысый» (?) и тат. kaška «лысый» (?); монг.-п. qatı- «срывать» (?) и нан. kamali- «прижимать, давить».

В толковании ряда слов допущены неточности. Монг.-п. qolgida- (бурят., халх. xolxido-) не «вертеться, сидеть беспокойно», а «быть свободным, оказываться большим по размеру (об одежде, обуви)»; ср.-монг. he'üsi-je- не «страдать от жары»³, а «быть вредным, гнилым (о климате)» (ср.: монгол. hŭ- «гниль») [16, с. 590]; монг.-п. kimaga(n) не «рвение», а «бережливость, заботливость»; монг.-п. qaltar не «голый, лысый», а «пятнистый, полосатый» (ср.: бурят., халх. xaltar, калм. xaltar «гнедой с желтоватыми подпалинами», бурят., халх. xaltar noxoi «собака с рыжими полосами или пятнами на ногах и морде», халх. xaltar üneg «черно-бурый лисица»); тат. kaška не «лысый», а «лысина, белая полоса или пятно на лбу животного» (ср.: кирг. kaškaj- «белеть»); монг.-п. qatı- не «срывать», а «собирать, сметать, сгребать в кучу» (ср.: бурят., халх. xata-, калм. xat-).

¹ Во избежание недоразумений примеры приводятся с соблюдением особенностей передачи их у В. М. Иллич-Свитыча. Исправления внесены в неточные и ошибочные написания слов.

² У В. М. Иллич-Свитыча — xura- [15, с. 24].

³ Глагол he'üsi-je- «страдать от жары» приводится в алтаистических работах со ссылкой на «Сокровенное сказание», где он употреблен один раз с неясным значением. В русском тексте издания С. А. Козина и в словаре к нему предложены разные толкования [16, с. 180, 590].

С учетом внесенных изменений становятся необоснованными соответствующие алтайские и ностратические реконструкции: алт. **Kol'*а- «перемешивать, вращать(ся)», ностр. **kol'*а «круглый» (№ 202); алт. **päkü-* «горячий»; алт. **kūta-* «рвение, пыл, жар»; алт. **Kal'*(i)- «обдирать, кора, голый», ностр. **kal'*а «обдирать кору, кожу» (ср.: и.-е. **gol-* «голый, лысый», (№ 156); алт. **kamü-* «хватать, брать, сжимать», ностр. **kamü-* «хватать, сжимать» (№ 157).

Нельзя сказать, что все параллели либо случайны, либо включают заимствования. Есть и такие, случайность которых маловероятна и которые в то же время, по-видимому, не являются следствием языковых контактов, например: турецк. *kes-* и греч. *κείω* «резать» (ср.: у А. С. Мельничука [17]); турецк. *gev-* и др.-англ. *sēowan* «жевать»; турецк. *kap-* и лат. *capitō* «хватать». В них входят изобразительные слова, отличительной чертой которых является сохранение более или менее очевидной связи между звуком и значением, ср.: турецк. *kert-* «делать зарубку», *kemir-* «грызть», *ye-* «есть», *piş-* «вариться; печься», *balkı-* «блестеть, сверкать», *pariltı* «сверкание, блеск, сияние», *gırtlak* «гортань», *boran* «буря», *püşkür-* «брызгать», *titre-* «дрожать, трестись», *ter-* «лягаться, брыкаться», *pirtı* «лохмотья, тряпье»; узб. *jarakla-* «блестеть, сверкать, сиять», *karsak* «хлопок», *paşša* «муха», *baka* «лягушка», *miltik* «ружье» и т. д. Немало изобразительных слов и в словаре В. М. Иллич-Свитыча. По подсчетам С. В. Воронина, число их превышает треть общего количества [18, 19]. Спор о том, отражают ли изобразительные слова первичную близость языков (ср.: *affinité élémentaire* — у В. Пизани) или являются наследием более позднего времени, для компаративиста беспредметен: они не могут быть свидетельством генетического родства в общепринятом понимании его.

Подведем итоги. Пожалуй, Г. Дёрфер, комментирующий содержание первого тома монографии В. М. Иллич-Свитыча, иногда слишком категоричен в своих критических замечаниях, но он безусловно прав, утверждая, что «сплошное сравнение (*Omnicomparatismus*) без предварительного анализа отдельных форм имеет мало общего с наукой» [6, с. 81]. К сказанному Г. Дёрфером надо добавить, что компаративистика — область языкознания, требующая максимальной тщательности и большой точности, и что отсутствие того или другого делает сравнительные исследования бессмысленными. Если попытаться взглянуть на примеры В. М. Иллич-Свитыча с этих позиций, оценка В. А. Дыбо вывода о дополнительном распределении индоевропейских гуттуральных по характеру уральского и алтайского вокализма как научного открытия огромной важности и его заявление о том, что «ностратическая гипотеза работает», покажутся преждевременными.

Несколько слов о высказываниях Вяч. Вс. Иванова и Н. Поппе. Доказать родство языков путем применения специальных приемов или посредством статистических подсчетов никому не удавалось и, вероятно, никогда не удастся, что подтверждает многолетний опыт поиска аргументов для обоснования индо-уральской, индоевропейско-семитской, урало-алтайской, алтайско-индейской, алтайско-шумерской и других гипотез. Свидетельством генетического родства является возможность ретроспективного прослеживания систематически соотносимых фактов и тенденций, реализуемая в конечном итоге в восстановлении более или менее достоверных единых праформ.

2.3. По мнению В. А. Дыбо, В. М. Иллич-Свитычем создана достаточно полная сравнительная грамматика ностратических языков и выявлена обширная система соответствий [8, с. 410]. Выход в свет первого тома монографии сравнивается по значению «с созданием индоевропейской сравнительной грамматики в 1 половине XIX века (Бопп-Раск-Гримм)» [11, с. 82].

Скажем прямо: В. М. Иллич-Свитыч создал не сравнительную грамматику ностратических языков, а очень своеобразный ностратический вариант индоевропейской сравнительной грамматики. Удачен он или нет — вопрос, на который лучше ответить специалистам по языкам «малых» семей, обладающим наибольшими возможностями для глубокой и объек-

тивной оценки этого варианта. Что же касается выявленных соответствий, то они ни о чем не говорят, так как используемая методика позволяет обнаруживать любые соответствия в каком угодно количестве.

Основной методический прием — опора на материальную и семантическую близость при недостаточном внимании к природе сходства и к истории сближаемых лексических единиц. Именно поэтому, как указывалось выше, поисками параллелей широко охвачены изобразительные слова и заимствования.

Важную роль в увеличении числа избирательных сближений играет использование изолированных слов. Так, для сопоставления с монг.-п. *gendü* «самец» берется турецк. *kendi* «сам», затем реконструируется алт. **gändü* «самец» и, далее, на основе сопоставления с драв. **kañ*, — ностр. **gändü* «самец». Остаются в стороне тунгусо-маньчжурские языки. Не в полной мере учитываются материалы монгольских языков. Кстати, в тюркских языках в качестве выделительного местоимения («сам») выступают более десяти слов и пока нет уверенности в том, что турецк. *kendi* относится к общетюркскому пласту, ср.: *kensi* (ст.-кыпч.), *kesi* (карач.-балк.), *öz* (кирг.), *boj* (алт.), *xäj* (чуваш.), *beje* (якут.), *bilä* (халадж., афшар., тебриз.), *kentü öz* (др.-тюрк.), *gändü näfäs* (ст.-турецк.), *xut öb* (туркм.). Факторами, предопределившими сближение турецк. *kendi* с монг.-п. *gendü*, явились внешнее сходство и ошибочно воспринятая этимологическая связь (по русскому переводу: «сам» и «самец»).

Увеличению количества параллелей способствует также неучет семантического развития слов, проявляющегося в постепенной утрате конкретности лексических значений, ср.: турецк. *bin-* «садиться верхом; садиться в трамвай, поезд, на самолет; подниматься, взбираться» (первоначально — «садиться верхом»), *çık-* «выходить, появляться; восходить; подниматься, взбираться на гору, крышу, дерево» (первоначально — «выходить из чего-л. наружу»), *kalk-* «вставать, подниматься с места; взлетать; исчезать» (первоначально — «вставать, подниматься с места»); туркм. *ör-* «выступать, выдаваться, показываться; расти; подниматься» (первоначально — «выступать, выдаваться»); узб. *keç-* «переправляться через воду; переходить через пустыню, пески» (первоначально — «переправляться через воду»), *йй-* «проходить сквозь что-л.», «проходить, миновать» (первоначально — «проходить сквозь что-л.»), *ош-* «переходить через гору, переваливать; переливаться через край; превышать» (первоначально — «переходить через гору») и т. д. Бесспорно, не всегда удается точно восстановить исходное значение, однако само проявление упомянутой тенденции не вызывает сомнений. Игнорирование ее делает возможным сопоставление слов, семантика которых первоначально существенно различалась, например: др.-тюрк. *ör-* «выступать, выдаваться, показываться; подниматься» и эвенк. (баргуз.) *ого-* «взбираться, залезать», и заметно снижает степень надежности реконструкций, ср.: алт. **or(a)-*/**örä-* «подниматься, восходить, входить» [4, с. 254].

Недостатком методики В. М. Иллич-Свитыча является ограниченная языковая обеспеченность реконструкций любого уровня [14, с. 223; 20]. Нередко квалифицируются как алтайские и вводятся в ностратическое параллели слова, отсутствующие в тюркских языках и, более того, в силу определенных обстоятельств, «противопоказанные» им. Примеры: **lipa-* «прилипать, липкий, вязкий» (№ 252), **lapa-* «плоский, лист» (№ 256), **loça-* «изгибать, наклонять» (№ 260), **läkä-* «протыкать» (№ 261), **labä-* «тащить в зубах» (№ 262), **lämi* «болото, море» (№ 263), **loka*/**luka* «рысь, песец, собака» (№ 270), **magi* «плохой» (№ 275), **miaṛä* «выходить замуж» (№ 277), **maça* «твердый, крепкий, стойкий» (№ 280), **mō* «вода» (№ 298), **muda-* «конец» (№ 306), **muri-* «крутить, поворачивать, изгибать» (№ 309), **mura*/**mora* «ломкий, хрупкий» (№ 310), **naṛi/a-* «молодой, новорожденный; весна» (№ 318), **Naṛa-* «солнце» (№ 320), **ñöṛi* «влажный, болото, промокать» (№ 326), **ñika-* «шейный позвонок, шея, ворот» (№ 330) и т. д. Причина их «противопоказанности» тюркским языкам — в том, что они начинаются с сонантов. Между тем сонанты необычны для

тюркского анлаута, появились в этой позиции поздно и преимущественно в заимствованных словах, подвергающихся различным видам адаптации. Примеры: др.-тюрк. *ārdāni* (< скр. *ratna*) «драгоценность»; ст.-кыпч. *ilānir* (< перс. *lājār*) «якорь»; кирг., хак. *ylāčyn* (< ? *lačyn*) «сокол»; кирг. *uruksat* (< араб. *ruksat*) «разрешение, позволение», *ylāzym* (< араб. *lāzym*) «нужный, нужно», *ubakty* (< араб. *waqt*) «время», *yarakmat* (< араб. *rahmat*) «спасибо», *ajza* (< монг.-п. *najza*) «копье»; тув. *ylap* (< монг.-п. *lap*) «верно, точно»; тув. (диал.) *yadyjō* (< русск.) «радио», *om* (< монг.-п. *nom*) «книга», *a'zy* (< монг.-п. *nazy*) «возраст», *ulu* (< монг.-п. *lū* < кит. *lung*) «дракон» [21, с. 34, 44, 52]; уйг. *ařan* (< скр. *rasāyana*) «минеральный источник»; шор. *ilektor* (< русск.) «лектор». Сравнительное исследование показывает, что в тюркском праязыке наряду с сонантами не могли быть в анлауте и слабые (звонкие) шумные согласные и что звучность последовательно нарастала, тогда как сила артикуляции падала, причем степень ослабления находилась в зависимости от размеров слова: в конце двусложных слов шумные согласные были более слабыми, чем в конце односложных. Подобное распределение сонантов и шумных согласных, характеризующееся как тенденция к построению слова по принципу восходящей звучности, является своего рода относительной универсалией [22].

Серьезным недостатком следует считать также отсутствие убедительного обоснования необычных фонетических переходов, оригинальной интерпретации структурных особенностей. Например, В. М. Иллич-Свитыч допускает возможность асингармоничности многосложного слова в алтайском праязыке, говорит о «расширении *y > a в первом слоге под влиянием исходного a»: алт. *n'ika- «шейный позвонок, шея, воротник», тюрк. *jaka «ворот, воротник» [5, с. 92]; алт. *lipa- «прилипать, липкий, вязкий», тюрк. *jap(a)... [5, с. 18—19]. Ср.: «Алт. y, i были дополнительно распределены по ряду следующего гласного» [4, с. 171].

Наивно было бы думать, что В. М. Иллич-Свитыч занимался исследованием конкретных языков и делал выводы, опираясь на добытые факты. Все его усилия с самого начала были сосредоточены на доказательстве ностратической гипотезы, и конкретные языки воспринимались сквозь призму предварительно сформулированных соответствий. Отсюда столь велико количество необоснованных сближений, «натянутых» толкований, произвольных реконструкций. Критикуя полвека тому назад склонность В. Котвича свести воедино неподдающиеся сведению числительные алтайских языков, В. Банг писал: «...не происходит ли эта склонность из нашей навязчивой идеи, что родство, скажем мы опять, монгольского и тюркского, должно быть доказано любой ценой?» [13, с. 103]. Пожалуй, стремление во что бы то ни стало доказать родство ностратических языков — единственное, чем можно объяснить неосторожное обращение В. М. Иллич-Свитыча с конкретным языковым материалом.

2.4. В. А. Дыбо [8, с. 408] убежден в правильности реконструкции трехчленной оппозиции начальных смычных (сильный глухой/слабый глухой/спирант, или звонкий смычный) в алтайском праязыке, предпринятой В. М. Иллич-Свитычем с опорой на ностратические соответствия [4, с. 168—169; 23; 24]:

алт.	тюрк.	монг.	тунг.-маньч.
*k'-	*k'-	*k-	*x-
*k-	*k-	*k-	*k-
*g-	*k'-	*g-	*g-
*t'-	*t'-	*t-, *č-	*t-
*t-	*t-	*d-, *ʃ-	*d-
*d-	*j-	*d-, *ʃ-	*d-
*p'-	*h-, θ-	*f-, *h-, θ-	*p-
*p-	*p-(*b-)	*f-, *h-, θ-	*p-
*b-	*b-	*b-	*b-

Поскольку воспроизводимые здесь триады соответствий начальных смычных охарактеризованы коллегами В. М. Иллич-Свитыча как исключительно важный вклад в исследование предистории тюркских, монголь-

ских и тунгусо-маньчжурских языков [11, с. 90—91], целесообразно подробнее осветить конкретные материалы, послужившие основой для их установления.

Начнем с гуттуральных и ограничимся тюркскими языками, так как именно тюркские данные, точнее, данные огузских, тувинского и тофаларского языков, явились одной из основных опор для реконструкции трехчленной оппозиции. Традиционно в тюркском праязыке реконструируется один анлаутный гуттуральный (*k-), В. М. Иллич-Свитыч реконструирует оппозицию сильного *k'- (> огуз. k-/g-, тув.-тофал. x-, k'-/k-) и слабого *k- (> огуз. g-, тув.-тофал. k-) [23, с. 339 и сл.].

Действительно, в огузских, тувинском и тофаларском языках в начале слова могут быть и сильный (глухой) и слабый (звонкий) гуттуральные. В халаджском языке [25] в собственно тюркских словах слабые (звонкие) гуттуральные отсутствуют, в гагаузском и турецком языках слабым (звонким) является заднеязычный, в азербайджанском и туркменском — заднеязычный и увулярный (с сильным глухим началом). В тувинском языке в одной группе слов выступают слабые заднеязычный и увулярный, в другой — сильный, спонантизованный (x). Примеры ⁴:

азерб.	турец.	туркм.	халадж.	тув.	
gač-	kaç-	gač-	kač-	kaš-	«бежать, убегать»
gar	kar	gār	kār	zar	«снег»
gol	kol	gol	kol	xol	«рука»
gāl-	gel-	gel-	kal-	kel-	«приходить»
kās-	kes-	kes-	kāš-	ke's-	«резать»
keč-	geç-	geč-	kāč-	ke'š-	«проходить; переходить»
gün	gün	gün	kün	xün	«день; солнце»

Для тюркского анлаута принято также реконструировать один дентальный смычный (*t-), В. М. Иллич-Свитыч реконструирует оппозицию сильного *t'- (> огуз., тув.-тофал. t-/d-) и слабого *t- (> огуз., тув.-тофал. d-).

И в этом случае анлаут разнообразен. В халаджском языке в собственно тюркских словах возможен лишь сильный (глухой) дентальный смычный, в остальных языках — и сильный (глухой) и слабый (звонкий), причем последний заметно преобладает, ср.:

азерб.	турец.	туркм.	халадж.	тув.	
daj	tay	taj	—	daj	«жеребенок по 2-му или 3-му году»
dar	dar	dār	tār	tar	«тесный, узкий»
daš	taş	dāş	tāş	daš	«камень»
dogguz	dokuz	dokuz	tokkuz	tos	«девять»
*tāp-	tep-	dep-	tāp-	te'p-	«пина́ть, ляга́ть»
tök-	dök-	dok-	tök-	to'k-	«ли́ть; сыпа́ть»
dörd	dört	dört	tüört	dört	«четыре»
tülkü	tilki	tilki	tilkü	diłgi	«лиса»

Что касается губных смычных, то в начальной позиции тюркологи восстанавливают либо звонкий (*b-), либо глухой (*p-); точка зрения В. М. Иллич-Свитыча не совсем ясна: отражением алтайского *p'- в тюркском праязыке он считает *h-, или θ-, отражениями алтайского *p- — *p- и *b-, а отражением алтайского *b- — *b-.

В огузских, тувинском и тофаларском языках в начале слова выступает преимущественно слабый (звонкий) губной смычный. Примеры:

азерб.	турец.	туркм.	халадж.	тув.	
baš	baş	baš	baš	ba'š	«голова»
bat-	bat-	bat-	bat-	ba't-	«погружаться, тонуть»
boj	boj	boj	bōd	*bot	«рост, стан»
bud	but	būt	but	but	«бедро; ляжка»
beš	beş	bāš	bieš	beš	«пять»
bir	bir	bir	bīr	bir	«один»
bit-	bit-	bit-	bit-	bū't-	«исполняться, совершаться»

⁴ В гагаузском языке начало слова — как в турецком, в тофаларском — как в тувинском.

Реконструировать двучленную оппозицию сильных (глухих) и слабых (звонких) смычных в тюркском праязыке, опираясь на изложенные факты огузских, тувинского и тофаларского языков, можно только в порядке доказательства от противного. Правомерна ли такая реконструкция на самом деле, если различия в употреблении сильных (глухих) и слабых (звонких) носят характер не только межъязыковых, но и диалектных расхождений? Ср.:

туркм. (лит.) *dart-* «тянуть, тащить», *dört* «четыре», *dokuz* «девять», *dök-* «лить; сыпать», *düş-* «падать, опускаться», *dāš* «камень», *dary* «просо», *dak-* «пришивать; прикреплять», *durna* «журавль», *dyrnak* «ноготь», *dile-* «просить; желать», *dōn* «халат», *damar* «жила», *deš-* «пробивать отверстие», *dik-* «втыкать; воздвигать», *dürt-* «толкать, вталкивать», *gork-* «бояться»;

туркм. (диал.) *tart-*, *tört*, *tokuz*, *tök-*, *tüş-*, *tāš*, *tary*, *tak-*, *tyrna*, *tyrnak*, *tile-*, *tōn*, *tamar*, *teš-*, *tik-*, *türt-*, *kork-* [26], и наоборот:

туркм. (лит.) *kiši* «человек», *kömür* «уголь», *köz* «жар, уголья», *tām* «дом», *pūdak* «ветка, ветвь», *tigir* «колесо», *tal* «ива»;

туркм. (диал.) *gišt*, *gömür*, *göz*, *dām*, *būdak* [27], *digil*, *dal* [28];

тув. (лит.) *karyš* «пядь», *kylyn* «толстый», *kodan* «заяц», *kadag* «гвоздь», *kas-* «копать», *kyzyl* «красный», *kat* «ягода», *bagana* «столб», *bür* «лось»;

тув. (диал.) *xaryš*, *xylyn* [29, с. 243], *xodan*, *xadag*, *xas-*, *xyzyl*, *xat* [30], *ragana*, *pür* [31, с. 297], и наоборот:

тув. (лит.) *xün* «день; солнце», *xugyn* «живот», *xül* «зола», *xol* «рука», *xöl* «озеро», *tōš* «грудина, грудная часть», *terek* «тополь», *ton* «пальто; халат»;

тув. (диал.) *kün*, *kygyn*, *kül*, *kol*, *köl* [29, с. 243—244], *döš*, *derek*, *don* [31, с. 297].

Совершенно очевидно, что соответствия начальных смычных в огузских, тувинском, тофаларском и, отчасти, в других тюркских языках многообразны. Но очевидно, и то, что причина многообразия соответствий — не в особенностях фонологической системы праязыка. Было бы ошибкой прямолинейно связывать реконструируемые архетипы с разновидностями фонетических соответствий: для каждой группы смычных согласных их насчитывается больше десяти. Первопричиной многообразия явилось ослабление (озвончение) анлаута, которое происходило в виде регионального процесса и поддерживалось внутренними закономерностями развития, образование же минимальных пар, различающихся по признаку силы (глухости) / слабости (звонкости) — следствие заимствования большого количества слов из не-тюркских языков и следствие семантической дифференциации диалектных вариантов, ср.: кум. *kök* «небо», *gök* «синий» [32].

Сделанный вывод может показаться излишне категоричным: истинность противопоставления сильных и слабых анлаутных согласных в тувинском языке как будто бы подтверждается материалами тюркских текстов, написанных Брахми. Однако в последних разграничены не сильные и слабые, а придыхательные и не придыхательные согласные и, что самое главное, это разграничение лишено строгости и последовательности, ср. (по указателю к *Türkische Turfan-Texte VIII*): *baś*, *bhāś* «голова», *paśla-* «вести»; *bhālkū*, *pālgū* «анак»; *beś*, *peś*, *pheś* «пять»; *bir*, *bhir*, *pīr* «одна»; *bol-*, *bhol-*, *pol-* «становиться»; *bo*, *bho*, *po* «этот». Придыхательность начальных дентальных отмечена только в двух собственно тюркских словах: *dhayān-* «опираться» и *thoy* «праздник; свадьба», которые в тувинском языке выступают без придыхания: *dayan-*, *doy*.

Из сказанного следует, что традиционная реконструкция начальных смычных в тюркском праязыке (**k*, **t*, **b*, или **k*, **t*, **p*) работами В. М. Иллич-Свитыча не поколеблена. Восстановление оппозиции сильных (глухих) и слабых (звонких) согласных лишено оснований,⁵ о восстановлении же на уровне общеалтайского состояния для тюркских языков трехчленной оппозиции не может быть и речи: она привнесена извне в

⁵ Критический анализ используемых В. М. Иллич-Свитычем фактов огузских, тувинского и тофаларского языков см. в статьях Г. Дёрфера [34, 35].

готовом виде, как одно из переосмыслений распространенной модели индоевропейской системы смычных, ср. у Р. Якобсона: $k/g/k^h$; $t/d/t^h$; $p/b/p^h$ [33].

2.5. Как указывает В. А. Дыбо, ностратические сравнения подтвердили выводы сторонников алтайской теории о существовании первичных алтайских (пратюркских) $*r'$ и $*l'$ [8, с. 409].

Напомним, что в чувашском языке наряду с общетюркскими есть такие r и l , которым в остальных тюркских языках соответствуют z и $\dot{z}$. Сходные с чувашским языком факты были обнаружены и в монгольских языках, что побудило исследователей интерпретировать их с алтаистических позиций. З. Гомбоц, впервые исследовавший ротацизм и ламбдаизм в полном объеме, сделал следующее заключение: первичны $*z$ и $*\dot{z}$; $*z$ в монгольских языках в одних условиях дал r , в других — s ; $*\dot{z}$ отразился в виде l [36]. Иной точки зрения придерживался Г. Рамстедт, реконструировавший оппозицию $*r/*r'$, $*l/*l'$ [37, 38]. Важное значение в аргументации Г. Рамстедта и присоединившегося к нему с некоторыми оговорками⁶ Н. Поппе [39, 40] придает венгерским словам чувашского происхождения. Ротацизму и ламбдаизму посвящены десятки работ, содержание которых излагалось ранее [41, 42]. Здесь нам хотелось бы сосредоточить внимание на узловых моментах проблемы.

Противопоставление согласных по признаку твердости / мягкости в тюркских языках относится к числу инноваций, так как смягчение согласных отражает влияние поздно исчезнувших j и $\dot{e}$, например: тат. (диал.) *baram* «иду» / *bar'am* (<*bajram*) «праздник» [43]; чуваш. *jurat* «люблю» / *jurat'* (<*juratě*) «годится, ладно» [44].

Исследование фонологических систем тюркских языков и опыт реконструкции пратюркского консонантизма убеждают в том, что ротацизм и ламбдаизм в чувашском языке — результат относительно позднего развития слабых (звонких) аллофонов пратюркских фонем $*s$ (z) и $*\dot{s}$ ($\dot{z}$) в своеобразных фонетических условиях, которые предстоит еще уточнить. Однако независимо от этого уже сейчас мы вправе заявить, что тезис о существовании первичных алтайских (пратюркских) $*r'$ и $*l'$ несостоятелен.

Во-первых, противопоставление велярных и палатализованных согласных для тюркских языков нетипично. Венгерские слова чувашского происхождения, как показал Л. Лигети [45], не дают информации о смягченности r и l в древнечувашском языке. Из пятнадцати заимствованных древнечувашских слов с ротацизмом и трех заимствований ламбдацирующего типа только в двух (*borjū* «теленек», *kölyök* «детеныш») наблюдается вторичная палатализация, которую Л. Лигети считает чисто венгерским фонетическим явлением: а) палатализованными стали и другие согласные; б) палатализация происходит в заимствованных словах нечувашского происхождения.

Во-вторых, ротацизм охватил ранние заимствования из индоевропейских языков, что исключает первичность r , ср.:

др.-тюрк. *öküz*, чуваш. *väkär*, венг. *ökör* «бык, вол»; тохар. *B okso*, скр. *ukṣán*- «бык» [46, с. 333; 47];

др.-тюрк. *jez*, тат. *žiz*, узб. *žez*, хак. *čes*, др.-чуваш. $*s'er$ «желтая медь, латунь», мордовск. *sere* «медь» (<? др.-чуваш.), тат. диал. *žar* в *žäsel žar* «медный купорос» [48]; тохар. *A wäs*, тохар. *B yasa*, лат. *aurum* (< $*ausum$) «золото» [46, с. 132, 563], ср. также: лат. *aes* «бронза, медь» [49, 50];

др.-тюрк. *böz* «хлопчатобумажная ткань, бязь, холст, полотно», узб. *büz* «бязь», чуваш. *pür* «холст, полотно», *püs* «миткаль» (<тат. *büz*); др.-греч. *βύσσος* «ткань» [51], ср. также: араб. *bazz* [52].

2.6. Говоря о ностратических реконструкциях В. М. Иллич-Свитыча, включающих ларингальный, В. А. Дыбо отмечает регулярность связей индоевропейского и семитохамитского ларингальных с уральскими, алтайскими и картвельскими долготами [7, с. VI].

Проблема ларингального чрезвычайно сложна. О фонетической природе его и о том, был ли он один или их было несколько, до сих пор нель-

⁶ У Н. Поппе — $*r/*r'$, $*l/*l'$ [39, с. 110].

зя сказать ничего определенного [53]. Ничего определенного нельзя сказать и об алтайских долготях, тем более что понятие «алтайский» остается в такой же мере неясным, как и понятие «ностратический». И, конечно, нелегко поверить тому, что путем сравнения одного неизвестного с другим неизвестным удастся извлечь ценную позитивную информацию.

Тюркские долготы — вполне реальная вещь, и для реконструкции в тюркском праязыке двучленной количественной оппозиции есть основания. Однако возвести тюркские так называемые первичные долгие гласные к сочетаниям гласных с ларингальным или каким-либо другим согласным, на наш взгляд, невозможно. Такие реконструкции, как **baHli* «рана, боль» (№ 1), **baHa* «привязывать» (№ 2), **belrH/u* «давать» (№ 10), **Halā* «передний край» (№ 104), плохо согласуются с древнейшим состоянием тюркских основ **pāš* (~**bāš*), **pā* (~**bā*), **pār* (~**bār*) **āl*, восстанавливаемым исходя из собственно тюркских данных. В тувинском языке и в языке сары-уйгуров эпизодически появляется фарингальный (тув. *paḥš* «голова», *aht* «лошадь», *oht* «трава»; сары-уйг. *kuḥš* «птица»), но не для обозначения исчезнувшей первичной долготы, а для передачи прерывистой артикуляции кратких гласных, которые в тувинском и тофаларском языках, в отличие от первичных долгих, подверглись фарингализации [54, с. 281 и сл.].

Как известно, многочисленные попытки объяснить первичную долготу гласных в тюркских языках выпадением согласных закончились неудачей [54, с. 283—284]. В связи с этим были предприняты поиски иных объяснений. В порядке предположения высказывается мысль, что на той стадии развития, когда господствовал моносиллабизм и большую роль играли слоговые акценты, сложилась оппозиция двух просодических типов слога: вокальновершинного и консонантовершинного. Долгие гласные развились в слогах с вершиной на вокалической части. С этой точки зрения общетюркская количественная оппозиция гласных является одним из отражений древней слоговой полипросодии.

2.7. Излишне доказывать необоснованность утверждения, что В. М. Иллич-Свитычем последовательно реконструирован восточнонотратический вокализм [8, с. 410]: тюркологу ясно, что В. М. Иллич-Свитыч воспользовался готовыми реконструкциями, в которые внес минимальные изменения. Вот что пишет В. А. Дыбо о наиболее существенном из них: «Введение досингармонической реконструкции алтайского вокализма позволило освободиться от алт. **y* (первого слога) и рассматривать соответствующие основы как разнорядные: с *-*i*- в первом слоге и с гласным заднего ряда во втором» [7, с. IX].

2.8. И сам В. М. Иллич-Свитыч, и его коллеги подчеркивают сходство морфологических элементов в ностратических языках, полагая, что общими («нотратическими») являются: «...местоименные аффиксы, именные аффиксы падежа и числа, аффиксы глагольных залогов, словообразовательные аффиксы, показатели относительных конструкций, отрицательные и запретительные частицы, усилительные, соединительные и побудительные частицы» [8, с. 411].

Сближение аффиксальных морфем разных языков без предварительного выяснения их происхождения не располагает к достаточной степени доверия: многие аффиксальные морфемы состоят из одного или двух звуков, и когда их общее число доходит до 300—400 в каждой группе языков, вероятность случайных совпадений необычайно велика. Например, в тюркских языках и в русском языке встречаются десятки материально и семантически сходных аффиксов, у которых в этимологическом плане наверняка нет ничего общего, ср.: тат. *čabar* и русск. *косарь*; тат. *išetä* и русск. *слыша*; турецк. *yolu* и русск. *дорогу*; турецк. *yere* и русск. *земле*; турецк. *kızın* и русск. *дочерин*; турецк. *yatak* «постель» и русск. *тепак*; турецк. *sürürge* «метла» и русск. *терка*; кирг. *tabylga* «находка» и русск. *точилка*, *копилка*; туркм. *berip*, туркм. диал. *beriv* и русск. *дав* и т. д.

Ограниченность фонемного состава аффиксов, с одной стороны, и относительная беспредельность их количества, с другой, делают неизбежным возникновение в значительных размерах аффиксальной омонимии, внутри-

языковой и междязыковой. Приведем один пример. В тюркских языках обнаруживается более десяти аффиксов, состоящих из согласного *л*, самого по себе или в сочетании с гласным: аффиксы родительного, дательного, винительного и творительного падежей, страдательного и возвратного залогов, лично-предикативных форм 1-го и 2-го лиц единственного числа, отглагольного имени, повелительного наклонения, множественного числа. Разные по происхождению аффиксы внешне оказываются полностью или частично совпавшими в разных тюркских языках и даже в одном и том же языке.

Надо учитывать и то, что аффиксы агглютинативных языков, за редкими исключениями, однозначны и четко отграничены друг от друга. Частичная автономность морфологических элементов] создает максимально благоприятные условия для их заимствования: примечательно, например, заимствование северными говорами таджикского языка ряда узбекских падежных и других аффиксов: *-dan*, *-ga*, *-gača*, *-ča*, *-či*, *-lik*, *-gina*, *-la*, *-rok* и т. д. [55].

3. Сделанные критические замечания не преследуют цели безоговорочно отвергнуть ностратическую гипотезу, а ностратические исследования объявить безрезультатными и бесполезными. Научная несостоятельность попытки В. М. Иллич-Свитыча создать сравнительную грамматику ностратических языков очевидна, однако, с какой бы меркой строгости ни относиться к этой попытке, нельзя не признать ее положительное значение для дальнейших разысканий в данной области: появилась возможность тщательно взвесить и всесторонне оценить ту поистине глобальную совокупность разнообразных и разнородных сходств, которая необыкновенными усилиями, богатой эрудицией и редкостным даром воображения одного человека была подана в виде определенной системы.

Исследования В. М. Иллич-Свитыча побуждают к пересмотру установившихся взглядов на историческую глубину языковых контактов. Последние десятилетия — время усилившихся поисков генетического родства. Исследовались алтайско-дравидийские [56], урало-алтайские [57, 59], индоевропейско-уральские, индоевропейско-урало-алтайские [58, 59], урало-алтайско-дравидийские [60] и другие связи. Менее интенсивно изучались заимствования [61, 62, 63], хотя наличие контактных сходств между языками, относимыми к ностратической семье, никем не отрицается. Понятно, что выделение заимствований — первый и очень важный этап сравнительного исследования, обязывающий к выявлению всех случаев языкового взаимодействия. Особый интерес представляют тюркско-индоевропейские контакты. Еще в начале нынешнего столетия они привлекли внимание Х. Педерсена [1, с. 561] и Б. Мункачи [64]. Список выделенных ими и другими тюркологами древнейших тюркских заимствований из индоевропейских языков включает слова различных тематических групп, ср.: др.-тюрк. *kylyč* «меч», *öküz* «бык, вол», *bala* «детеныш», *boz* «хлопчатобумажная ткань», *mirč* «перец», *jez* «желтая медь, латунь», *ešäk*, *ešgäk*, *ešjäk* «осел», *alma*, *almyla* «яблоко», *teri* «шкура, кожа»; тат. *syra* «пиво», *usak* (хак. *os*, шор. *apsak*) «осина», *ärem* (чуваш. *erēm uti*) «попынь», *elmä* (кум. *elme*) «вяз».

Пока отсутствуют полные сведения о ранних тюркско-индоевропейских контактах, но, по-видимому, Восточный Туркестан, где в исторически обозримое время тюрки находились вместе с тохарами [65], не был единственным местом их. Смелое предположение Э. Бенвениста о центральноазиатской прародине индоевропейцев [66], может быть, и не подтвердится, тем не менее, весь ход исторического процесса на территории Евразии, предельно насыщенного миграциями племен, свидетельствует в пользу этого предположения.

Наконец, опыт В. М. Иллич-Свитыча положителен и в том отношении, что он подводит нас к необходимости четкого и обоснованного разграничения языковых сходств. Парадоксальные ситуации, когда одни и те же слова, скажем, турецк. *kes-* «резать», *kert-* «делать зарубку», *kap-* «хватать», *gev-* «жевать», *kaz* «гусь», приводятся как изобразительные (С. В. Ворони и др.), как древние заимствования из индоевропейских языков

(Х. Педерсен, В. Грёнбек), конкретно — из тохарского (А. Рона-Таш), или как относящиеся к общему ностратическому фонду (В. М. Иллич-Свитыч и др.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Pedersen H. Türkische Lautgesetze. — ZDMG, 1903, LVII, S. 560.
2. Trombetti A. L'unità d'origine del linguaggio. Bologna, 1905.
3. Cuny A. Invitation à l'étude comparative des langues indo-européennes et des langues chamito-sémitiques. Bordeaux, 1946, p. 264.
4. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (b — k). М., 1971.
5. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (l — z). Указатели. М., 1976.
6. Doerfer G. Lautgesetz und Zufall. Betrachtungen zum Omnicomparatismus. — Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 1973, 10.
7. Дыбо В. А. Вступительная статья к книге В. М. Иллич-Свитыча «Опыт сравнения ностратических языков». М., 1971.
8. Дыбо В. А. Ностратическая гипотеза. (Итоги и проблемы). — ИАН СЛЯ, 1978, № 5.
9. Clackson G. Nostratic. — JRAS, 1973, p. 55.
10. Иванов Вяч. Вс. — Этимология 1977. М., 1979. — Рец. на кн.: Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. М., 1976.
11. Советское славяноведение, 1973, № 5.
12. Иллич-Свитыч В. М. Соответствия смычных в ностратических языках. — В кн.: Этимология 1966. М., 1968. с. 304.
13. Bang W. Turkologische Briefe aus dem Berliner Ungarischen Institut. Sechster Brief: Varia varii momenti. — UJb, 1932, XII, 1/2.
14. Porre N. Comparative dictionary of the Nostratic languages. — FUF, 1979, XLIII, 1—3.
15. Иллич-Свитыч В. М. Генезис индоевропейских рядов гуттуральных в свете данных внешнего сравнения. — В кн.: Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков: Тезисы докладов. М., 1964.
16. Козин С. А. Сокровенное сказание, Юань чао би ши, I. М. — Л., 1941.
17. Мельничук А. С. Корень *kes- и его разновидности в лексике славянских и других индоевропейских языков. — В кн.: Этимология 1966. М., 1968, с. 194—240.
18. Воронин С. В. Дескриптивные праформы в ностратическом этимологическом словаре (т. I) В. М. Иллич-Свитыча. — В кн.: Ностратические языки и ностратическое языковедение: Тезисы докладов. М., 1977, с. 69.
19. Воронин С. В. Основы фоносемантики. Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1982, с. 24.
20. Porre N. Ein vergleichendes Wörterbuch der nostratischen Sprachen. — FUF, 1972, XXXIX, 3, S. 367—368.
21. Чадамба З. Б. Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, 1974.
22. Зубкова Л. Г. Семантическая организация простого слова в языках различных типов: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1978, с. 8—9.
23. Иллич-Свитыч В. М. Алтайские гуттуральные: *k, *k, *g. — В кн.: Этимология 1964. М. — Л., 1965.
24. Иллич-Свитыч В. М. Алтайские дентальные: t, d, ð. — ВЯ, 1963, № 6.
25. Doerfer G. und Tescan S. Wörterbuch des Chaldasch. (Dialekt von Chaghab). — Bibliotheca Orientalis Hungarica, 1980, XXVI.
26. Амансарыев Ж. Туркмен диалектологиясы. Ашгабат, 1970, с. 202—203.
27. Куренов С. Особенности туркменского говора Северного Кавказа (Ставрополья): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ашхабат, 1959, с. 14.
28. Маевыев Н. Диалект арабачи туркменского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ашхабат, 1975, с. 12.
29. Сарыкай М. Х. Сведения о речи тандинских тувинцев. — Уч. зап. Тувинского НИИЯЛИ, 1973, XVI.
30. Хертек Я. Ш. Об улуг-хемском говоре тувинского языка. — Уч. зап. Тувинского НИИЯЛИ, 1968, XIII, с. 309.
31. Сарыкай М. Х. Некоторые итоги диалектологической экспедиции в Пий-Хемском районе. — Уч. зап. Тувинского НИИЯЛИ, 1968, XIII.
32. Джитриев Н. К. Грамматика кумыкского языка. М. — Л., 1940, с. 15.
33. Якобсон Р. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языковедение. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963, с. 103.
34. Doerfer G. Ein altesmanisches Lautgesetz im Kurdischen. — WZKM, 1969, 62, S. 250—263.
35. Doerfer G. Bemerkungen zu den sojonischen Anlautklusilen. — UAJb, 1973, 45, S. 254—260.
36. Gombocz Z. Zur Lautgeschichte der altaischen Sprachen. — KSz, 1912—1913, XIII, S. 1—37.
37. Ramstedt G. J. Zur Frage nach der Stellung des Tschuwassischen. — JSFOu, 1922—1923, XXXVIII, S. 26—33.
38. Ramstedt G. J. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, I. Lautlehre. — MSFOu, 1957, 104, S. 103—106.

39. *Poppe N.* Altaisch und Urtürkisch.— *UJb*, 1926, VI, 1—2, S. 107—116.
40. *Poppe N.* Altaic linguistics — an overview.— *Gengo no Kagaku. Tōkyō*, 1975, № 6, p. 145 (по статье Л. Лигети [45, p. 225]).
41. *Ligeti L.* À propos des éléments «altaïques» de la langue hongroise.— *ALH*, 1961, XI, 1—2, p. 19—27.
42. *Щербак А. М.* Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, с. 84—88.
43. *Шакирова Р. Ф.* Фонетические особенности говора татар Краснооктябрьского района Горьковской области.— В кн.: Материалы по диалектологии. Казань, 1955, с. 127—129.
44. *Езоров В. Г.* Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении. I. Чебоксары, 1954, с. 147.
45. *Ligeti L.* À propos du rhotacisme et du lambdacisme.— *CAJ*, 1980, XXIV, № 3—4.
46. *Van Windekens A. J.* Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. I. La phonétique et le vocabulaire. Louvain, 1976.
47. *Ligeti L.* Les mots solons dans un ouvrage chinois des Ts'ing.— *AOH*, 1959, IX, 3, p. 266—268.
48. Татар теленен диалектология күзлере. Казан, 1969, 6. 566.
49. *Menges K. H.* Zu einigen ural-altajisch-tocharischen Wortbeziehungen.— *Orbis*, 1965, XIV, 1, S. 134—135.
50. *Aalto P.* Ein alter Name des Kupfers.— *UJb*, 1959, XXXI.
51. *Róna-Tas A.* Böz in the Altaic world.— *Altorientalische Forschungen*. Berlin, 1975, III, p. 155—163.
52. *Scherner B.* Arabische und neupersische Lehnwörter im Tschuwaschischen. Versuch einer Chronologie ihrer Lautveränderungen. Wiesbaden, 1977, S. 67.
53. *Lindeman F. O.* Einführung in die Laryngaltheorie. Berlin, 1970.
54. *Щербак А. М.* Опыт реконструкции слоговых акцентов в тюркском протоязыке.— В кн.: Теория языка. Методы его исследования и преподавания. Л., 1981.
55. *Расторгуева В. С.* Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. М., 1965, с. 129—142.
56. *Menges K. H.* Altajisch und Dravidisch.— *Orbis*, 1964, XIII, 1, S. 66—103.
57. *Räsänen M.* Uralaltaische Forschungen.— *UJb*, 1953, XXV, 1—2, S. 19—27.
58. *Menges K. H.* Altaische Studien.— *Der Islam*, 1961, 37.
59. *Collinder B.* Hat das Uralische Verwandte? Eine sprachvergleichende Untersuchung.— *Acta Universitatis Upsaliensis. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis*, 1965, NS, 1: 4.
60. *Bouda K.* Dravidisch und Uralaltaisch.— *UJb*, 1953, XXV, 3—4, S. 161—173.
61. *Joki A. J.* Uralier und Indogermanen. Die älteren Berührungen zwischen den uralischen und indogermanischen Sprachen.— *MSFOu*, 1973, CLI.
62. *Menges K. H.* Zu einigen ural-altajisch-tocharischen Wortbeziehungen.— *Orbis*, 1965, XIV, 1.
63. *Róna-Tas A.* Tocharische Elemente in den altaischen Sprachen?— In: *Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients*, 5. Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker. Berlin, 1974, S. 499—504.
64. *Munkácsi B.* Beiträge zu den alten arischen Lehnwörtern im Türkischen.— *KSz*, 1905, VI, 2—3, S. 376—379.
65. *Winter W.* Tocharians and Turks.— In: *Aspects of Altaic civilization*. Bloomington, 1963.
66. *Бенвенист Э.* Тохарский и индоевропейский.— В кн.: Тохарские языки. Сб. статей. М., 1959, с. 108.

ПОТАЕНКО Н. А.

К ЯЗЫКОВОМУ ОСВОЕНИЮ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Время и пространство являются неординарными объектами исследования. Они привлекали и привлекают внимание философов и представителей многих других наук [1—3]. Изменение знаний об окружающем мире, пересмотр существующих концепций в той или иной мере затрагивают также наше понимание времени и пространства. Являясь наряду с пространством основной формой существования материи [4], время по-разному проявляется на разных уровнях ее организации. Это дает основание говорить о физическом, биологическом, социальном, психологическом и других временах [5, с. 223—224]. Стимулом для активизации исследований времени и пространства в ряде наук послужила разработка А. Эйнштейном теории относительности, в рамках которой выводится взаимозависимость и неразрывность времени и пространства. Эволюция, которую претерпели физические и философские представления о сущности пространства и времени в процессе обсуждения проблем теории относительности, привела к признанию реляционной концепции пространства и времени¹, подтвердив справедливость ленинского положения об относительности и изменчивости человеческих представлений о сущности пространства и времени. В то же время эта эволюция полностью подтвердила учение об их объективности [6, с. 110].

В поисках путей решения проблемы времени проводится изучение его в рамках отдельных наук с возможным последующим обобщением. Последняя задача представляет собой определенную трудность, поскольку требует определения предмета исследования в рамках отдельных наук с решением довольно широкого круга вопросов.

Результатом научной деятельности является возникновение ряда частнонаучных категорий времени, входящих в число базовых категорий той или иной науки, причем термин «время» используется для обозначения отдельных свойств времени и поэтому содержание понятия времени, которое фигурирует у экономистов [8], историков [9], литературоведов [10], геологов [11], социологов [12], не совпадает.

Существование языковых средств, связанных с выражением понятия времени, обусловлено рядом обстоятельств. Речь идет, во-первых, о закреплении в системе языка **результата** освоения человеком временной структуры действительности (гносеологический аспект), что является результатом выполнения языком своей экспрессивной функции². Другим фактором является потребность адекватной **передачи** своего понимания временной структуры действительности при помощи соответст-

¹ В современном ее виде реляционная концепция рассматривает пространство и время как свойства или атрибуты материи, как систему отношений между физическими событиями и телами. Эта система отношений не является первичной, ни от чего не зависящей. Напротив, она самостоятельного существования не имеет, а является следствием, результатом движения и взаимодействия материальных систем и событий [6, с. 110]. В рамках данной концепции пространство и время определяются следующим образом: «Пространство-время есть множество всех событий в мире, отвлеченное от всех его свойств, кроме тех, которые определяются отношением воздействия одних событий на другие» [7, с. 227].

² Термин «экспрессивная функция» употреблен в значении «познавательной, мыслительной, когнитивной функции», которая наряду с коммуникативной функцией выявляет социальную природу языка [13].

вующих языковых средств (коммуникативный аспект). Кроме того, естественный человеческий язык, будучи продуктом и одним из условий существования социальной формы движения материи, также имеет свои пространственно-временные характеристики (онтологический аспект). Отсюда выделение в лингвистических исследованиях, посвященных проблеме времени, аспектов (направлений), рассматривающих: 1) в р е м я в языке, и 2) язык во в р е м е н и [14].

Изучение языка во времени и пространстве ведется в нескольких направлениях. Ареальная лингвистика (пространственная лингвистика) включает в себя характеристики языка в его связи с пространством. Лингвистика историческая (диахроническая, синхроническая, динамическая, эволюционная) изучает язык, соотнося его состояния с разными периодами истории и историческими событиями, периодами времени. В рамках психолингвистики изучаются темпы усвоения языка в зависимости от порядка подачи языкового материала (временной фактор), закономерностей развертывания речевого сообщения во времени, степени воздействия на реципиента пространственно-временных параметров текста (размеры шрифта, его расположение, время подачи текста, скорость подачи). Все названные направления в лингвистике исследуют язык в его пространственно-временном соотношении.

Время во всех названных случаях рассматривается как внешний фактор по отношению к языку. Так, например, сравнивается одно состояние языка с другим его состоянием, когда между ними лежит определенный промежуток в р е м е н и, описывается изменение определенного участка языка за некоторый промежуток в р е м е н и, исследуется относительная хронология лингвистического феномена.

Язык располагает организованной системой морфологических, лексических и синтаксических средств выражения понятия времени и временных отношений. Эти языковые средства разнородны по своему составу. Последнее проявляется как в содержательном, так и в функциональном плане. В содержательном плане в разных языках выделяются единицы разных уровней, имеющих собственно временное значение: на морфологическом уровне таковыми являются специализированные временные морфемы; на лексическом уровне — слова с временным значением; на уровне предложения — синтаксические конструкции. В функциональном плане в разных языках наблюдается специализация языковых единиц в плане с п о с о б о в передачи временного содержания, проявляющаяся в наличии категории времени у глаголов, причастий, деепричастий, у предикативов (например, во вьетнамском языке). Входя в разные лексико-грамматические разряды, слова с временным значением несут соответственно разную функциональную нагрузку в составе высказывания. На уровне предложения наблюдается взаимодействие лексических и грамматических средств, когда языковые единицы теряют свою самостоятельность, образуя новую единицу со свойственным ей временным значением (ср., например, случаи так называемой временной транспозиции: употребление временных форм глагола в несвойственной им функции).

Для выражения отдельных, наиболее часто выражаемых типизированных отношений предшествования, следования, одновременности, законченности, длительности во времени в языках выработаны видо-временные грамматические категории. Отметим, что структура их отличается от языка к языку, например, двучленная оппозиция: прошедшее и не прошедшее время в китайском и японском языках³, настоящее/прошедшее и будущее в вивхском языке [15, с. 91], трехчленная структура, включающая настоящее, прошедшее и будущее в русском и некоторых других славянских языках; система прошедших, предпрошедших, настоящих, будущих и предбудущих времен в романских и германских языках.

При определении значения формы времени глагола исходят из двух моментов: из «физического» и «грамматического». Принципиальное разли-

³ Некоторые исследователи не выделяют в китайском языке и этих категорий [17, с. 267].

чие между физическим и грамматическим подходами к определению значения форм настоящего времени глагола заключается в том, что в первом случае значением формы настоящего времени считается соотношенность некоторого события с моментом речи, а во втором случае — отнесенность некоторого события к некоторой длительности, к которой относится и момент речи. При «физическом» подходе форма настоящего времени глагола не наделяется длительностью, она указывает только на соотношенность некоторого события с моментом речи, а при «грамматическом» подходе форма глагола настоящего времени наделяется длительностью, к которой относится и момент речи [16, с. 68].

Развитие подобного взгляда применительно к объяснению глагольно-го времени приводит к следующей трактовке соотношения форм языка и времени: «Грамматическими темпоральными значениями и форм времени глагола являются не отрезки реального течения времени с моментом речи как точкой, соединяющей прошедшие и будущие отрезки времени, а структура времени, расчлененного на длительности, из которых одна характеризуется тем, что к ней относится момент речи, а другие — предшествованием этой длительности» [16, с. 68; разрядка наша. — П. Н.]. В этой концепции момент речи представляет собой не точку, соединяющую прошедшее и будущее, а точку, которая выделяет одну длительность таким образом, что другая рассматривается как предшествующая ей, а третья — как следующая за ней. Однако данная проблема еще ждет своего решения, поскольку нет единого взгляда на соотношение рассматриваемой формы и представляемого ею времени.

Помимо категории времени глагола выделяется также категория времени предложения, «членами которой являются разные структуры предложения, допускающие в своем составе разное количество темпоральных форм глагола» [16, с. 69]. Выделение категории времени предложения основывается на фактах несовпадения времени глагола, употребленного в предложении, с временем, выраженным в предложении, например, употребление исторического настоящего, где глагол настоящего времени обозначает действие, относящееся к прошлому. Многочисленны также случаи употребления настоящего времени глаголов для обозначения будущего действия. При введении категории времени предложения сохраняется трактовка «грамматического» подхода к определению значения формы времени.

Временное значение выводится также на основе «синтаксической структуры предложений и форм косвенных наклонений и инфинитива в сочетании с другими элементами контекста» [18, с. 11]. Совокупность этих средств, а также системы временных форм глагола и лексических показателей времени образуют функционально-семантическую категорию темпоральности. Причем указывается, что семантическое содержание категории темпоральности аналогично значению морфологической категории времени в интересующем нас случае [18, с. 8—9].

В рамках этой теории системе форм времени предписывается передача структуры временных отношений действительности при помощи личных форм глагола, причем отмечается, что лексические средства выражения темпоральности «в целом не являются специальными выразителями абстрактных темпоральных отношений» [18, с. 20—21].

При рассмотрении грамматической временной формы ряд авторов предписывает ей в выражении отношений во времени момента речи и какого-либо действия. Однако временные отношения действительности не сводятся только к соотносению множества действий с моментом речи или с другими действиями во времени. Грамматических временных форм и синтаксических средств оказывается явно недостаточно для выражения многообразных видов временных отношений действительности, таких как: кратковременность — долговременность, непрерывность — прерывность во времени, последовательность — непоследовательность во времени, единицы измерения времени и др. Эту функцию выполняют лексические единицы и словосочетания.

В данном случае речь идет о существовании в каждом языке обширного массива слов, в значении которых временной компонент играет ключевую роль и без которого слово теряет свой смысл. Временной компонент в смысловой структуре слов занимает различное положение, демонстрируя сложную гамму временных признаков объектов действительности, временных отношений, в которых они находятся. Значение слов указывает на самые разные способы временной маркированности объектов и явлений объективной действительности, которые в той или иной степени несут на себе «печать» времени. Наглядное представление об этом дают дефиниции толковых словарей, которые являются как бы рентгеновским снимком, выявляющим временную характеристику определенного фрагмента объективной действительности, обозначаемого словом, как она отражена в значении слова.

Анализ словарных дефиниций выявляет многоформенность, крайне сложное структурное, качественное и количественное многообразие временной картины мира, представленной содержательной стороной языковых единиц. Так, наряду со словами, имеющими временное значение⁴ в его «чистом» виде, например, *минута, день, год, время, будущий, вчера, потом, долго, сейчас* и др.⁵, в языке существует куда большая группа слов, значение которых может быть истолковано лишь со ссылкой на время, например, *медленный* «совершающийся, происходящий в длительный промежуток в р е м е н и»; *расписание* «таблица, в которой содержится указание на в р е м я, место, последовательность совершения чего-либо»; *завтрак* «еда у т р о м, до обеда», *журнал* «п о в р е м е н н о е издание политического, научного или литературного характера»; *поколение* «совокупность людей близкого возраста, живущих в одно в р е м я»; *часы* «прибор для измерения в р е м е н и», *хроника* «запись исторических событий в их в р е м е н н о й последовательности»⁶.

Исследования детской речи и детской психологии дают возможность установить некоторые закономерности в формировании понятия времени у отдельного индивидуума.

Отмечается, что предпосылкой для формирования понятия времени является чувство длительности, появляющееся у детей при регуляции действий. «Это усилия различного рода: усилие продолжения, усилие начинания, усилие окончания, которые начинают свое существование с тех пор, как живое существо что-то делает. Первые чувства длительности появляются именно в этот момент» [24, с. 181].

Появление речи знаменует собой начальный этап формирования понятия времени. Характерным признаком этого этапа является план н а с т о я щ е г о, когда вначале у ребенка отмечаются высказывания констатирующего типа без выделения частей речи. На начальном этапе ребенок оперирует понятиями тех предметов, которые находятся в поле его зрения. Глаголы в форме того или иного времени первоначально совсем не встречаются [25, с. 112—113]. По определению швейцарского ученого Ж. Пиаже, «временной порядок (для детей) — это порядок пространственных изменений или, если хотите, порядок чередования „состояний“, являющихся результатом этих изменений, идет ли речь о внешних движениях в физическом пространстве или же о внутренних движениях, т. е. об умственных операциях над пространством» [26, с. 279].

Данное положение подтверждается фактами развития детской речи. Так, «в первую очередь усваиваются категории с отчетливо выраженным конкретным значением.... раньше всех других категорий усваивается число существительных (около 1 года 10 месяцев), уменьшительные — неуменьшительные существительные. Повелительность» [25, с. 181]. Ха-

⁴ Под временным или темпоральным значением имеется в виду такое значение, содержанием которого является социально обусловленное отражение временных характеристик действительности. Подробнее об этом см. [19].

⁵ В первых четырех тысячах наиболее употребительных слов разных языков, судя по соответствующим словарям, слов с временным значением насчитывается около 150 [20—22].

⁶ Примеры взяты из [23].

рактерным для этого периода является также усвоение наречий с пространственным значением [25, с. 168—169]. Общим условием для данного периода является высказывание по поводу событий, непосредственно предшествующих или одновременных с актом речи.

Овладение языковыми средствами, позволяющими ориентироваться во временной структуре действительности, имеет ряд особенностей. Одной из них является роль временного плана самого акта речи (одновременность или непосредственное следование акта речи за явлениями, о которых идет речь), которая заключается в том, что на протяжении данного периода именно время речевого акта является маркером временного плана сообщения. В данном случае происходит регулярное включение экстралингвистического элемента (время речевого акта) в самую структуру высказывания. Это тем более интересно, что именно с него начинается процесс языкового структурирования временного континуума.

Непосредственное различение плана настоящего, прошедшего и будущего (по отношению к моменту речи) происходит на следующем этапе. Однако появлению дифференцированной системы глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени предшествует промежуточный переходный период, когда ребенок употребляет одну форму глагола, никак не изменяя ее при этом, для обозначения двух, а позже для трех времен [27, с. 12]. Данный факт может быть истолкован следующим образом: вначале происходит дифференциация плана содержания с опорой на одну и ту же форму выражения, а на следующем этапе происходит дифференциация уже самой формы выражения.

Употребление одной и той же формы глагола для обозначения настоящих и прошедших событий у двухлетних детей отмечает И. М. Геодакян [28, с. 187]. Она же ссылается на ряд авторов, отметивших подобное явление у детей, говорящих на разных языках [28, с. 187].

Порядок усвоения времен ребенком, а также роль, которую играют в этом процессе лексические и грамматические средства, описаны в той или иной мере у разных авторов. В большинстве работ прослеживается следующий порядок усвоения времен: настоящее — прошедшее — будущее [30, с. 204].

Представляет интерес вопрос о соотношении грамматических и лексических средств выражения понятия времени на начальном этапе овладения языком ребенком. И. М. Геодакян отмечает появление у ребенка, наряду с формой настоящего времени, некоторых глаголов формы прошедшего времени этих глаголов в возрасте 1 г. 4 мес. 10 дн., а с 1 г. 7 мес. до 3-х лет — появление других временных форм [28, с. 186—187]. Она зафиксировала также более позднее (по сравнению с грамматическими элементами прошедшего времени) появление лексических средств, а именно, наречий *сейчас* (1, 8, 18) *уже* (1, 9, 27), *потом* (1, 11, 24), *когда* (1, 11, 4), *все время* (1, 11, 4), *долго* (2, 2, 21), *сначала* (2, 5, 5), *всегда* (2, 9, 8)⁷.

А. Грегуар отмечает появление прошедшего времени глаголов у детей, говорящих на французском языке, в период 2 г. 15 дн., 2 г. 3 мес. 24 дн. и далее [29, с. 129]. В тот же период появляются временные наречия: *сейчас* (2, 3, 18), *поздно* (2, 3, 6), *всегда* (2, 1, 18), *завтра* (2, 2, 5) [29, с. 114—116, 427—433].

А. Н. Гвоздев для детей, говорящих на русском языке, отмечает появление отдельных времен в возрасте 1 г. 10 мес. (настоящее и прошедшее) и через месяц — форм будущего времени [25, с. 113]. Наречия времени появляются в следующем порядке: *сейчас* (1, 11, 13), *скоро* (1, 11, 24), *мысль* (2, 0, 3), *вчера* (2, 0, 14), *сначала* (2, 1, 3), *тогда* (2, 2, 28), *когда* (2, 2, 28), *теперь* (2, 3, 22) [25, с. 168—169].

На основании имеющихся наблюдений представляется затруднительным выделить первичность появления грамматических или лексических средств выражения понятия времени в речи ребенка. Имеющиеся данные свидетельствуют скорее всего в пользу одновременного появления грамматических и лексических средств и об их взаимодействии.

⁷ В скобках после слов первая цифра обозначает год, вторая — месяц, третья — день.

Интересный материал дает изучение наречий, употребляемых ребенком. Употребление ребенком обстоятельств свидетельствуют о его понимании отношений, в которых находятся явления окружающего его мира. Усваивая наречия (преимущественно они на первых порах являются обстоятельствами в предложении), ребенок делает следующий шаг в направлении от лексики, обозначающей объекты, к лексике, обозначающей отношения. В первую очередь ребенок овладевает пространством, о чем свидетельствует усвоение им категории числа существительных, уменьшительных — неуменьшительных существительных, падежей. Наречия места появляются в среднем на два месяца раньше, чем наречия времени [25, с. 168—169; 29, с. 374—375, 380; 30, с. 13].

Процесс структурирования временного континуума не исчерпывается делением времени, которое ориентировано на момент речи. Далее начинается процесс овладения средствами: 1) обозначающими относительные временные отношения, не ориентированные на момент речи (во французском языке, например, это система предпрошедших и предбудущих времен) и 2) овладение лексикой, значение которой указывает на определенную временную структуру действительности, выявляет временные параметры явлений действительности.

В то время как временные формы глаголов имеют ограниченные возможности, направленные: 1) на локализацию сообщения в определенном временном плане и 2) на координацию временных планов сообщения, темпоральная лексика разных разрядов имеет гораздо более широкие возможности.

Наблюдаемые франкоязычные дети употребляют первоначально слова с временным значением только в составе обстоятельственных временных групп. Темпоральные единицы в зарегистрированных случаях уточняют время действия (*pendant les vacances* «во время каникул», *dans la nuit* «ночью», и др.), указывают на его временные параметры (*toujours* «всегда»), на временной план действия (*bientôt* «скоро», *autrefois* «когда-то», *hier* «вчера»), на одновременность, предшествование и следование (*quand* «когда», *avant* «до», *puis* «затем»). Основное ядро темпоральной лексики рассматриваемого периода составляют наречия.

На данном этапе, который приходится на конец третьего года жизни ребенка, уже обнаруживается начало формирования системы темпоральной лексики, ориентированной на момент речи:

<i>autrefois</i>	—	<i>hier</i>	—	<i>maintenant</i>	—	<i>demain</i>	—	<i>bientôt</i>
<i>alors</i>				<i>aujourd'hui</i>				
				<i>toujours</i>				

Следующий (дошкольный) этап (5—8 лет) отмечен преимущественным усвоением лексики, связанной с названиями частей суток, единиц измерения времени, единиц календаря, времени празднования тех или иных событий. Усвоение именно этой группы слов может свидетельствовать о важности средств близкой временной ориентации в повседневной жизни.

Усваивая названную лексику, ребенок делает шаг, с одной стороны, к упорядочению своей деятельности в рамках определенной временной системы, а с другой стороны, выделяет временные параметры разнообразных процессов, пользуясь единицами измерения времени. Временные промежутки, которыми ребенок овладевает в этот период, носят качественную окраску. Так, названия месяцев тесно связаны с определенными сезонами, выделяемыми по качественным состояниям природы, а названия частей суток — с положением солнца на небосводе. Дни праздников также отмечены различными неординарными событиями.

Дальнейшее развитие понятия времени (школьный возраст) характеризуется появлением ряда абстрактных терминов общего характера, позволяющих иерархизировать уже знакомую темпоральную лексику, подвести ее разные подгруппы под родовые понятия, а те, в свою очередь, под общее понятие времени и длительности.

В обиходной лексике время представлено как линейное, являющееся средой, фоном, на котором разворачиваются все события. Вместе с тем каж-

дое событие имеет свой отсчет на оси общего времени, а также свою длительность.

Специальные исследования и данные толковых словарей выявляют еще один аспект в отношении человека ко времени. Речь идет о существовании ряда слов, свидетельствующих о наличии абстрактных временных систем, например, *григорианский календарь* (и другие календари), *время* (философская категория), *время* (грамматическая категория), *художественное время* и др. Последняя группа слов представляет уже не понятия времени, а понятия о п о н я т и я х времени. Таким образом, возникает новое поколение понятий, свидетельствующих о систематизации и структурировании определенным образом отраженного времени.

Современные языки выявляют, как уже отмечалось выше, разнообразие способов выражения понятия времени и временных отношений действительности. Исследования, посвященные процессу становления категории времени в отдельных языках, свидетельствуют об определенных закономерностях в развитии средств времяобозначения. Следует выделить несколько путей в истории формирования языковых средств, связанных с выражением понятия времени. В плане грамматических средств выражения понятия времени различные языковые группы располагают дифференцированной системой морфем и синтаксических конструкций, способных придавать разным языковым единицам временное значение одновременности, предшествования, следования. В и.-е. языках для выражения временных значений преимущественно используется глагол и отглагольные образования (причастие и деепричастие), регулярные формы которых лежат в основе выделения морфологической категории времени. Отметим, что не во всех языках категория времени находит выражение через глагольные и отглагольные формы. Во вьетнамском языке такую функцию могут выполнять предикативы, в китайском языке не наблюдается регулярных грамматических форм для выражения временных отношений. Временной план передается при помощи слов, имеющих временное значение, при помощи контекста, а в устной речи — ситуативно.

В эскимосских и самодийских языках временные показатели присоединяются к любой части речи, но только употребленной в функции сказуемого [31, с. 50, 69].

Как известно, праиндоевропейский язык выражал не столько временные, сколько видовые характеристики действия: длительность, начало или конец, предельность, неопределенность, результативность, повторяемость. Указывают также на прасемитский язык, который не имел средств для различения времени глагола, но передавал различные значения предположительности, возвратности, усиления, причинности. «История индоевропейских языков нам показывает, что понятие времени более недавнее, чем понятие вида, и что первое заменило второе» [32, с. 109].

По мнению Б. П. Ардентова, становление глагольных временных форм в индоевропейских языках вырисовывается — в самых общих чертах, конечно, — в таком следовании. Глагол в древнейшую эпоху существования и.-е. языков категории времени не имел; глагольные формы обозначали действие в н е в р е м е н н о е, т. е. такое, которое мыслилось наличествующим и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Соотнесение действия с тем или иным временным планом определялось самой речевой ситуацией.

На базе результативного вида выкристаллизовалось прошедшее время: результат действия вырисовывался наиболее четко в том случае, когда оно уже с о в е р ш и л о с ь, т. е. уже было в прошлом, предшествовало моменту речи. Формы глагола, обозначающие такое действие, и осознались как формы прошедшего времени. По отношению к ним другие глагольные формы стали осознаваться как формы н а с т о я щ е г о времени, т. е. обозначающими действие, совершающееся одновременно с моментом речи. Формы будущего времени — самые поздние по своему становлению. Это подтверждает тот факт, что в хеттском языке, самом архаичном из всех и.-е. языков, глагол не имел форм будущего времени [33, с. 43—44].

Исследования, проводимые на материале разных языковых групп, подтверждают в некоторых частях данную схему поэтапного становления категории времени. Вместе с тем ряд факторов в развитии отдельных языков свидетельствует о чрезвычайной упрощенности данной схемы. Ср., например, видо-временную систему древних германских языков (IV в. н. э.), характеризовавшуюся противопоставлением двух временных форм: презенса и претерита [34, с. 5]. К XIII в. во всех германских языках завершаются основные этапы парадигматизации перфекта; в пределах XIII—XVI вв. в большинстве германских языков протекали процессы, связанные с развитием футурума; в XVI—XVIII вв. в английском языке произошла парадигматизация длительного вида [34, с. 28].

Таким образом исходная временная оппозиция готского языка — презенс — претерит — усложняется с появлением перфекта. В отличие от категории времени, где значения форм глаголов дифференцируются в зависимости от отношения действия к моменту речи (на первом этапе это предшествование или одновременность с моментом речи), критерием дифференциации форм перфекта служит предшествование или непредшествование с и т у а т и в н о м у м о м е н т у [34, с. 120]. Основным источником общегерманского перфекта считается синтаксическая конструкция *haben* + *V_{pp}* [34, с. 30], а также *sein* / *werden* + *V_{pp}* [34, с. 49—50].

Что касается Футурума, то «во всех германских языках, за очень немногими исключениями, центр образующихся футуральных микросистем составляют сочетания с модальными глаголами долженствования (ср.-англ. *shal*, ср.-в.-н. *sol*, ср.-нид. *sal*, др.-исл., др.-шв. *skal*) и отчасти волеизъявления (ср.-англ. *wol*, *wul*, ср.-в.-н. *wil*, др.-дат., др.-шв. *wil*). Эти словосочетания в целом перенимают футуральные функции оптатива, но употребляются в этом качестве более широко — как в независимом, так и в придаточном предложении» [34, с. 106].

История формирования временных форм русского языка свидетельствует о том, что в древнерусском языке существовали только сложные формы будущего времени [33, с. 48]. Отнесение действия в план будущего осуществлялось при помощи глаголов *имати*, *хотѣти*, *начати*, *стати*, за которыми следовали инфинитив, существительное, прилагательное или причастие. Значение данных глаголов ясно указывает на способ представления будущего действия. Второй способ связан с употреблением глагола *быти*, *буду*, который восходит к общеиндоевропейскому корню *bhū* «расти», что осмысливалось как «становление».

Во французском языке глаголы *avoir* «иметь», *être* «быть», *aller* «идти», *venir* «приходить» входят в состав сложных временных форм. Формы будущего простого *futur simple* образуются путем присоединения личных форм глагола *avoir* к инфинитиву смыслового глагола. Глаголы *aller* «идти» и *venir* «приходить» служат для образования форм *futur immédiat* («ближкое будущее»), *passé immédiat* («недавнопрошедшее») и др. В диалектах наблюдается образование будущего времени с участием глагола *vouloir* «хотеть».

Подобные закономерности можно наблюдать в ряде других языков. Несомненным является тот факт, что образование новых форм времени происходит при непосредственном участии глаголов *быть*, *иметь*, *идти*, *хотеть*, *долженствовать* в сочетании с инфинитивами и причастиями глаголов. Что касается и с х о д н ы х временных форм, которые послужили основой для дальнейшего развития видо-временной системы отдельных языков, то их становление следует рассматривать, с одной стороны, как результат специализации глаголов определенной семантики, а с другой стороны, как результат употребления в сочетании с лексикой, имеющей временное значение.

В современных грамматиках разных языков отмечаются многочисленные случаи транспозиции временных форм глаголов, когда последние употребляются в несвойственной им функции (случаи несовпадения времени предложения и категориального значения глагола), а передача временного плана предложения осуществляется при помощи лексических средств.

Собственно временное значение слово получает, пройдя ряд этапов. Например, русск. *лет* в значении единицы измерения, употребляемое в сочетаниях *пять лет, шесть лет* и т. д., развивалось следующим образом: на начальном этапе слово обозначало «тепло», затем «теплый сезон», «лето» (= сезон с его характерными признаками как промежуток времени), далее *лето* стало обозначать точку во времени (= единица измерения), «год как промежуток времени», «год как точку во времени», «время» (= *год* во мн. числе) [35, с. 83].

А. Шестак приводит ряд примеров из латинского и французского языков, свидетельствующих о процессе образования темпоральной лексики на основе понятий движения и пространства, например, *momentum* «момент» от *movere* «приводить в движение», *rescens* «только что» от *rescere* «удаляться», *futurus* «будущий» от и.-е. *bhū-*«расти» [36, с. 139].

Развитие знаний о природе, о времени, появление механизмов измерения времени, контакты между народами — все это приводит к появлению новой темпоральной лексики. Так, реконструкция праславянской системы временных обозначений выявляет четыре семантических подгруппы: 1) времен года (*zima, vesna, jarъ, lěto, jesenъ*); 2) частей суток (*jutro, dнь, večerъ, noktъ*); 3) неопределенных отрезков времени (*doba, vreme*); 4) разных по продолжительности промежутков времени (*časъ, godъ (godina), mesecъ* [37, с. 5].

Современные языки располагают уже гораздо более обширной номенклатурой временной лексики, превышающей тысячу единиц [38, 39]. Так, развитие астрономии и потребность в упорядочении экономической и общественной сферы жизни привели к созданию ряда календарей, что послужило причиной появления в языках разных народов группы слов-названий единиц календаря. В одних случаях это было полное заимствование, когда вместе с системой единиц календаря происходило заимствование и их названий, например, названия месяцев в русском, французском, английском, немецком и ряде других языков заимствованы из латинского. В ряде стран Африки таким же образом были заимствованы названия мусульманского календаря [40].

Ряд народов предпочел заимствованию свои собственные названия, и единицы новой системы календаря получили названия по характерным признакам того или иного месяца, например, январь в чешском языке — *leden*, март в украинском — *березень*, май — *травень* и др.

В истории формирования лексики с временным значением следует выделить несколько путей в плане формирования временного содержания слов. Первый из них представляет собой отражение процесса познания временной формы существования явлений действительности и формирования понятий времени на основе понятий движения, атмосферных явлений, человеческой деятельности. Второй путь представляет собой операции с уже имеющимися единицами времени (день, год) и образование на их основе временных систем: календарей (с их иерархизированной системой единиц), механизмов измерения времени (с их единицами измерения), что потребовало создания особой темпоральной лексики, выражающей появившуюся систему новых понятий.

Следующий путь связан со спецификой языкового общения и языкового мышления. Он предполагает реализацию внутренних языковых ресурсов при образовании новой лексики. Перенесение названий явлений действительности на отрезок времени, в течение которого они протекают, является одним из распространенных способов образования темпоральных значений слов в современных языках. Ср., например, русск. *сенокос* как событие и *в сенокос* как время сенокосения, франц. *rentrée* «возобновление занятий в школе осенью» и «время, когда осенью возобновляются школьные занятия» и многие другие. Подобное же явление наблюдается в истории формирования большого массива лексики в разных языках, например, лат. *tempus* «погода», «время», русск. *время* (от общиндоевропейского корня *cert-* «вращать, вертеть»), русск. *день* (от праиндоевропейского корня *di-* «светить») [33, с. 16, 83].

У римлян названия месяцам нового календаря давались исходя из

разных оснований: по именам государственных деятелей (июнь — по имени Юния Брута, июль — по имени Юлия Цезаря, август — по имени Августа), по именам богов, покровителей данного периода времени (январь — по имени Януса, март — по имени Марса, май — по имени богини Майя), по их месту в системе календаря (сентябрь — седьмой, октябрь — восьмой и т. д.)⁹.

При создании республиканского календаря во Франции месяцы получили названия по атмосферным явлениям, характерным для данного сезона (*brumaire* от франц. *brume* «туман», *frimaire* от франц. *frimas* «изморозь», *thermidor* от греч. *thermon* «жара»), по состоянию природы (*germinal* от лат. *germen* «росток», *floreale* от лат. *floreus* «цветочный»), по деятельности, характерной для данного периода времени (*messidor* от греч. *messis* «жатва» и греч. *dōron* «дар»).

Название 1/60 часа в латинском получает название *minuta* от *minutus* «маленький», а *secunda* — от *secundus* «следующий» (*divisio*) *secunda* «следующее деление»). Из латинского данные слова вошли во многие другие языки, что сопровождалось их демотивацией. Отдельные единицы служат базой для новых образований, например, от русск. *год* образованы устойчивые сочетания: *сидерический* (звездный) *год*, *тропический год*, *аномалистический год*, *драконический год*, *календарный*, *учебный год*, *лунный год*. Подобные же процессы можно наблюдать и в других языках.

При образовании темпоральной лексики происходят процессы, характерные для той или иной языковой системы. Так, в ряде случаев наблюдается процесс демотивации лексики с временным значением. Будучи мотивированными в латинском языке, названия месяцев становятся немотивированными в языках, которые заимствовали эти названия. Процесс эллипсиса, начавшийся еще у римлян, употреблявших как полное название (например, *Januarius mensis*), так и усеченное (*Januarius*), получил завершение в других языках, где была заимствована только первая часть названия месяца.

❖ Процесс демотивации наблюдается при формировании названий дней недели. Во французском языке произошел процесс сращения, при котором латинские сочетания *lunae dies* «день Луны», *martis dies* «день Марса» и другие дали ряд синтетических существительных: *lundi*, *mardi* и др.

❖ Со временем названия года получают цифровое обозначение, а в некоторых языках — и дни недели, и месяцы. В русском языке такие названия дней недели, как *вторник* (второй после воскресенья), *среда* (середина недели), *четверг* (четвертый), *пятница* (пятый), свидетельствуют об их дифференциации по порядковому признаку.

Следует отметить определенную избирательность языка при заимствовании временной лексики. Как правило, заимствуется одна единица, а в последующем на ее базе формируется группа однокоренных слов по словообразовательным моделям данного языка, например, франц. *actuel*, которое произошло от лат. *actualis* «действительный, деятельный», послужило основой для слов: *actualité*, *actuellement*, *actualiser*, *actualisation*.

Процесс образования временной лексики продолжается по продуктивным моделям на базе латинских предлогов: *ante-* «перед», *post-* «после», *prae-* «перед», *ex-* «после», *retro-* «назад», на базе препозитивных слов греческого языка: *neo-* от *neos* «новый», *tachy-* и *tacheo-* от *takheos* «быстрый», *geront(o)* от *gerōn*, *gerontos* «старик».

ЛИТЕРАТУРА

1. The study of time. Proceedings of the First Conference of the International Society for the study of time. Berlin — Heidelberg — New York, 1972.
2. The study of time. II. Proceedings of the Second Conference of the International Society for the study of time. Berlin — Heidelberg — New York, 1975.

⁹ Сентябрь был седьмым по счету в календаре древних римлян.

3. Молчанов Ю. Б. Труды «Международного общества по изучению времени». — ВФ, 1977, № 5.
4. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20.
5. Мостепаненко А. М. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени. Л., 1969.
6. Молчанов Ю. Б., Турсунов А. Проблемы пространства и времени в свете философских идей В. И. Ленина. — Коммунист, 1974, № 6.
7. Александров А. Д. Пространство и время в современной физике в свете философских идей Ленина. — В кн.: Ленин и современное естествознание. М., 1969.
8. Пятрушев В. Д. Время как экономическая категория. М., 1966.
9. Гуревич А. Я. Время как проблема истории культуры. — ВФ, 1969, № 3.
10. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. — В кн.: Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
11. Космин Ю. А., Салин Ю. С., Соловьев В. А. Философские проблемы геологического времени. — ВФ, 1974, № 2.
12. Яковлев В. П. Социальное время. Ростов-на-Дону, 1980.
13. Панфилов В. З. О некоторых аспектах социальной природы языка. — ВЯ, 1982, № 6.
14. Маковский М. М. Понятие лингвистического времени. — ИЯШ, 1976, № 6.
15. Панфилов В. З. Грамматика нивхского языка. ч. 2. М. — Л., 1965.
16. Ломтев Т. П. Предложение и его грамматические категории. М., 1972.
17. Коротков Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского языка. М., 1968.
18. Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.
19. Потаенко Н. А. Словарные дефиниции как средство выявления принципов организации лексики (на материале слов со значением «время» во французском языке). — ВЯ, 1980, № 5.
20. Словарь наиболее употребительных слов английского, немецкого и французского языков. Под общ. ред. Рахманова И. В. М., 1960.
21. Частотный словарь русского языка. Под ред. Засориной Л. Н. М., 1977.
22. Gougenheim G. Dictionnaire fondamental de la langue française. Paris, 1961.
23. Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М. — Л., 1950—1965.
24. Janet P. L'évolution de la mémoire et de la notion du temps. — V. 1—3. Paris, 1928.
25. Гвоздев А. Н. Формирование у ребенка грамматического строя русского языка. М., 1949.
26. Piaget J. Le développement de la notion de temps chez l'enfant. Paris, 1946.
27. Leopold W. F. Patterning in children's language learning. — In: Language learning. V. 5, N 1—2. Ann Arbor, 1953—1954.
28. Geachian J. M. Expression of the category of time in the speech of a young child. — In: Soviet studies in language and language behaviour. Amsterdam, 1976.
29. Grégoire A. L'apprentissage du langage (la troisième année et les années suivantes). Vol. 2. Gembloux, 1947.
30. Rostand F. Grammaire et affectivité. Paris, 1951.
31. Мещанинов И. И. Глагол. М., 1982.
32. Вандриес Ж. Язык. М., 1937.
33. Ардентов Б. П. Выражение времени в русском языке. Кипяев, 1975.
34. Смирницкая О. А. Эволюция видо-временной системы в германских языках. — В кн.: Историко-типологическая морфология германских языков: категория глагола. М., 1977.
35. Jacobsson G. Le nom de temps *lěto* dans les langues slaves. — In: Études de philologie slave publiées par l'Institut russe de l'Université de Stockholm, 1947, N 1.
36. Sestak A. Pojem času v jazyce francouzském. Brno, 1936.
37. Ивашина Н. В. Семантическая микросистема обозначений времени в праславянском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Минск, 1977.
38. Морковкин В. В. Идеографическое описание лексики. Анализ слов со значением времени в русском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1973.
39. Потаенко Н. А. Категория времени и ее выражение в лексико-семантической системе языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1981.
40. L'expression du temps dans quelques langues de l'Ouest africain. — Cahiers ORSTOM. Série sciences humaines. Paris, 1972.

ЛАПТЕВА О. А.

О ЯЗЫКОВЫХ ОСНОВАНИЯХ ВЫДЕЛЕНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

1. С момента становления функциональной стилистики как науки о разновидностях литературного языка в конце 20-х годов вопрос о составе современного русского литературного языка разрабатывался как в плане теории, так и практически. Шло одновременное накопление новых фактов, характеризующих отдельные разновидности литературного языка, и их осмысление с точки зрения того, как они организованы в составе литературного языка. Несмотря на наличие большого количества впрочем весьма разнохарактерных по своим идеям исследований, спорных вопросов не становится меньше, начиная с главного из них — о числе и номенклатуре функциональных стилей. Активное собирание материала по новым для русистики, до недавнего времени не бывшим предметом наблюдения и специального исследования, но составляющим основу речевого общения областям устного функционирования литературного языка создало почву для обоснования в одном из последних трудов наиболее адекватной с точки зрения состава литературного языка теории о трех типах литературной речи — художественном, специальном и устно-разговорном [1]. Тем не менее расхождений не стало меньше, поскольку сам состав «специальных» стилей остается не до конца уточненным. Так, автор концепции о трех типах литературной речи включает в их число наряду с публицистическим еще и газетно-информационный, другие авторы увеличивают количество стилей до числа, превышающего пять¹, а Е. Ф. Петрищева справедливо указывает на большую близость делового и научного стиля [3].

Эти и другие имеющиеся расхождения, которые нет нужды подробно характеризовать, т. к. существует целый ряд специальных обзоров литературы о функциональных стилях, в том числе и зарубежных (назовем здесь обзоры Е. Ф. Петрищевой, М. Н. Кожинной, А. Н. Васильевой, А. Едлички, И. Мистрика, Кв. Кожевниковой), думается, обязаны своим возникновением тому обстоятельству, что у различных авторов нет единых оснований при выделении функциональных стилей. Не всегда основания одного плана выделяются и одним и тем же автором при характеристике разных стилей. Это побудило некоторых исследователей высказать мнение о некотором кризисе теории функциональных стилей и самого понятия «функциональный стиль»².

В самом деле, в основе выделения функциональных стилей в современной функциональной стилистике лежат прежде всего экстралингвистические категории. В первую очередь сюда относятся целеустановочные функции, выполняемые определенной разновидностью литературного языка при ее речевом употреблении, и ее тематико-ситуационные характеристики. Развитие теории функциональных стилей шло в первую очередь по линии конкретизации экстралингвистических факторов. Они детализируются, выводятся за рамки главных определяющих, и, например, А. Н. Василь-

¹ Из старых работ см., например, малоизвестную [2]. Из новых ср. работы А. К. Панфилова.

² См. [4; 5, с. 20, 21, 37; 6]. В устной беседе ту же мысль высказал проф. Вл. Барнет. Об этом же говорят заглавия последних работ по этому вопросу, где термину «функциональный стиль» предпочитают «функциональный тип» или «функциональная разновидность». Ср. также [22].

ева насчитывает их уже 14 [«речедетальностьная макросфера, ведущие типы деятельности в этой сфере, ведущие типы мышления в этой сфере, ведущие актуальные коммуникативные задачи, типовой статус адресанта, типовой статус адресата, ведущие типы контактности, степень содержательной и формальной подготовленности речи, ведущая форма проявления языка (я не уверена, что это экстралингвистический фактор. — Л. О.), ведущие формы организации общения, ведущий тип атмосферности общения, удельный вес и характер стандартизованных ситуаций (содержаний), ведущие жанры речевых произведений и типы речевых тактик, потребности, возможности, характер использования невербальных компонентов общения] [7], причем этот перечень, конечно, остается открытым и не все его компоненты одинаково существенны для выбора типа речи. Исследовательское внимание обходит то обстоятельство, что разные экстралингвистические факторы не в одинаковой мере сопутствуют разным функциональным разновидностям языка: например, при выделении и градуировании устно-разговорных разновидностей приобретают особое значение ситуационные параметры, для книжно-письменных разновидностей они менее актуальны. Факторы функционального и тематического планов определяют основные механизмы пользования языком, имеющие двуединую, но противоположную направленность: это механизмы выбора и автоматизма при употреблении языкового средства.

Гораздо меньше в теории функционального расслоения литературного языка повезло тому, ради чего и возникла эта теория, — самим языковым средствам. Это, на наш взгляд, произошло потому, что экстралингвистические факторы признаются безусловно определяющими состав употребляемых в данной разновидности языковых средств и при этом их роль в данном процессе никак не градуируется. А между тем собственно языковые характеристики, вопрос о которых в силу общей теоретической неразработанности способов их системных соотношений в функциональных разновидностях сейчас приобретает особую остроту, в целом зависят от совокупного действия экстралингвистических факторов в их определенной соотношенности в каждом отдельном случае, но могут и проявлять известную самостоятельность и независимость, а действие самих факторов при этом ослабляется до пределов возможного минимума (ср., например, нейтральное общение общелитературными средствами). Это обстоятельство почему-то остается вне внимания лингвистов.

С другой стороны, одни и те же экстралингвистические факторы могут быть с равным успехом соотношены с разными функциональными разновидностями (так, ставшие уже всем привычными такие качества научной речи, как точность, последовательность, логичность, краткость, насыщенность информацией, в равной мере характеризуют и деловую речь), и, наоборот, изменение такого фактора может не повести к изменению функциональной разновидности (так обстоит дело в разговорной речи, где фактор темы может варьироваться практически без ограничений). Все было бы просто, если бы между факторами и языковыми особенностями наблюдались отношения одно-однозначного соответствия, но их нет. И это прекрасно показано в книге Д. Н. Шмелева.

Среди собственно языковых особенностей функциональных разновидностей исследователи вслед за акад. В. В. Виноградовым единодушно называют в первую очередь отбор (или набор) и организацию языковых средств (а Д. Н. Шмелев говорит о том, что организация превалирует над набором; см. [1, с. 81—82]), а также их системность (иногда звучит мнение, согласно которому стиль представляет собою замкнутую систему). Это, конечно, так, и установление этих истин — большое достижение нашей науки, но тут остаются по крайней мере два вопроса. Отбор может производиться из какого-то общего для всех стилей запаса, а набор — это уже что-то свое, в которое, однако, могут входить и общие для всех стилей элементы. Таким образом, отбор и набор не исключают друг друга. Кроме того, замкнутость системы — понятие само по себе для языка не достаточно ясное, но даже если его и принять, то придется признать, что степень закрытости/открытости системы у разных стилей может быть

различной. Таким образом, все эти характеристики нуждаются в дальнейшей разработке.

Они нуждаются в разработке и в другом плане, связанном с установлением внутренней иерархии в пределах самих функциональных разновидностей. Не до конца остается выясненным вопрос о соотношении так называемых языковых и речевых стилей. Существуют и более мелкие единицы — речевые жанры. Основания для их выделения нуждаются в прояснении. Видимо, исходя из общих принципов иерархии единиц, можно было бы предположить, что в более крупных единицах — языковых стилях — сильнее моменты, определяющие возникновение и функционирование определенных наборов средств и в связи с этим сильнее системность. В более же мелких единицах должны актуализироваться моменты организационно-композиционного характера и соответственно ослабевать системность. Однако в нашей теории эти вопросы рассматриваются иначе, и ведущего принципа установления системы взаимоупорядоченных единиц найти не удается. Так, например, М. Н. Кожина говорит (в полном соответствии с только что высказанной мыслью) о преимущественно лингвистическом характере речевых стилей в отличие от языковых, однако о системности высказывается прямо противоположно: «системность, по-видимому, реально существует именно в стилях речи» [8]. Что касается жанров (ср., например, жанр делового и дружеского письма и письма на интеллектуализированную тему, а также письма бытового), то они находятся в отношениях не только иерархической подчиненности к речевому стилю (эпистолярный стиль), но и отношениях перекрещивания с языковыми стилями (отчасти это можно сказать и про речевой стиль); соответственно осуществляется и выбор языковых средств из имеющегося арсенала, и их компоновка.

Механизм выбора языкового средства и его автоматизированного употребления также осуществляются неодинаково в разных функциональных разновидностях. Чем жестче внутривидовая норма, тем сильнее автоматизм в употреблении языкового средства. Чем выше эстетические задачи речи, тем большее значение имеет выбор. Автоматизм почти безраздельно господствует в специальном типе литературной речи, если пользоваться терминологией Д. Н. Шмелева (т. е. в научной, технической и деловой речи), выбор — в речи художественной. В разговорной сочетается то и другое. Предстоит определить характер этого сочетания. Положение осложняется и существованием гибридных, промежуточных областей литературного языка, в которых совмещаются характеристики основных функциональных разновидностей.

Конечно, установление процессов действия экстралингвистических факторов весьма важно для понимания структуры и состава современного русского литературного языка. Однако адекватность теории языковой действительности, как представляется, никогда не станет полной без разработки первоочередного в этом отношении вопроса о соотносительности языковых средств в функциональных разновидностях литературного языка и их типологии.

II. Попытка установить такую соотносительность была сделана нами в статье [5]. Там была высказана мысль об участии общелитературных языковых средств в функциональной дифференциации литературного языка посредством разного коэффициента допуска их в разные его функциональные разновидности. Д. Н. Шмелев, показав принципиальное отсутствие закрепленности большинства языковых средств за той или иной функциональной разновидностью, установил существование трех групп языковых единиц: не характерных для стиля, но не нарушающих его норм; свойственных данному стилю в отличие от других; различающихся по стилям своей экспрессивно-стилистической значимостью [1, с. 97]. Третья группа выделена по иному основанию — с точки зрения собственно стилистических свойств языкового средства, а первые две полностью отвечают постулированному акад. В. В. Виноградовым взаимодействию книжно-письменных и устно-разговорных языковых средств как основе для наиболее существенной дифференциации литературного языка. Он писал о «глубоком различии между речью разговорной и речью письменной» [9].

Таким образом, постулируется наибольшее значение для функциональной дифференциации современного русского литературного языка двух диаметрально противоположных по своим признакам родов языковых средств — книжно-письменных и устно-разговорных. Это бинарная соотношенность, но чаще они как средства маркированные соотносятся не непосредственно между собой, но через посредство общелитературных элементов, свойственных всем функциональным разновидностям. Ведущая роль двух основных групп маркированных средств проявляется не только в противопоставленности книжно-письменной и устно-разговорной сфер литературного языка, но и в том, что и внутри самой книжно-письменной сферы, по интересным данным А. П. Сквородникова, наблюдается ведущее противопоставление объединения научной и деловой речи (специальный тип, по Д. Н. Шмелеву) речи художественной, научно-популярной и публицистической, которое создается за счет степени использования разговорных элементов (от 0 до n) [10].

В идеале можно представить себе описательную грамматику современного русского литературного языка, состоящую из представления соотношения и взаимодействия названных разрядов языковых средств [11]. В этом случае функциональная стилистика и описательная грамматика сольются, а новый тип описания будет иметь функциональную направленность и отразит функционирование языка в речи. Теоретическое и практическое значение такого описания не надо специально обосновывать [12]. Следует заметить, что в настоящее время развитие грамматической мысли идет в сторону усиления функционального аспекта исследования, и, например, разработка семантического синтаксиса уже имеет широкий выход в практику преподавания русского языка как иностранного. Изучение реального речевого функционирования языковых средств и их соотношения даст возможность классифицировать языковые стили, которые являются недискретным объектом с условными границами, по достаточно надежному основанию.

Распределенность разрядов языковых средств по функциональным разновидностям зависит от взаимодействия стихий книжности и разговорности. Неполная их представленность, различная распределенность как со стороны номенклатуры, так и со стороны их функций и языковых значений создает различия в их системной организации в пределах этих разновидностей. При этом в каждой разновидности может быть принципиально выделено два рода системности в зависимости от учета места в системе (или неучета его) общелитературных средств. Под системной организацией функциональной разновидности можно понимать организацию только ее специфических языковых элементов (как это делается, например, в [13—16]), а можно и всех употребляемых в ней элементов вместе с общелитературными (примером может служить описание системы способов разговорного словорасположения в атрибутивном словосочетании с согласованным определением [17], в которую можно включать три члена — контактную постпозицию одиночного согласованного определения, его дистантную постпозицию и дистантную препозицию, а можно включить еще и четвертый член — общелитературную контактную препозицию).

Наконец, следует учитывать еще и то, что в каждой функциональной разновидности может быть выделен актив и пассив языковых средств. Пассив составляют неспецифические для данной разновидности средства, а актив — специфические. Специфические ограничения в узусе в данной функциональной разновидности не подвергаются. Неспецифические с точки зрения возможного допущения в нее делятся на две части. Одни из них в ней вовсе не употребляются. Другие в реальном избирательном употреблении подвержены ограничениям со стороны их форм и значений и могут наряду со специфическими составлять актив. Именно этот разряд средств наиболее важен для функциональной дифференциации «гибридных» сфер литературного языка. Границы между ним и специфическими средствами неабсолютны. Например, ограничения, налагаемые на систему употребления глагольных времен в научной речи (общелитературные средства, неспецифические для данной разновидности), могут быть столь последо-

вательны и однозначны (в тексте типа «описание» употребляется настоящее время, в типе «повествование» — прошедшее, а будущее не употребляется совсем; подобным образом обстоит дело и с категорией лица и т. п.), что превращают эти средства в специфическую примету функциональной разновидности (т. е. в актив).

Итак, общелитературное языковое средство — понятие не только реальное (а в его реальности нельзя усомниться из-за единства литературного языка, создаваемого за счет общелитературных средств), но и виртуальное (виртуальность создается за счет разного коэффициента допуска общелитературного средства в функциональные разновидности и за счет его функционального преобразования в них) и потому диалектическое. Общелитературное языковое средство имеет принципиальный допуск во все функциональные сферы, но практически входит в них с ограничениями.

III. Проиллюстрируем изложенные положения на материале новых для нашей русистики фактов устной спонтанной монологической речи публичного назначения и общественно значимой ориентации (далее УПР). Проследим за представленностью в ней общелитературных, книжно-письменных и разговорных средств и одновременно сделаем наблюдения над ее функциональной природой в качестве разновидности современного русского литературного языка на основании изложенных соображений. Особый интерес этот тип литературной речи представляет для исследования и интерпретации в силу своего гибридного характера: в нем пересекаются в известном соотношении особенности спонтанной устной и книжно-письменной речи. Такое пересечение ведет к складыванию свойственного лишь этому типу способа соотносительности разрядов языковых средств, которым определяется системность его организации. Представляется возможным выделить актив составляющих его средств и проследить, какую роль играют в нем общелитературные средства и каков характер налагаемых на них в узусе ограничений. Можно отметить и разный характер проявления экстралингвистических факторов.

Особенности УПР были обследованы, изучены и описаны коллективом советских и чешских русистов, работавших в 1975—1982 гг. при Институте русского языка им. Пушкина под руководством автора настоящей статьи. При этом вводилось тематическое ограничение материала — изучалась естественная звучащая речь разных жанров на темы науки (далее УНР)³.

В области фонетики особенно сильно действие устной формы осуществления речи. Общелитературный способ членения речевого потока на интонационно-смысловые единицы — синтагмы — уступает здесь место собственно фонетическому членению на так называемые сегменты [18—19], которые находятся в определенных отношениях со смысловым членением текста. Обращенность к адресату требует донесения опорных смысловых элементов текста с помощью комплекса произносительных средств (акцентно-мелодического выделения слова, паузации, темпа речи). Материалы УНР, согласно исследованию Т. П. Скориковой, широко демонстрируют случаи несовпадения членения спонтанной речи с правилом нормативного синтагматического членения, которое основано на единстве интонационных, синтаксических, семантических факторов вычленения минимального речевого отрезка. Интонационному объединению слов в одной синтагме содействуют структура предложения, порядок слов, степень распространенности члена предложения, наличие перечисления, синтаксическая сочетаемость слов, сила синтаксических связей между словами. Членение обычно проходит в местах разрыва или ослабления линейно-грамматических связей слов. Для спонтанной речи, напротив, характерна асимметричность отношения строевого (семантико-синтаксического) и интонационного планов высказывания: члены одного синтаг-

³ Готовится к печати монография «Современная русская устная научная речь» в 4-х томах [т. I — Общие свойства и фонетические особенности; т. II — Синтаксические особенности; т. III — Текстовые, лексико-грамматические и словообразовательные особенности; т. IV — Тексты (хрестоматия)].

матического целого могут выступать в виде самостоятельных звуковых сегментов и, напротив, один звуковой сегмент способен объединять самостоятельные смысловые целые.

При изучении типов произношения в УНР (исследование В. В. Борисенко) обнаружилось, что здесь представлена система соотношений не двух — полного и неполного, или нейтрального и убыстренного — типов произношения, а трех — убыстренного, свойственного разговорной речи, нейтрального (общелитературного) и замедленного, маркированного и, по Щербе, нагруженного особым заданием сделать речь «особо отчетливой». Противопоставленными типами, соотнесенными не только по материальному воплощению, но и по функциям, являются убыстренный и замедленный типы. Убыстренный тип проявляется в особом способе реализации фонем и их противопоставлениях и наблюдается в любом жанре и у любого говорящего прежде всего в частотной лексике типа *значит, ну, вот, так сказать, следовательно, вещь, в общем, сейчас, может быть, скажем, все-таки, собственно, действительно, конечно* и под. Мы встречаемся с ним в повторах, в малоинформативных сегментах, в инклюзиях, поправках, вставках, дополнениях, элементах с избыточной грамматической информацией (в результате чего возникают фонетические омофоны и в окончаниях слов). Замедленный тип также проявляется в свойственном только ему способе реализации фонем и наблюдается как ударение на служебных словах, в виде добавления редуцированного к предлогу, как отсутствие ассимиляции на стыке предлога и слова, как добавочное ударение внутри слова, в отсутствии редукции безударных слогов, установке на зияние гласных, долготе удвоенных согласных, растяжке ударного гласного и слова, вставке гласного в группу согласных с сонорным. Функции замедленного и убыстренного типов четко взаимно соотнесены: выделение противопоставляется снятию информативности, ознакомление со словом — сигналу о его предшествующей названности, привлечение внимания к наиболее информативной части — нейтрализации части информации, передача сильной позиции во фразе — слабой позиции и некот. др. Таким образом, общелитературные и разговорные произносительные особенности претерпевают в УНР ряд превращений и совместно со специфическим для УНР замедленным типом вступают в достаточно определенные системные отношения.

В УНР наблюдаются свойственные только этому типу речи способы и функции акцентного выделения (исследование Т. М. Николаевой). Их можно рассматривать как факты замкнутой системы, существующей внутри себя, — так удобнее выявить общую схему формально-смысловых отношений, передаваемых акцентами. Экстралингвистическими факторами, воздействующими на складывание этой схемы, являются функции адресации речи и речевого воздействия. Модель функциональных подчеркиваний в УНР основывается на выделенности служебных и незначащих слов, на формировании опорных точек текста и на квалификативной функции. Для УНР характерно наличие класса постоянно акцентируемых слов. Как и разговорная речь, УНР вообще отличается обилием акцентно выделенных слов. Вопреки ожиданиям, служебные слова получают здесь возможность выделения наряду с полнозначными. Таким образом, рассматриваемое явление обнаруживает признаки системности, отчетливо отличающие его от соответствующего явления в репродуцируемой речи. Наряду с общелитературными средствами акцентного выделения (например, нахождение опорных точек информативного характера) здесь есть и специфические (например, выделение служебных слов).

Понятно, что для области фонетики нахождение в УНР книжно-письменных элементов неактуально, поскольку книжно-письменная речь не предназначена для озвучивания, а если озвучивается, то общелитературными средствами. Для лексики же и особенно для синтаксиса одинаково актуально сравнение с аналогичными явлениями в разговорной и книжно-письменной речи.

Так, для л е к с и к и сравнение с книжно-письменным пластом, видимо, следует начать с терминологии, необходимого и неотъемлемого компонента

письменной научной речи (далее ПНР). Как показывает К. Хлупачова, устная форма не ведет к заметному снижению специальной терминологии и номенклатурной лексики (ср.: *оборачиваемость средств, тренировочные упражнения, корреляционный анализ, болезнестойчивость растений, парк машин, перевооружение предприятий*, а также однословные термины и, с другой стороны, несколькословные вроде *карты обеспеченности нормативно-техническими документами производства, уровень обеспеченности стандартами технологии производства электрических машин малой мощности*), что отвечает потребности научной речи в максимальном насыщении высказывания информацией, однако при построении текста часто используется такой способ, как анафорическое именование и местоименное замещение наименования. Другая часть книжно-письменной лексики в принципе, как и в любой научный текст, может входить в текст УНР без особых ограничений. Это происходит благодаря действию требований выполнения этим типом речи научно-информативной функции. И все же в УНР отмечаются особенности в использовании этой группы лексики по сравнению с ПНР. Так, наиболее распространенные в ней двух- и более словные номинации с существительным — опорным словом короче, чем в ПНР, и количественно представлены меньше. Цепочка генитивов чаще всего ограничена числом 3 (в текстах ПНР она доходит до 7 членов). Отработанные в письменном тексте союзные средства связи предложений в УНР представлены с большими ограничениями, здесь в большей степени используются общелитературные средства.

Выполнение функций адресации и воздействия обуславливают широкое привлечение в УНР стилистически сниженной, разговорной, оценочной лексики. Можно с уверенностью говорить о значительно большей лексической гомогенности текстов ПНР сравнительно с УНР. Разговорная лексика здесь может быть или не быть стилистически маркированной. Мы полностью разделяем мысль и наблюдение Д. Н. Шмелева относительно того, что реальная функциональная дифференциация русской лексики не соответствует разнообразным и пестрым словарным пометам и что слова с пометой «книжное» свойственны и художественной, и разговорной речи, а слова с пометой «разг.» зачастую оказываются общелитературными [1, с. 85, 88, 89 и др.]. И все же для удобства анализа мы выделяем здесь разговорную лексику по одному признаку — как такую, которая никогда не может быть допущена в письменный научный текст (в отличие от общелитературной, которая может). В УНР используются живые метафоры-олицетворения, метафоры-характеризации (исследование К. Хлупачовой) (ср.: *может так случиться // что у некоторого языка / который в общем-то переводный / вдруг и вь с к о ч и т своя собственная / национальная / грамматика /; тексты художественной словесности / как мы уже много раз тут говорили / тексты такие ф а р ш и р о в а н ы е / Где всякий пишет что загощет в общем говоря /; под эту категорию / под нее сейчас / под эту общую к р ы ш к у / подводят три разных понятия*). Здесь много фразеологизмов, экспрессивно-разговорной лексики (*быстренько, переборщить, очень здорово, обсасывать и сосать*). Н. М. Разинкина показывает, что экспрессивно-эмоциональные качества УНР в отличие от ПНР высоки, и это необходимо для выполнения функций общения и воздействия. Круг соответствующей лексики составляют общелитературные прилагательные и наречия оценочного характера, а также некоторые существительные, прономинализированное разговорное употребление слов *вещи и штука*.

Что касается общелитературной лексики, то она, как и в письменном научном, в устном научном тексте составляет большинство слов. Особенность УНР состоит в том, что на базе общелитературной лексики здесь возникают свойственные лишь УНР частотные формулы-стереотипы для обслуживания определенных интенций адресанта речи по отношению к адресату (исследование Т. Д. Соколовской). Вместо письменного научного как *указывалось* для отсылки к прошлому изложению употребляется *о котором я вам уже говорил; я вам уже говорил, что; вы знаете, что; вспомните, мы с вами уже говорили; как вы уже знаете*. При отсылке к будущему

изложению на месте письменного *см. §, подробнее об этом см. ниже* складываются формулы *подробнее об этом я вам расскажу позже, подробнее мы с вами об этом поговорим позже* и под. При указании на последовательность изложения на месте письменного *рассмотрим, во-первых, во-вторых, итак, таким образом* возникает *благодарю за внимание, на этом разрешите закончить, теперь я перехожу, теперь я вам расскажу, сейчас мы с вами перейдем, на сегодня все* и под. Употребляются и формы повелительного наклонения (общелитературные, но ПНР не свойственные). Общелитературные способы выражения авторского «я» в тексте УНР, по наблюдениям Ю. Г. Ясницкого, сводятся к местоименно-глагольным способам выражения оценки и мнения, личной деятельности автора речи. Отмечается неодинаковая распределенность средств выражения авторского «я» в ПНР и УНР: в письменной речи преобладают неличные конструкции, в устной — местоименно-глагольные формы 1-го л. ед. ч. Таков избирательный характер в употреблении общелитературных лексических средств и налагаемых на них в УНР ограничений.

Исследование Д. Брчаковой показывает, что в тексте УНР широко используются общелитературные средства связи пар предложений. Специфические черты УНР представляют собою ту или иную комбинацию отобранных общелитературных средств. К. Хлупачова показала, что в качестве средств связи в УНР используются, например, семантические повторы (*очень часто / почти всегда; удивительной / феноменальной / памяти; сознательно / намеренно; главным образом / преимущественно* и под.), синонимизирующие средства, средства выражения контраста. Все эти и подобные средства строятся на базе общелитературных элементов, обнаруживающих избирательную узуюальную закрепленность за УНР. Подобным же образом организуются средства выражения модуса в диалоге (исследование Л. Рейманковой), которые беднее, чем в обработанном письменном диалоге (художественном), но узуюально закреплены. То же можно сказать и о других средствах.

Названные и подобные лексические элементы книжно-письменного, разговорного и общелитературного характера частотно отработаны в УНР и образуют определенную систему, находясь в отношениях взаимодействия, взаимосоотнесенности и взаимообусловленности. Все они находятся в активе УНР (а те элементы, которые находятся за пределами системы и которые в ней обычно узуюально не представлены, могут считаться пассивом). Поэтому мы не можем, как это делают некоторые исследователи, говорить об «иностилевых вкраплениях» в УНР. Думается, что критерий их отграничения от системно организованных и узуюально закрепленных в функциональной разновидности языковых средств только тогда будет найден, когда будет доказан их внесистемный характер. Пока же такой критерий не назван.

В области *синтаксиса* наблюдаются принципиально те же отношения разрядов средств, что и в области лексики.

Если обратиться к представленности в УНР таких центральных для синтаксической системы *общелитературных* явлений, как структурно-семантические типы простых предложений, структурные типы сложносочиненных предложений, структурные типы сложноподчиненных предложений, а также глагольный или глагольно-именной способы выражения грамматического предиката, то окажется, что все они характеризуются своими особенностями, связанными с ограничениями в представленности самих типов сравнительно с их употреблением в ПНР, а также с излюбленностью некоторых из типов.

Согласно исследованию А. Ю. Константиновой, структурно-семантические типы простого предложения в УНР (тексты из самых различных дисциплин) делятся на макрополе динамики, включающее поля движения и действия, и макрополе статики, включающее поля квалификации, наличия, отношения и модальности (поля делятся в свою очередь на микрополя); при этом в количественном отношении преобладает макрополе статики. В поле действия преобладают структуры, в которых действие представлено как направленное на объект. Для них характерно актуальное упот-

ребление глагольного времени, в то время как в ПНР в соответствующих структурах преобладает вневременное значение этой категории. В УНР не отмечено случаев употребления настоящего абстрактного, изобразительного и исторического, настоящего в значении будущего, переносного употребления формы прошедшего и будущего, что широко представлено в общелитературной системе времен. Модальная парадигма в отличие от общелитературной также представлена не в полном своем объеме. Кроме индикатива, наблюдаются лишь формы повелительного наклонения, причем только одного типа: 2-е л. мн. ч. спрягаемого глагола. Весма слабо (1%) представлена вопросительность и отрицательность. Поле движения малочисленно, а с точки зрения формальной выраженности характеризуется использованием только форм 3-го л. в индикативе и актуальным употреблением времен. Поле квалификации очень продуктивно, причем в УНР сравнительно с ПНР представлены иные виды квалификаций: нет предложений конструктивной характеристики (даже значения «иметь частью», «состоять из частей», «входить в состав» не получают заметного представительства), полностью отсутствуют предложения квалификации предмета со стороны его исполнения в материале, подверженности различным влияниям, зато очень заметны предложения оценочной квалификации, а также квалификации явлений со стороны их сущностных характеристик. Предложения количественной характеристики предстают с семантикой, в которой количественный признак выступает не сам по себе, а как компонент характеристики по сущности. Самое многочисленное микрополе — свойства, преобладают глагольные модели с семантикой не действия, а признака. Употребляются только формы индикатива настоящего времени. В отличие от ПНР в УНР представлено поле посессивного наличия. В каждом из микрополей имеются свои преобладающие типы формального выражения. При изучении поля отношения обращает на себя внимание отсутствие простых предложений сравнения и то обстоятельство, что предложения этого поля могут нести на себе печать личностного отношения (квалифицирующего или классифицирующего).

Среди сложносочиненных предложений открытой структуры (исследование М. Ю. Федосюка) преобладают соединительные с замыкающими союзами *и* или *а*. Многие из них в ПНР не были бы возможны, ср.: *От главного ботанического сада // Академии наук СССР / в работе этого конгресса / приняло участие / тридцать три человека / и было сделано двадцать докладов //*; *Ну скажем / вот у вас / четыре / восьмеричных разряда / и вам нужно выделить вот этот разряд //*; *Значит / от нуля до двухсот / одна страница / от двухсот / до четырехсот / вторая страница / от четырехсот / до шестисот / третья страница / от шестисот до / восьмисот / до семисот семьдесят семь / четвертая страница / а пятая страница / уже тысяча да //*. Меньше разделительных предложений взаимoisключения. Среди предложений закрытой структуры преобладают сочинительно-распространительные с союзом *и*, многочисленны результативные предложения. С союзом *а* больше всего сопоставительных и сопоставительно-распространительных предложений. С союзом *но* преобладают противительно-ограничительные предложения. Употребляются противительно-уступительные предложения. Для УНР характерны некоторые разновидности сложносочиненных предложений с двумя показателями связи между частями — союзом и полусоюзным словом, которые ослабляют смысловую роль союзов, в результате чего возникают варианты с разными союзами (*и в то же время, а в то же время, но в то же время*). От письменной речи УНР отличает широкое включение в схемы сложносочиненного предложения при его реализации частицы *вот*, которая имеет определенную функциональную нагрузку. Другое отличие состоит в тенденций к повтору одного и того же слова в обеих частях сложносочиненного предложения: *Поэтому // любые физические / характеристики / сигнала / о н и дают сведения об этих механизмах / но о н и не могут дать сведения о том / что механизм / был запущен / искусственно //*. При сравнении схем сложносочиненного пред-

ложения в УНР и в УРР (устной разговорной речи) оказалось, что частота использования структурных схем в обеих разновидностях подчиняется одной и той же статистической закономерности. В ПНР рассматриваемых конструкций меньше, они там употребляются реже. Единой статистической закономерности в их употреблении в УНР и ПНР не наблюдается.

Проверялось воздействие и других факторов на частоту употребления. Оказалось, что во всех проявлениях устной монологической речи она одинакова, т. е. не зависит от ее публичности / непубличности, интеллектуализированности / неинтеллектуализированности, тематических, жанровых и индивидуально-авторских особенностей.

В УНР наблюдается стремление к сокращению синтаксической глубины предложений за счет использования сложносочиненных предложений, синонимичных предложениям с придаточными и дееспричастными оборотами в ПНР. Вторая особенность — установка на повышение избыточности текста за счет эксплицитного выражения смысловых связей между отдельными предикативными единицами, а также введения разъясняющих, конкретизирующих, просто повторяющих уже высказанную информацию частей сложносочиненного предложения. На фоне общей статистической однородности в употреблении разными устными научными текстами структурных схем сложносочиненного предложения наблюдается отсутствие такой однородности в использовании конкретных структурных схем, что зависит от передаваемого содержания и индивидуальных особенностей говорящего. Многие общелитературные и письменно-литературные схемы для УНР не характерны (с союзами *в то время как, если... то, однако, с союзом-частицей же и др.*).

Изучение структурных схем сложноподчиненных предложений в УНР, проведенное Г. Г. Инфатовой, показало, что наиболее широко в УНР представлены предложения с определительными присубstantивными и изъяснительными (приглагольными) придаточными. Исследован репертуар вводящих лексических средств. Для изъяснительных предложений их немного. Наиболее частотные глаголы: *сказать, говорить, рассказать, знать, думать, показать, подчеркнуть, считать, видеть*, остальные единичны. Наиболее частотные субstantивные обороты: *дело (в том), вопрос (в том), представление (о том)*. Действие тенденций к экономии и избыточности языковых средств, роднящих УНР с УРР, проявляется в складывании особых типов синтаксических структур на базе включения значения невербализованных компонентов в содержание вербализованных и стяжения последних, а с другой стороны — в повторении, дублировании членов предложения, например, повторение в главном и придаточном местоименного подлежащего, что не свойственно письменной речи: *Они должны появляться потом / после того как о н и попали в систему / и начали работать*. Такое употребление общелитературной нормы не нарушает, зато ее нарушает очень характерное для устной речи дублирование подлежащего главного предложения после придаточного: *Проблемы // которые стоят перед созданием // этой системы // о н и разные а т и п р о б л е м ы //*. Характерно употребление частицы *вот*.

Сравнение с ПНР и УРР показало, что употребление сложноподчиненных предложений подчинено закономерностям стиля, а не формы речи: по частоте использования этих предложений интеллектуализированная разговорная речь ближе к научной, чем бытовая разговорная. В УНР сложноподчиненные предложения употребляются несколько чаще, чем в ПНР. Атрибутивно-описательных предложений в ПНР оказалось гораздо больше, чем в УНР. Сопоставление использования контактной рамки сложноподчиненного предложения показало, что самая высокая средняя частота (38) наблюдается в ПНР, самая низкая — в РР (19), а в УНР употребление соотносительных слов единой статистической закономерности не подчиняется. В целом сложноподчиненных предложений в УНР не меньше, а больше, чем в ПНР. Видимо, сложность синтаксиса ПНР сравнительно с УНР связана прежде всего со структурой простого предложения при

большом количестве однородных членов, вводных и вставочных конструкций, обособлений, причастных и деепричастных оборотов.

Исследование предикативных конструкций в УНР (С. Г. Костина) показало, что если в ПНР преобладают глагольно-именные устойчивые сочетания типа *вступить в реакцию, прийти во внимание, сделать отступление* и т. д., то в УНР глагольные составляют 15% от общего количества исследованных предикативных конструкций, а глагольно-именные типа *пройти практику, подвести итоги, дать оценку, сделать вычисления* всего 5%. В ПР глагольно-именных конструкций почти нет. Таким образом, в УНР ограничено употребление собственно книжной структуры за счет ее общелитературного эквивалента, который имеет здесь свои особенности в виде определенных наиболее частотных способов лексического наполнения. Тот и другой вариант образует соотносительные пары, выстраивающиеся в соотносительные синонимические ряды с полным и неполным набором членов.

Среди книжно-письменных явлений, употребление которых интересно проследить в УНР, в первую очередь обращают на себя внимание такие наиболее характерные для ПНР конструкции, как причастные и деепричастные обороты, а также предложно-падежные сочетания. Все они имеют общелитературные соответствия — в виде разных типов придаточных.

Соотносительность союзной и предложной связи в придаточных предложениях и предложно-падежных сочетаниях при наличии одной функции — детерминанта — создает семантико-синтаксическую соотносительность между этими конструкциями. В ПНР (исследование Н. С. Власовой) широко распространены предложно-падежные сочетания — детерминанты условные (*в случае, при*), условно-временные (*при*), причинные (*вследствие, в силу, в связи, в результате, ввиду, благодаря, из-за, при*), целевые (*для, с целью, в целях*), уступительные (*несмотря на*), временные (*во время, при, после, перед*), соответствия (*по мере, с*), сравнительные (*подобно*). Это — языковое выражение таких качеств научной речи, как абстрактность, экономичность, и потому при выборе из вариативного ряда предпочитают именно эти конструкции. И все же существуют определенные семантико-структурные условия, диктующие выбор придаточного предложения. В целом употребление предложно-падежных конструкций в ПНР превышает употребление придаточных на 10%. В УНР эти конструкции употребляются тогда, когда это требуется жанром и темой, но в целом обобщенно-отвлеченное выражение действия в них не соответствует требованиям устного высказывания (ясности и простоты изложения). При их употреблении они имеют более простой состав и не осложнены пространными цепочками родительных. Из всех предлогов в УНР отдается решительное предпочтение конструкциям с *при* в основном со значением недифференцированных условно-временных отношений, а также качественного изменения состояния и с некоторыми другими значениями, поскольку они грамматически и семантически четко не дифференцированы. Набор стержневых компонентов очень ограничен — это отглагольные существительные с общим значением познания чего-либо (*при изучении, при анализе, при исследовании, при решении, при рассмотрении, при описании, при сравнении, при обсуждении*). Эти сочетания превращаются в клишированные. Соотносительность с придаточными у таких конструкций невелика, и в УНР для выражения разных смыслов гораздо охотнее привлекаются придаточные. Так, например, временной план, выраженный глагольной формой со значением конкретного прошедшего, невозможен в предложениях с условными детерминантными предложно-падежными сочетаниями. Таким образом, из всего богатого книжно-письменного ассортимента средств с весьма разнообразной семантикой в УНР используется практически лишь одно с недифференцированным значением и с весьма ограниченным лексическим наполнением, превратившееся в клише.

То же происходит и при употреблении в УНР причастного оборота (при общем предпочтении придаточного определительного): значение его

чаще всего уточняющее, в большинстве своем эти обороты относятся к словам с широкой семантикой, список которых ограничен и которые обычно нуждаются в семантическом восполнении (наблюдения Э. М. Шпановой). Деепричастные обороты (по наблюдениям Н. М. Краевской и Т. Ю. Кудрявцевой) в УНР менее частотны, чем в ПНР, закрепились здесь в определенных частотных значениях — обстоятельства образа действия и обстоятельства времени — и образуются от глаголов определенных лексико-семантических групп (глаголов конкретного действия — *генерируя, измеряя* и т. п.), глаголов мысли, интеллектуального действия (*придумывая, анализируя* и т. д.) и глаголов говорения (*выступая, обращаясь* и т. п.; частотны и клишированы обороты *иначе говоря, собственно говоря, короче говоря*). Наиболее частотные формы — *давая, работая, учитывая, имея в виду*.

И, наконец, третья группа средств в синтаксисе УНР — у с т н о р а з г о в о р н ы е. Для их характеристики были рассмотрены типизированные устно-разговорные синтаксические модели (по номенклатуре автора этой статьи), устно-разговорные текстообразующие средства, слабооформленные построения, конструкции с анафорическим местоимением, разные способы экономии сегментных средств, т. е. основные устно-разговорные синтаксические явления из зарегистрированных и описанных исследователями разговорной речи к настоящему времени. Потребность в столь полном освещении диктовалась спорной природой изучаемой функциональной разновидности литературного языка именно со стороны ее подверженности действию фактора устности, роли и значимости самого этого фактора в формировании функциональной разновидности и конкретных результатов его действия (151; противоположная точка зрения изложена в [20]). Кроме того, наиболее характерные черты устно-речевого потока проявляются прежде всего в его синтаксической организации. Оказалось, что с устно-разговорными элементами в УНР положение в принципе такое же, как и с книжно-письменными: все они могут быть употреблены в УНР, но на деле действуют вполне определенные ограничения и обнаруживаются типические случаи допущения. Отличие от книжно-письменных средств в этом отношении: употребление последних регулируется темой и поэтому может колебаться от 0 до n элементов в тексте, употребление же устно-разговорных средств базируется на его сегментном строении и потому в принципе неизбежно в любом тексте.

Согласно исследованию Т. Е. Акишиной и Н. М. Краевской, типизированные устно-разговорные синтаксические модели в УНР проходят этап фильтрации, в результате которой в УНР проникает лишь некоторая их часть, в этап трансформации, в результате которой конструкции видоизменяются. УНР характеризуется малым числом конструкций наложения, единичным употреблением вопросительных конструкций с дополнительной фразовой границей. Наиболее распространенные в УНР типизированные конструкции выступают не во всех своих модификациях. Так, конструкции с именительным темой, насчитывающие в УПР 14 модификаций, в УНР представлены лишь 4 модификациями. Уменьшение количества модификаций облегчает этап трансформации и наоборот — наименьшим трансформациям подвержены конструкции с наибольшим количеством модификаций: с именительным темой, явления словорасположения, конструкции бессоюзного подчинения. Из 6 модификаций конструкции добавления в УНР представлена одна, из 15 модификаций конструкции бессоюзного подчинения — 3, из 3 модификаций конструкции с дополнительной фразовой границей — 2, из 8 модификаций конструкции наложения — 3, из 32 особенностей словорасположения — 7. При трансформациях модели могут: 1) терять существенные признаки; 2) терять несущественные признаки; 3) приобретать новые устойчивые признаки, теряя часть старых.

Монологический характер исследованных текстов обуславливает наличие в них специальных синтаксических средств, выполняющих текстообразующую функцию и отражающих процесс организации и оформления

устного текста. Это инклюзивные фразы, коррекции, слабооформленные построения, которые тоже обнаруживают свою типизацию и свои схемы. Служебные, комментирующие (сопроводительные и мотивирующие) и диверсивные инклюзивные фразы объединяют УНР и УРР, а справочные восходят к вставным конструкциям ПНР, хотя и имеют собственно устно-разговорные особенности в своем оформлении. Лексико-семантические и грамматические коррекции неизбежны в УНР и определяются в своем возникновении соотношением спонтанности речи и требования точности высказывания. Они также дают свою типологию и распадаются на структурно-функциональные группы. Наконец, обилие слабооформленных построений в УНР ведет к появлению их функционально-структурной типизации, что на материале УРР наблюдается не столь отчетливо. Таким образом, наряду с большим количеством моментов тождества УНР и УРР в употреблении типизированных конструкций УРР, инклюзий, самокоррекций и слабооформленных построений наблюдаются и различия, вызванные широким узусом этих явлений в УНР, ведущим к выработке своих классификационных критериев и отбору лишь некоторых признаков и явлений УРР, а также к структурным трансформациям, осуществляющимся сложившимися в УНР способами.

Многообразны в УНР конструкции с анафорическим местоимением. Исследование Т. Р. Коноваловой выявило типы расщеплений по схемам: $N_1 + \text{он}$, $N_1 + \text{там}$, $N_1 + \text{это}$, $N_1 + \text{таков}$, такой , так , $N_1 + \text{вот кто(что)}$ и некот. др., причем в ряде из них есть отличия от общелитературной или книжно-письменной схемы. Так, в схеме $N_1 + \text{там}$ наблюдается употребление формы именительного, а не предложного, как в письменной речи. Есть свои ограничения на расщепление. Так, структурно-семантические типы микрополей статьи легко подвергаются расщеплению грамматического субъекта, а поля локализованного или нелокализованного наличия и модальных отношений — труднее. Не расщепляются типы предложений микрополя идентификации, предложения со значением конкретного действия. Широко используются актуализаторы, в том числе и специфически разговорные (*вот*). Монологический характер речи обуславливает особую роль действия фактора глубины фразы для возникновения в речи анафорического местоимения. Ср.: *И э / вот / э / надо сказать / что / конечно / принадлежность / ученого / или научного учреждения / к тому или иному ведомству / о н а безусловно накладывает / определенный взгляд / на / его / позицию / в технических дискуссиях //* и *мы определили что сегодня понимаете / та техника которая требуется для общебыта понимаете / это / кассетные магнитофоны / это / всевозможные / киноаппараты / и другие понимаете приборы на / электродвигателях / о н и как говорится требуют совершенно другого класса понимаете / стабильности скорости / оборотов /*. Глубина фразы оказывается решающим фактором, регулирующим употребление расчлененных построений в УНР. В целом расчлененные конструкции с анафорическим местоимением в УНР и ПНР не совпадают во всем наборе своих черт. Для именительного лекторского, например, в УНР характерна более слабая пауза на границе темы и ремы, меньшая степень изолированности вычленяемого грамматического субъекта, иной характер экспрессии. С другой стороны, адресованность, отчетливое подчеркивание темы отличают именительный лекторский от разговорных расчлененных построений.

Охарактеризованные особенности употребления разных разрядов языковых средств в УНР могут быть проиллюстрированы и на ином материале — словообразовании, текстообразующих признаках, лексико-грамматических разрядах слов. Материал этого рода можно также найти в подготовленной к печати монографии «Современная русская устная научная речь».

Таким образом, если попытаться охарактеризовать избранную для рассмотрения функциональную разновидность литературного языка с точки зрения соотношения используемых в ней разрядов языковых средств, привлечение и узус которых подчиняется действию ряда экстралинг-

вистических факторов и факторов формы и вида речи, то типологию их актива можно представить в следующем виде.

1. Общелитературные средства, составляющие основной корпус всех употребляемых средств, в УНР используются при некоторой корректурке со стороны узуса, которая может проявляться двояко: как предпочтении одних элементов или функциональных значений этих элементов другим и как складывание некоторой суммы отобранных и клипированных способов выражения. В последнем случае мы имеем дело со специфическими средствами, складывающимися в пределах данной функциональной разновидности. В этом проявляется автоматизм в употреблении языковых средств.

2. Книжно-письменные средства, которые широко используются в УНР из-за ее непосредственной тематической соотнесенности с ПНР, также подвержены корректурке узуса, которая заключается в наложении определенных ограничений на допуск в нее многих из этих средств или их функциональных значений. Автоматизм речи проявляется в регулировке фактором темы степени насыщенности речи книжно-письменными элементами и в действии названных ограничений.

3. Устно-разговорные средства широко используются в УНР под воздействием факторов адресованности речи и ее устности, а также функции воздействия. Принципиально в УНР монологического характера могут быть допущены все устно-разговорные средства (кроме собственно диалогических), что позволяет объединять в языковом отношении УНР и УРР в так называемую устно-разговорную разновидность современного русского литературного языка. Однако ситуативно-тематические условия речи создают определенный узус, накладывающий ограничения на употребление устно-разговорных средств или их функциональных значений, а также ведущий к трансформации конструктивных особенностей этих средств. В этом проявляется автоматизм речи.

В результате образуется некоторый набор средств, из которого говорящий может выбрать наиболее соответствующие его коммуникативным намерениям. В этом проявляется свобода в использовании языковых средств. Набор средств обладает признаками системности, поскольку эти средства определенным образом организованы и соотнесены между собой. Системность обнаруживается двояко — в соотнесенности полярно противоположных книжно-письменных и устно-разговорных средств и в соотнесенности всех трех видов средств.

Все сказанное дает возможность рассматривать речь устного научного и, шире, всякого устного публичного общения как арену соприкосновения, пересечения и взаимодействия устно-разговорных и соответствующих теме речи письменно-литературных языковых средств на фоне широкого привлечения средств общелитературных. Исследование жанровых особенностей УНР, проведенное в названной монографии В. Барнетом, дает ему основание для того, чтобы характеризовать УНР не как структурную, но как коммуникативно-функциональную разновидность современного русского литературного языка, отличающуюся высокой степенью проницаемости языковых средств. Именно это последнее качество отличает ее от книжно-письменного стиля (например, научного), где взаимодействуют не три, но два рода средств — общелитературные и книжно-письменные (а специфические для данного стиля складываются на их базе), причем ограничения не накладываются на книжно-письменные, поскольку они являются специфическими для письменных стилей (в отличие от УНР). И это же качество роднит ее с речью художественной (хотя здесь взаимопроницаемость языковых средств имеет иные функциональные основания) и особенно с речью устно-разговорной, где книжно-письменные элементы достаточно широко и свободно употребляются под воздействием фактора темы.

Необходимость пристального изучения типологии языковых средств в функциональных разновидностях современного русского литературного языка диктуется целью постижения его реального состава, а также тем обстоятельством, что «в современный период и в ближайшем будущем

внутриструктурное развитие литературных языков будет связано главным образом с лексико-семантическими, синтаксическими и стилистическими системами» [21]. При этом следует направлять исследовательское внимание не только в сторону определения типологии языковых средств внутри отдельных функциональных разновидностей, но также в сторону определения типологии языковых средств, соотносящей между собой эти разновидности. Такая соотносительность проявляется в существовании вариативных соотнесенных между собою рядов средств [см. 11].

ЛИТЕРАТУРА

1. Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях (К постановке проблемы). М., 1977.
2. Верховской П. В. Письменная деловая речь. М.—Л., 1931, с. 31.
3. Петрищева Е. Ф. Стили и стилистические средства (Обзор взглядов советских лингвистов). — В кн.: Стилистические исследования. М., 1972, с. 159 и др.
4. Лаптева О. А. — ВЯ, 1979, № 1, с. 147—148. — Рец. на кн.: Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях (К постановке проблемы). М., 1977.
5. Лаптева О. А. Современная русская публичная речь в свете теории стиля. — ВЯ, 1978, № 1.
6. Костомаров В. Г. Вопросы культуры речи в подготовке преподавателей-русистов. — В кн.: Теория и практика преподавания русского языка и литературы. Роль преподавателя в процессе обучения: Доклады советской делегации на IV конгрессе МАПРЯЛ. М., 1979.
7. Васильева А. Н. Функциональное направление в лингвистике и его значение в преподавании русского языка как иностранного; Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1981, с. 42.
8. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М., 1977, с. 39.
9. Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. — ВЯ, 1955, № 1, с. 78.
10. Сквородников А. П. Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1982, с. 141 и сл.
11. Лаптева О. А. Типология вариативных синтаксических рядов в аспекте функционирования литературного языка. — ВЯ, 1984, № 2.
12. Виноградов В. В. Русский язык в современном мире. — РР, 1970, № 1, с. 10, 11.
13. Русская разговорная речь. Отв. ред. Земская Е. А. М., 1973.
14. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. Отв. ред. Земская Е. А. М., 1981.
15. Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. Отв. ред. Земская Е. А. М., 1983.
16. Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
17. Лаптева О. А. Расположение компонентов в группе «определяемое — одиночное согласованное определение» в современной устно-разговорной речи. — В кн.: Русский язык. Грамматические исследования. М., 1967.
18. Лаптева О. А. Дискретность в устном монологическом тексте. — В кн.: Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. (Виноградовские чтения. XI). М., 1982.
19. Лаптева О. А. Синтаксическая дискретность устного монологического текста. — В кн.: Русский язык. Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст (Виноградовские чтения. XII—XIII). М., 1984.
20. Земская Е. А., Ширяев Е. Н. Устная публичная речь: разговорная или кодифицированная? — ВЯ, 1980, № 2.
21. Азимов П. А., Дешериев Ю. Д., Никольский Л. Б., Степанов Г. В., Швейцер А. Д. Современное общественное развитие, научно-техническая революция и язык. — ВЯ, 1975, № 2, с. 11.
22. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982, с. 341.

КОЛОСОВА Т. А., ЧЕРЕМИСИНА М. И.

О ПРИНЦИПАХ КЛАССИФИКАЦИИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Во всех системах классификации сложных предложений (далее — СП), принятых сейчас в русистике (а также в других лингвистических дисциплинах, связанных с описанием разных языков нашей страны, использующих выработанные русистикой теоретические образцы), первыми шагами классификационной процедуры предложения делаются на союзные и бессоюзные и на сочиненные и подчиненные. Однако теоретические основания этих делений, порядок их приложения, а следовательно, и мотивы, определяющие их особую значимость, остаются неясными. Рассмотрению содержательных и формальных оснований этих делений и посвящается настоящая статья.

Как известно, в числе «действующих» классификаций, предложенных разными синтаксистами в течение трех последних десятилетий, есть и такие, где первым задается деление на союзные и бессоюзные предложения [1—3], основание которого, на первый взгляд, кажется ясным: наличие союза или его отсутствие; и такие, которые начинаются делением всех предложений на сочиненные и подчиненные [4]. Соответственно в каждом из этих типов оказываются представлены, а затем противопоставлены друг другу и союзные, и бессоюзные. Порядок следования этих синтаксических категорий определенным образом влияет на наши представления об их содержательной стороне. Однако и в том, и в другом случае существо деления остается нераскрытым, а термины, в которых описываются процесс и результаты деления, не всегда наполняются четким понятийным содержанием.

Рассмотрим сначала под этим углом зрения категорию союзности — бессоюзности. Хотя ее основание и выглядит ясным, однако для того, чтобы на него действительно можно было опереться, необходимо иметь строгое понятие о союзе. Это должно быть такое понятие, которое позволило бы сделать одно из двух: либо противопоставить союзы другим показателям связи, вхождение которых в конструкцию СП оставляет эту конструкцию бессоюзной, либо, наоборот, объединить в общем понятии (может быть, обозначенном каким-то другим термином, в меньшей мере ассоциированным с традиционным представлением о союзе в его противопоставленности, например, частицам, вводно-модальным словам и др.) разные типы связующих средств, вхождение которых не позволяет считать конструкцию «бессоюзной».

В современной системе синтаксических представлений союзными называются не только такие СП, части которых связаны союзами, но и такие, части которых связаны показателями связи, заведомо не являющимися союзами. Наоборот, по ряду веских оснований они противопоставляются союзам. Это не только явная терминологическая некорректность, — за нею стоит и теоретическая неясность отношений между понятиями.

К числу «заведомых не союзов» относятся прежде всего так называемые союзные слова, т. е. относительные местоимения и местоименные наречия, выполняющие функцию члена предложения в составе придаточной части и одновременно осуществляющие, благодаря свойственной им как местоимениям анафорической ориентации, связующую функцию, например: *В 1920 году познакомилась я случайно с одним греком-коммерсантом, у которого был зафрахтован свой пароход* (В. Каверин, *Перед зеркалом*). В том, что *который* — не союз, никто не сомневается. Но, следуя традиции, мы должны назвать это предложение союзным.

На это противоречие лингвисты не раз обращали внимание и до нас [5—7]. Интересный подход к типологии СП находим в работах С. Г. Ильенко, которая предпринимает попытку терминологически дифференцировать сочинительные и подчинительные союзы. Бессоюзным предложениям автор противопоставляет не один тип «союзных», а несколько типов СП с показателями связи разной природы. В результате в данной системе бессоюзные предложения — это не предложения без союзов, а предложения с отсутствующими скрепами [6, 7].

Этот подход представляется нам интересным и перспективным, но пока остается еще целый ряд нерешенных вопросов. Первая и, в наших глазах, очень существенная неясность связана с тем, что терминологическое разведение показателей, традиционно понимаемых как союзы, на союзы (сочинительные) и подчинители предполагает, что мы умеем отличать подчинительные отношения от сочинительных и знаем, какие показатели выражают сочинение, а какие — подчинение. Но это деление является бесспорным только для ядра показателей связи в СП. Что же касается периферии, — а она очень широка, — то здесь дифференциация сочинительных и подчинительных связей затруднена, а иногда и невозможна.

Другая трудность, с которой мы сталкиваемся, пытаясь вычленить понятие союзной и бессоюзной связи, обусловлена существованием в русском языке таких служебных языковых единиц, которые, с одной стороны, выступают в функции показателей связи между частями СП, сближаясь в этом качестве с союзами. Но, с другой стороны, эти же слова (сочетания, группы слов) — статус таких единиц составляет особую лингвистическую проблему — выступают в других ролях: частиц, уточняющих синтаксические функции членов предложения или создающих специфические пресуппозиции высказывания, вводно-модальных компонентов и др. Должны ли мы в таких случаях считать омонимами материально тождественные союзы и частицы, например: *ведь, лишь бы, только (бы), же, пусть, пускай, хотя/хоть (бы), и то*; или союзы и вводно-модальные слова (однако, правда)?

Разнообразие функций, выполняемых некоторыми из перечисленных единиц, можно проиллюстрировать следующими примерами, где для нас самих функции этих единиц не определяются однозначно как союзные или частичные: *Я только что приехал и то тизонько — я ведь не прощен* (А. С. Пушкин, Каменный гость); *Все эти дни я сердилась на Вас и поэтому долго не отвечала на Ваше письмо, а ведь как хотелось!* (В. Каверин, Перед зеркалом); *Правда, лошади еще не было, да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение* (И. Бунин, Суходол); *Но Пьер, хотя и неохотно, настаивал на том, что считал справедливым* (Л. Толстой, Война и мир); *Друг детства все равно такой же друг, пусть даже он не получил диплома* (И. Кашежева, Переселяясь в новые дома...).

Соотношение частиц и союзов детально исследовалось А. Ф. Приятиной, описавшей вторичные синтаксические связи в русском языке [8, 9]. Она считает существенным более строгое разделение союзов и частиц, которые могут выступать в союзной функции, но союзам при этом не становятся. Нам же представляется, что для построения непротиворечивой классификационной схемы СП предпочтительнее другой подход.

Мы признаем, что функцию союза, т. е. «соединителя» двух сообщений или их частей, и функцию частицы, т. е. уточнителя какого-то компонента сообщения (таким компонентом нередко оказывается и союз), может выполнять один и тот же функтив¹. Естественно допустить, что в семантической структуре отдельных функтивов удельный вес функций союзов и частиц может быть разным. Не случайно в работах, посвященных анализу средств связи частей СП, наблюдаются попытки разграничить собственно-союз, союз-частицу (иногда выступающий как частица, имеющий

¹ М. И. Черемисина термином «функтив» обозначала союзы и их эквиваленты, которые неправомерно называть «словами», поскольку нередко они состоят из нескольких «слов» [10].

омоним-частицу, например и), частицу-союз (частицу, в определенных случаях функционирующую как союз) и частицу в союзной функции (частицу, для которой эта функция окказиональна). Вместе с тем представляется, что этим тонким делениям может и должно предшествовать более грубое, но не менее важное. В системе классификации СП необходимо прежде всего противопоставить предложения, содержащие показатели связи «союзного типа», предложениям, такого показателя не содержащим. Коль скоро мы видим, распознаем в составе предложения такой показатель, мы не должны относить это предложение к числу бессоюзных; вопрос о природе показателя связи, о его положении на шкале «частица-союз» мы сможем поставить на следующем этапе анализа.

Термин «бессоюзные предложения» как имя класса, который противопоставляется всем видам и типам СП с разными видами показателей связи, представляется нам неудачным и требующим замены. Ясно, что дело не в наличии или отсутствия именно союза, а в наличии или отсутствии какого бы то ни было линейного показателя связи. Правильнее было бы говорить о СП без показателей связи между предикативными единицами, оговаривая при этом, что под показателем связи понимается определенный сегмент плана выражения, выполняющий связующую функцию. Это может быть отдельное слово, сочетание слов, контактное или дистантное, а также, — если иметь в виду не только русский язык, — морфема, сочетание морфем (контактное или дистантное), сочетание морфем с аналитическими, «словесными» показателями.

Из сказанного следует, что к числу предложений с показателями связи мы относим не только те, что традиционно именуются союзными (в широком и противоречивом значении этого термина), но и предложения, квалифицируемые обычно как бессоюзные. Таковы, например, построения, в составе которых С. Г. Ильенко усматривает дейктические показатели связи [6, с. 13—14]: *Жизнь в Питере стала каторгой, так все дорого* (В. Каверин, *Перед зеркалом*).

Обратимся теперь к другому аспекту типологии СП — к локализации показателей связи. В современных классификациях СП этот признак в качестве основания деления не используется и не обсуждается, хотя при описании конкретных типов предложения вопрос о значимости локализации связующего компонента возникает довольно часто. Так, скрепы типа *же* и *тоже*, которые никогда не занимают инициальной позиции в составе предикативных единиц, именно по этой причине оцениваются обычно как частицы, а не союзы. С этой точки зрения представляется интересной мысль С. Г. Ильенко о том, что сложные предложения с подчинительными союзами и с относительными словами (сложноподчинительные и сложноотносительные, в ее терминологии) объединяются в некий общий класс по признаку «средство связи находится в составе придаточного предложения» [6, с. 14]. Будучи высказанной, эта мысль тотчас рождает дальнейшие вопросы, требуя развития и уточнения. Во-первых, напрашивается мысль о возможности дальнейшего обобщения в заданном направлении: ведь сочинительные союзы и дейксисы тоже локализованы в определенном звене сложной конструкции, однако звено, включающее дейксис, а тем более сочинительный союз, как придаточное обычно не оценивается. Во-вторых, возникает вопрос о других классах, которые должны быть противопоставлены данному, выделенному С. Г. Ильенко. Мы имеем в виду конструкции, в составе которых представлены два показателя связи (один в одной предикативной единице, другой — в другой), — или, может быть, один показатель с дистантным расположением частей, — это тоже проблема, связанная с теоретической интерпретацией наблюдаемых фактов.

В связи с этим вновь встает вопрос о границах понятия «подчинение». В системе простого предложения термин «подчинение» обозначает одностороннюю зависимость, доминацию, при которой четко распознаются подчиняющее и подчиняемое. Поэтому операциональным критерием подчинения может быть элиминация зависимого компонента, не влекущая за собой нарушения правильности подчиняющего, главного компонента.

В этом смысле корректным примером подчинения в системе СП может служить предложение *Когда завершило ненастье, пришлось гостиную забить наглухо* (И. Бунин, Суходол). Показатель связи представлен здесь в придаточной части, которую можно элиминировать, не нарушив правильности главной части.

Однако сложноподчиненными мы называем не только такие предложения, которые удовлетворяют этому требованию. Например, предложение *И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называла себя Дрейфусом на Чертовом острове* (И. Бунин, Суходол) состоит из двух частей, в составе которых мы видим два показателя связи — или части одного показателя с дистантным расположением компонентов. Ни одну из предикативных частей мы не можем элиминировать таким образом, чтобы остающаяся часть оказалась правильным простым предложением. Отношения между его частями, с нашей точки зрения, не следует интерпретировать как подчинение. Перед нами особая, более сложная, взаимная связь частей, которую можно было бы назвать взаимным подчинением.

Термин «взаимное подчинение» был создан А. М. Пешковским для обозначения такой связи частей в составе СП, при которой «необратимое отношение выражено одновременно и однородно в обоих соотносящихся». Части, соединенные такой связью, он называет «взаимопридаточными», а отношения взаимного подчинения рассматривает не как разновидность подчинения, а как особый вид связи, «вне сочинения и подчинения» [11, с. 467—468]. У А. М. Пешковского круг конструкций с отношениями взаимного подчинения очень узок. В дальнейшем предпринимались попытки расширить объем этого понятия. Кроме предложений типа *Крестыянин ахнул не успел, как на него медведь напал* (И. А. Крылов, Крестыянин и Работник), в этот тип были включены и конструкции, построенные на модели *Чем ночь темней, тем ярче звезды* [12, 13]. Наше употребление этого термина не выпадает, таким образом, из традиции.

Заметим попутно, что специальные исследования СП в алтайских языках Сибири, выполняемые синтаксической группой Отдела филологии ИИФФ СО АН СССР, обнаружили любопытный факт: при том, что подавляющее большинство функциональных типов русских СП находит себе достаточно близкую параллель в этих сибирских языках, модель с отношениями взаимного подчинения, выражающая идею следствия или степени признака (*Вода такая прозрачная, что видны все камни на дне; Я так устал, что не могу нести этот мешок* и т. п.), ни в эвенкийском, ни в тувинском, ни в алтайском языках соответствия не получает. Информанты заменяют ее либо на причинную (*Не могу, потому что очень устал*), либо на следственную (*Устал, поэтому не могу / и не могу...*); первый показатель, местоименный, выражающий относительность меры признака, заменяется абсолютной характеристикой «очень». Это является ярким свидетельством того, что перед нами конструкция, части которой связаны синтаксическими отношениями, более сложными, чем обычное подчинение.

В связи со сказанным нельзя не задуматься и о природе синтаксической связи, выражаемой так называемыми составными союзами типа *потому что; потому, что; потому..., что*. Часто говорят, что это варианты, различающиеся лишь в отношении актуализации и эмпазы [14]. Однако даже сама возможность использовать именно этот причинный союз в тех случаях, когда нужно выразить такого рода различия, свидетельствует о его особом положении среди других, нечленимых союзов той же функциональной группы. Например, союз *так как* можно считать вполне синонимичным союзу *потому что*, но не он членится на части, которые были бы способны распределяться между предикативными единицами, — а в силу этого он оказывается не способен, как и союз *ибо*, сочетаться с частицами. Частицы и другие уточнители, сочетаясь с левым компонентом союза, как бы «оттягивают» его в сторону первой (главной) части, отрывают от собственно-союзного компонента *что*. Например: *Впрочем, море я не стала бы писать — и не только потому, что оно слишком красиво; Мы встречались... не потому, что нас связывали общие интересы,*

а потому, что обе нуждались в женской дружбе; ... она сравнила произведения кубистов с каменными бабами, что, по-моему, вздор, хотя бы потому, что нельзя безоговорочно сравнивать живопись и скульптуру; Упомяну, впрочем, еще один (магазин), да и то потому, что на его витрине выставлен «морской черт...» (В. Каверин, Перед зеркалом).

Подобные примеры порождают много вопросов, которые уже не раз обсуждались, но вновь становятся актуальными в связи с постановкой задачи анализа и классификации показателей связи между частями СП. Как следует оценивать природу и как называть составные части показателей типа (*да и то*) *потому* (.) *что*? В скобки мы заключили «факультативные» компоненты, которых может и не быть; но если они появляются, сохраняет ли скрепа тождество самой себе? Слово *потому*, отделенное запятой (и слово ли это?), следует ли считать принадлежащим той же самой предикативной части, которой принадлежит и *что*, или запятая «вытесняет» его в другую часть, главную? Союз *потому что* (без запятой) естественно назвать «подчинителем», по С. Г. Ильенко. При наличии же запятой это уже не так естественно. Но как надлежит квалифицировать этот показатель связи? Еще острее этот вопрос стоит в случаях дистантного расположения *потому* и *что*: *Мы потому спросили Петрова, что были уверены в его объективности*. Говорить о «подчинителе», который, по определению, принадлежит только придаточной части, в этом случае не приходится, ибо компонент *потому* органически входит в главную часть.

Вопрос, который ставят перед синтаксистами подобные показатели, касается всего синтаксического статуса указательного местоимения. «Указательное местоимение» — термин морфологический; называя эти слова «соотносительными», имеют в виду их функцию, однако эта функция недостаточно четко увязывается с другими функциями служебных компонентов, обслуживающих сложное предложение. Соотносительные слова «соотносятся» с союзами; но если соотносительное слово станет частью слова, сохраним ли мы право говорить о соотношении? Традиция отвечает на этот вопрос отрицательно. Но как в таком случае должна проводиться граница?

Однако независимо от того, признаем ли мы последовательность расчлененных компонентов одним составным союзом или сочетанием местоимений с союзом, нельзя игнорировать тот факт, что местоименный компонент принимает непосредственное участие в выражении отношений между предикативными частями. А распределение скреп (или частей одной скрепы) между двумя предикативными единицами означает усложнение самой синтаксической связи, которая перерастает границы односторонней доминации.

Другая сторона проблемы, которая возникает как прямое следствие повышения внимания к локализации показателя связи, обращена к сложносочиненным конструкциям. До сих пор существуют сторонники точки зрения, в свое время высказанной А. М. Пешковским, согласно которой сочинительный союз, в отличие от подчинительного, не входит ни в одну из частей, но располагается между ними. Однако определения того, что значит «находиться между», мы в литературе не находим, как не находим и каких-либо операций анализа, которые подтвердили бы предполагаемую специфику сочинительных союзов. Операция обращения (которая естественно усматривается за понятием «обратимости» отношений сочинения, по А. М. Пешковскому), как известно, этой специфики не подтверждает [11, с. 465].

Гораздо более адекватной нам представляется точка зрения М. Н. Петерсона, который в этом плане не видел разницы между сочинительными и подчинительными союзами [15]. И в том, и в другом случае союз принадлежит той части, в которую он входит; назовем ее придаточной или нет, вхождение союза делает ее несамостоятельной. Ср., например: *Это был первый пароход в нынешнюю навигацию, и встречать его на берег высыпало все население поселка* (Б. Горбатов, Возвращение Сатанау). — *Это был первый пароход в нынешнюю навигацию, так что встречать его на берег высыпало все население поселка*.

Очевидно, таким образом, что позиция союза (показателя связи) не проливает света на природу сочинительных и подчинительных отношений в их противоположности друг другу. Среди союзов, оцениваемых как подчинительные, мы находим такие, которые возглавляют только вторую часть, т. е. формируют, по терминологии В. А. Белошапковой [2], конструкции негибкой структуры (*ибо, так что*), а среди сочинительных — повторяющиеся, начинающие собой каждую из частей (*ни — ни, то — то, не то — не то* и др.).

Остановимся несколько подробнее на проблеме отношений между сочинением и подчинением, которая является одной из самых спорных проблем синтаксиса СП.

Сочинение и подчинение признаются в лингвистике фундаментальными понятиями учения о синтаксических связях, причем о связях, понимаемых как межъязычные, которые могут связывать и словоформы, и словосочетания, и предикативные единицы. Однако содержательно эти отношения были определены применительно к простому предложению. Специфика сочинения в этой сфере усматривалась в том, что сочиненные группы занимают в предложении одно и то же синтаксическое место [16]. Такие группы трактуются как однородные члены, т. е. как один и тот же член предложения, представленный двумя или более сочиненными словоформами.

В системе СП возникает качественно новая грамматическая ситуация, невозможная в простом предложении. Она состоит в том, что сложносочиненный бином представляет собой автономное высказывание, несколько не менее самостоятельное, самодостаточное, чем любой сложноподчиненный бином. Предложения типа *Душно стало в саkle, и я вышел на воздух освежиться* (М. Ю. Лермонтов, Герой нашего времени) рассматривают в кругу сложносочиненных закрытой структуры [2], в которых, несмотря на более сложный (по сравнению с предложениями открытой структуры) характер передаваемых отношений, «сочинительная связь объединяет равноправные компоненты и является показателем их равноправия» [17]. Тезис о равноправии сочиненных компонентов, к которому апеллирует здесь О. Б. Сиротинина, был перенесен в сферу сложного предложения из синтаксиса простого предложения. В простом предложении действительно всегда есть то «третье», перед которым сочиненные члены оказываются равноправными². Но если никакого третьего нет, как это имеет место в сложносочиненном биноме, то тезис о равноправии повисает в воздухе. Более того, между частями (предикативными единицами, обозначающими события) часто возникают заведомо неравноправные отношения. Например: *Зима была снежная, и все ждали сильного половодья; Все ждали сильного половодья, потому что зима была снежная*. Ср. также: *Зима была снежная, но сильного половодья не ждали — Хотя зима была снежная, сильного половодья не ждали — Зима была снежная, хотя сильного половодья и не ждали*.

«Равноправие» частей, таким образом — просто другая сторона, другая формулировка того же утверждения об обратимости, о котором мы уже говорили. Несостоятельность обоих утверждений можно считать доказанной. А это значит, что современная наука не располагает сколько-нибудь надежными критериями разграничения сочинения и подчинения.

Конечно, и в СП соотносительность двух предикативных единиц с третьей возможна, и тогда мы можем усмотреть между ними отношения равноправия. Но это будет уже не сочиненный бином, а усложненное построение, состоящее из трех предикативных единиц: *А когда праздник кончился и гости разъехались, Таян пошел по берегу* (Б. Горбатов, Таян-начальник); *Когда целкают парикмахерские ножницы над ухом, меня всегда отчего-то клонит в сон и скулы сводит зевотой* (Г. Бакланов, Помню, как сейчас...). Ю. А. Левицкий, учитывая это, утверждает даже, что «логически всякое сочинение представляет собой соподчинение» [18].

² На этот факт указывал и А. М. Пешковский, утверждая, что «сочинение внутри предложения — лишь эпизод на фоне подчинения» [11, с. 60].

Близкую позицию занимает Е. Н. Ширяев, который общей для всех сочинительных союзов функцией считает «выражение одинаковой отнесенности, в том числе и потенциалной, двух связываемых этим союзом компонентов к третьему» (разрядка наша.— К. Т., Ч. М.) [19]. Соответственно, союз *но* в конструкции *Светит солнце, но все-таки холодно* является сочинительным потому, что на основе данной конструкции можно построить, например, следующую: *Он сказал, что светит солнце, но что все-таки холодно*.

Эта интерпретация сочинения, бесспорно, представляется интересной, потому что она является едва ли не единственной, которая не опровергается фактами, лежащими на поверхности. Однако она оставляет открытым вопрос о том, почему же потенциальной возможности или невозможности соотношения сложного предложения с чем-то третьим должна отводиться такая ведущая роль в системе классификации сложных предложений. Почему классификация должна начинаться именно с этого деления?

То значение, какое придается оппозиции «сочинение — подчинение» в русистике, оказывает сильное давление на тех, кто описывает синтаксис других, в частности, алтайских языков. Авторы считают себя обязанными отыскать в этих языках прямую или достаточно близкую, несомненную аналогию русскому сочинению. Однако теоретическая неясность соответствующего понятия в системе русистики накладывает отпечаток на направление и характер этих поисков. Прежде всего возникает вопрос: что же есть сочинение — особый формальный тип связи или особое, отличное от подчинения, содержательное отношение между событиями?

Если это формальный тип связей, то во всех языках, как и в русском, сочинение должно интерпретироваться как связь, выражаемая союзами. Подчинение же, как известно, может передаваться и другими, в частности морфологическими способами, которые четко противостоят аналитическим. В языках агглютинативного строя для связи предикативных частей СП легко и естественно используются те же самые средства, что и для связи словоформ в простом предложении. Зависимые предикативные единицы здесь могут принимать различные надежные формы в зависимости от выражаемых отношений. Так, предикативная единица, выступающая в функции обстоятельства времени, закономерно принимает аффиксы местно-временного, дательного-местного и других падежей, которые приняло бы и существительное в этой функции. Например, в алтайском языке (тюркская семья): *Сен-келген* «Ты пришел», где *-ге-* (<ген) — показатель прошедшего времени, *-н* — показатель 2-го л. ед. ч. Ср.: *Сен келгенде мен сўбүнетем* «Когда ты приходил, я радовался» (*-де* — показатель местного падежа).

Такие специфические полипредикативные конструкции с морфологическими (синтетическими) формальными средствами выражения отношений между предикативными частями осмысливаются как сложноподчиненные. Союзные же конструкции, подобные русским, должны оцениваться в этом случае как сложносочиненные. При этом в число сложносочиненных попадают, например, причинные конструкции, те, части которых связаны союзами, тогда как другие предложения, выражающие причинные отношения событий, относятся к числу сложноподчиненных, поскольку эта связь выражается надежными аффиксами и послелогами.

Если же сочинение понимается как некоторое специфическое содержательное отношение, тогда сложносочиненными следует признавать такие конструкции в алтайских языках, которые функционально эквивалентны конструкциям с сочинительными союзами. Переводными эквивалентами русских конструкций с союзами *и*, *а*, *но* нередко оказываются в алтайских языках конструкции, в составе которых сказуемое зависимой части принимает форму одного из деепричастий «соединительного типа», т. е. самой широкой, неопределенной грамматической семантики (в тюркских языках это деепричастия на *-н*, *-а*, в бурятском — на *-жа*, *-аад*, в эвенкийском — на *-ми* и некот. др.). Хотя, вообще говоря, в грам-

матиках этих языков признано, что деепричастие образует с глаголом подчинительное сочетание, однако конструкции с названными «простейшими» деепричастиями, в нарушение общей логики, признаются сочинительными.

С такого рода содержательной трактовкой сочинительных отношений мы сталкиваемся и в «Русской грамматике», созданной русистами Чехословакии. При описании сложносочиненных предложений, выражающих соединительные отношения, здесь названы не только конструкции, оформленные одноместными и двухместными союзами (*и, да, да и, а, же; ни—ни, то—то*), но и конструкции с коррелятивными местоимениями и наречиями: *кто — кто, что — что, кто-то — кто-то* (например: *Кто-то читал, кто-то писал*; ср. также: *Один писал, другой читал*) и т. п. Функциональным эквивалентом соединительных сложносочиненных предложений оказываются и предложения, традиционно квалифицируемые как сложноподчиненные с придаточным присоединительным (в Грамматике-70 названные относительно-распространительными). Например: *Мы долго боялись его, что вызывало у взрослых недоумение* [20].

При такой семантической трактовке сочинения вопрос о выражающих его средствах становится второстепенным. В инвентаре таких средств мы встречаем самые различные показатели, в том числе и прочно ассоциированные с подчинением. Нисколько не оспаривая правомерности подобного семантического подхода, не ставя под сомнение тот факт, что выводы, которые могут быть получены на этом пути, для языковедения интересны, мы не можем в то же время не отметить, что семантическая трактовка сочинения несовместима с использованием этого понятия на ранних этапах построения формально-семантической классификации СП.

Подведем некоторые итоги. Во-первых, с нашей точки зрения, общее множество СП (биномов) на начальном этапе классификационной процедуры должно оцениваться с точки зрения наличия или отсутствия в их составе такого отрезка, который может быть назван показателем связи. Соответственно предложения, содержащие такой показатель, можно называть предложениями с выраженной связью, а не содержащие его — предложениями с невыраженной связью. При этом выраженность будет пониматься как выраженность с помощью линейного показателя связи, а под показателями связи будем понимать такие элементы, вхождение которых лишает предикативное построение качества простого законченного предложения. Как вытекает из анализа фактов и русского, и других языков, показатели связи бывают нескольких существенно разных типов. Нам представляется целесообразным сначала разделить все показатели по признаку — совмещает или не совмещает данный отрезок функцию показателя связи с ролью какого-то члена предложения. Не задерживаясь пока на классах, которые при этом выделяются, продолжим деление предложений, части которых связаны с помощью специальных показателей, не являющихся членами содержащих их простых частей. Все такие предложения могут и должны подразделяться далее в соответствии с самыми общими формальными характеристиками показателей связи.

Все множество показателей представляется целесообразным разделить на классы с учетом того, каким составляющим сложной конструкции принадлежит данная скрепа. Под этим углом зрения выделяются одноместные показатели, входящие в одну из частей, — эта часть тем самым оказывается несвободной³; им противостоят двухместные показатели, компоненты которых входят в каждую из связываемых частей, в результате чего несвободными оказываются обе части.

Одноместные показатели, в свою очередь, распределяются по нескольким классам. Прежде всего, имея в виду не только русский, но и другие языки мира, мы должны противопоставить аналитические показатели,

³ В Грамматике-80 отмечается, что «одноместный союз располагается между соединяемыми частями текста или позиционно примыкает к одной из них» [21, с. 718].

представляющие собой служебные слова (аналоги слов, словосочетаний, сочетаний и групп слов) показателям морфологическим, т. е. морфемам или цепочкам морфем, регулярно маркирующим зависимую предикативную единицу в алтайских и многих других языках. Это аффиксы деепричастий, косвенных наклонений, падежные аффиксы, которые принимает сказуемое зависимой части, но никогда не принимает сказуемое простого предложения или независимой части сложного. Если к морфологическим показателям добавляются аналитические уточнители, — частицы, послелоги, служебные имена, — природа показателей усложняется, и они могут быть аналитико-синтетическими. В русском языке морфологические показатели связи частей в сложном предложении почти не используются. Исключение — предложения ирреального условия типа *Щепотки волосков лиса не пожалей — остался б хвост у ней* (И. А. Крылов, Лиса), где зависимый характер первой предикативной единицы выражен специфической инфинитной формой ее сказуемого.

Для русского и других европейских языков характерны аналитические показатели связи частей СП, представляющие собой слова и сочетания слов, которые присоединяются к синтаксической форме законченного предложения. Наиболее яркими представителями множества таких показателей являются простые союзы, в равной мере сочинительные и подчинительные: *и, а, но, что, ибо, если, когда* и т. п. Но мы хотели бы подчеркнуть, что в это множество органически входят не только одноместные союзы других типов, но также и частицы, выступающие в союзной функции, и соединения «классических», признанных союзов с разного рода частицами и другими «вспомогательными» словами-конкретизаторами [21, с. 714]: *и все-таки, а все-таки, и все же, а все же, но все же, и значит, а значит, а поэтому, и поэтому* и мн. др. О целостности этих показателей свидетельствует, в частности, нейтрализация противопоставления между базовыми союзами в составе таких соединений: *Машин на Вестсайдском хайвее по-ночному мало, и все же хайвей не спит* (С. Кондрашов, Близки Нью-Йорка) — ср.: *Машин на Вестсайдском хайвее по-ночному мало, но все же хайвей не спит / ..., а все же хайвей не спит*. Соединения союзов с частицами постоянно пополняют собою общий фонд показателей связи. Разграничение же случайных, свободных сочетаний и устойчивых — это интересный вопрос, но мы его сейчас не обсуждаем.

Все рассмотренные выше аналитические показатели мы хотели бы объединить в родовом понятии «союзная скрепа» (или «скрепа союзного типа»). «Союзным скрепам», функцивам, противопостоят «прономинальные скрепы», отличительный признак которых — совмещение связующей функции с функцией члена предложения. В этот класс показателей входят, составляя его ядро, относительные местоимения и наречия, выступающие в функции союзных слов: *кто, который, какой, чей, сколько, куда, где, почему* и др. Кроме того, сюда же должны, по-видимому, войти и местоименные слова указательного типа: *так, такой, столько, настолько, поэтому* (и, возможно, некоторые другие). Например: *У меня зуб на зуб не попадал, так я замерз; С меня градом лил пот, такая была жара; Я потерял билет, поэтому поездка не состоялась*. Предложения такого типа традиционно рассматривались как бессоюзные. С. Г. Ильенко скрепы *так, такой и настолько* назвала дейксисами. С нашей точки зрения, скрепы-«реляторы», т. е. К-местоимения, и «дейксисы», т. е. Т-Местоимения, выступая в роли одноместных показателей связи, должны быть объединены в общем понятии и лишь затем могут быть взаимно противопоставлены. Общим признаком этих прономинальных скреп в их противопоставленности функцивам, скрепам союзного типа, мы считаем характер выражаемой связи. Будучи местоимениями, эти слова и в роли скреп выражают отношения анафорического типа, т. е. собственно анафорические (К-местоимения), или дейктические (Т-местоимения). Эти отношения, как нам кажется, следует противопоставлять не сочинению и не подчинению, а категории «сочинения / подчинения» в целом.

Вернемся к выделенному выше классу двухместных показателей связи.

Этот класс внутренне не однороден, в нем выделяется несколько существенно разных групп. Различающие их свойства могут показаться даже более весомыми, чем объединяющие их признаки. Поэтому полезно подчеркнуть этот общий признак, побуждающий нас выделить все двухместные скрепы в особый класс. Этот признак мы видим в том, что синтаксическим содержанием двухместных скреп являются не однонаправленные, а обоюдные, двусторонние связи. Они сложнее однонаправленных связей. Поэтому не удивительно, что и в плане содержания, и в плане выражения эти отношения гораздо вариативнее рассмотренных выше.

Мы не ставим своей целью предложить сейчас сколько-нибудь проработанную классификацию этих отношений и выражающих их двухместных скреп. Это проблема, заслуживающая специального тщательного исследования. Мы же ограничимся лишь представлением и самой беглой характеристикой тех групп, которые нам удалось увидеть и в какой-то мере осознать.

Прежде всего следует, видимо, выделить значительную группу показателей, в состав которых входят так называемые соотносительные слова, т. е. Т-местоимения. Их «противочленами» в другой части конструкции могут быть либо относительные К-местоимения, либо союзы, и соответственно можно говорить о двух подклассах этого класса: 1-й класс — *тот — кто, то — что, такой — который, такой — какой, таков — каков, тогда — когда, там / туда / оттуда — где / куда / откуда* и др. 2-й подкласс — *тот / такой / таков — что / чтобы / будто, словно, как будто* и др.

В связи со сказанным заслуживают внимания и комментарии так называемые союзы типа *потому что*, в составе которых тоже присутствуют, по крайней мере этимологически, Т-местоимения. Если такой союз распределяется между двумя предикативными единицами, Т-местоимение «оживает» и сближается с показателями, рассмотренными выше. Этот многочисленный класс скреп (*благодаря тому, что; вследствие того, что; в связи с тем, что; кроме того, что; за исключением того, что; после того, что; после того, как* и мн. др.) под таким углом зрения заслуживает специального рассмотрения.

Другой крупный класс составляют двухместные показатели связи, обе части которых представлены скрепами союзного типа; объединяясь между собой, они становятся выразителями новых, более сложных содержательных отношений. Внутри этого класса, в свою очередь, выделяется несколько групп. Первая, на наш взгляд — простейшая, представлена так называемыми «повторяющимися» сочинительными союзами: *ни — ни, то — то, не то — не то, то ли — то ли* и др. К ним примыкает сопоставительный союз *если — то*, который не является, конечно, «повторяющимся», но, как и «повторяющиеся», характеризуется постоянным составом своих компонентов. Сопоставительный союз *если — то* не тождественен условному *если — (то)* с факультативным вторым элементом. Этот показатель входит в другую группу, где он объединяется с такими, как *поскольку — (то), когда — (то), так как — (то)* и др. Заметим, однако, что о «факультативности» в этом случае мы говорим несколько условно. Может быть, было бы строже и правильнее говорить о существовании в современном русском языке параллельных рядов скреп: двухместных типа *поскольку — то* и синонимичных им одностепенных типа *поскольку*. Ведь двухместность скрепы мы потому считаем важным формальным и содержательным признаком, что с каждым компонентом связываем особую функцию, что и позволяет ставить вопрос о двунаправленности, взаимности связи частей.

Последняя группа двухместных показателей связи, которая нам кажется особенно интересной, — это так называемые «синтагматически связанные двухместные союзные соединения» [22] типа *добро бы — а то, ладно бы — а то, будь бы — а то* и некот. др. Заметим, что позицию *а то* иногда занимает противительный союз *но*. Подобные скрепы возникли в результате компрессии сложных предложений, состоящих из трех предикативных единиц, и фразеологизации отдельных элементов

этой конструкции. Сравним: *Ладно бы, если бы фабрика в Кирове была единственной, а то ведь многие предприятия гонят дешевый ширпотреб с богатой отделкой* (Правда, 1982, 11 февр.). — *Ладно бы фабрика в Кирове была единственной, а то ведь многие предприятия гонят дешевый ширпотреб...*

Эти скрепы заслуживают специального внимания и потому, что на их примере особенно наглядной становится неправомерность интерпретации всех выраженных линейно связей в терминах «сочинение / подчинение». Компонент *а то* в составе этих двухместных показателей материально тождественен одностойной союзной скрепе, которую в пособиях по современному русскому языку оценивают обычно как сочинительный союз [23]. По нашим же данным, ядро конструкций с этой скрепой составляют предложения альтернативной мотивации, которые по семантике явно близки к сложноподчиненным [24]. Что же касается первых компонентов этих двухместных показателей — *добро бы, ладно бы*, — то они очевидным образом вбирают в себя содержание условного, т. е. подчинительного союза *если*, обогащая его семантику субъективно-оценочным компонентом. С нашей точки зрения, эта связь выходит за рамки как сочинения, так и подчинения.

Таким образом, главная мысль этой статьи состоит в следующем. Сформировав понятие линейного показателя связи, в котором обобщены традиционные представления, с одной стороны, о союзах и их эквивалентах — частицах в союзной функции и модальных словах в той же роли — а с другой стороны, о местоименных словах, указательных и относительных (с корневыми элементами Т- и К-), мы получаем возможность «вынести за скобки», исключить из дальнейшего анализа на данном этапе те сложные предложения, которые не содержат никаких линейных показателей связи. В данной работе они нас более не интересуют.

Дальнейшую классификацию мы строим, опираясь на типологию показателей связи, исходя из убеждения в том, что между типами показателей связи и характером выражаемых ими синтаксических отношений существует определенная корреляция. В результате проделанного анализа мы пришли к выводу, что сведение всех синтаксических отношений между предикативными частями сложных предложений к сочинению или подчинению существенно обедняет ту картину действительности, которую уже позволяет увидеть состояние сегодняшних синтаксических знаний. Оппозиция «сочинение — подчинение», помещенная в вершину классификационного дерева, становится тормозом для синтаксической мысли, мешая увидеть и осознать существование качественно других отношений. Такими отношениями, не говоря о нередко наблюдаемой нейтрализации оппозиции «сочинение — подчинение», являются отношения, передаваемые разными типами двухместных скреп; это, в частности, и отношения взаимного подчинения, и отношения, которые можно осмыслить как некий синтез сочинения и подчинения, дающий новое качество.

ЛИТЕРАТУРА

1. Поспелов Н. С. О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений. — В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.
2. Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977.
3. Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения. М., 1969.
4. Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. Ч. 2. Синтаксис. М., 1968, с. 296.
5. Василенко И. А. К вопросу о союзных и бессоюзных предложениях в русском языке. — В кн.: Вопросы современной филологии. М., 1965.
6. Ильенко С. Г. К вопросу об общей типологии сложного предложения. — В кн.: Переходность в системе сложного предложения современного русского языка. Казань, 1982.
7. Ильенко С. Г. Сложное предложение в современном русском языке. Л., 1976, с. 31.
8. Прияткина А. Ф. Союзные конструкции в простом предложении современного русского языка: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Владивосток, 1977.
9. Прияткина А. Ф. Вторичные союзные связи. — В кн.: Исследования по славянской филологии. М., 1974.

10. Черемисина М. И. Союз как лексическая единица языка (лексема или функция?).— В кн.: Актуальные проблемы лексикологии. Новосибирск, 1973, с. 38.
11. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
12. Ванслова М. Л. Сложные предложения с союзом *чем — тем*.— ВЯ, 1957, № 2, с. 100.
13. Бархударов С. Г., Крючков С. Е. Учебник русского языка. Ч. 2. Синтаксис. М., 1968, с. 94.
14. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 713.
15. Петерсон М. Н. Очерк синтаксиса русского языка. М.— Пг., 1923, с. 32.
16. Перетрухин В. Н. Проблемы синтаксиса однородных членов предложения в современном русском языке. Воронеж, 1979, с. 7—39.
17. Сироткина О. Б. Лекции по синтаксису русского языка. М., 1980, с. 9.
18. Левицкий Ю. А. Проблемы сочинения. Пермь, 1980, с. 5.
19. Ширяев Е. Н. Дифференциация сочинительных и подчинительных союзов на синтаксической основе.— ФН, 1980, № 2, с. 51.
20. Русская грамматика. Т. 2. Прага, 1979, с. 904—914.
21. Русская грамматика. Т. 1. М., 1980.
22. Русская грамматика. Т. 2. М., 1980, с. 719.
23. Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И., Папукович В. В. Сборник упражнений по современному русскому языку. М., 1964, с. 324—325.
24. Колосова Т. А. Русские сложные предложения асимметричной структуры. Воронеж, 1980.

МАЛАЩЕНКО В. П., БОГАЧЕВ Ю. П.

СЛОВСОЧЕТАНИЕ И ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Выделение словосочетания и простого предложения как синтаксических единиц, находящихся в иерархических отношениях, побудило исследователей к глубокому и всестороннему изучению конструктивных, сочетаемостных и функциональных свойств каждой из этих единиц. Сделано в этой области немало, но по-прежнему острыми и спорными остаются вопросы их связи и взаимодействия. Дискуссии о свойствах и функциях словосочетания, которые периодически возникают на страницах нашей печати [1—4], чаще всего имеют целью подтвердить или опровергнуть положение о статусе этого объединения слов как особой синтаксической единицы и почти совсем не затрагивают проблемы использования словосочетания в построении предложения, влияния предложения на функционирование и образование словосочетания. Очень мало внимания уделено в нашей литературе и такому важному в теоретическом и практическом отношениях вопросу, как связь словосочетания с категорией членов предложения [5—7]. Попытка объединения учения о словосочетании и учения о членах предложения была предпринята авторами Академической грамматики. Своеобразное преломление эта идея нашла в положениях Граматики-70 и Граматики-80 о роли словосочетаний в распространении простого предложения.

Принципиальное значение для непротиворечивого решения вопросов о связи и взаимодействии словосочетания и предложения имеет такое понимание словосочетания, которое не приводит к смешению специфических «словосочетательных» и «предложенческих» связей и явлений, но и не устаряет иерархических отношений между указанными единицами.

Мы исходим из того, что в системе сочетаний слов (словоформ) современного русского языка существует особое объединение слова и зависимой от него словоформы, которое возникает в результате реализации потенциальных сочетаемостных свойств грамматически господствующего слова как части речи. Поэтому словосочетание рассматривается как объективная языковая реальность. Будучи продуктом распространения знаменательного слова, эта единица функционирует только в предложении и выступает как промежуточная ступень на пути превращения отдельного слова в компонент коммуникативной единицы [1, с. 57; 8].

Любое конкретное словосочетание образуется в процессе высказывания, но строится такая семантико-синтаксическая единица по определенной модели, которая закреплена в сознании говорящих на данном языке и существует вне предложения, хотя генетически и восходит к нему [9], и до возникновения конкретного высказывания, точно так же, как и само это высказывание, формируется по определенной модели предложения, существующей вне и до данной речевой манифестации [10]. Только в таком истолковании может быть принят тезис о том, что свободное словосочетание является единицей докоммуникативного уровня [11], т. е. конструкцией, не зависящей от предложения, существующей до него и в готовом виде включающейся в предложение. Словосочетание — это, наряду со словоформой, «строительный материал» для предложения [12, с. 231], или единица строения на уровне распространения предложения [13].

Это, однако, не означает, что не существует сочетаний собственно предложенческого уровня как объединений, возникающих в ходе реализации сочетаемостных потенциалов тех или иных членов предложения (ср.,

например, предикативные сочетания, полупредикативные сочетания обособленного члена предложения и определяемой им словоформы, сочинительные ряды). Хотя словосочетание функционирует в составе предложения, понятия компонента словосочетания и члена предложения не идентичны. Они различаются как по степени абстрагированности выражаемых ими значений, так и по своим синтаксическим потенциям. Компонент словосочетания — это элемент лексико-синтаксической единицы, служащей в языке для выражения непредикативных отношений, возникающих при расчлененном обозначении сложного понятия. Отношения между определяемым и определяющим, естественно, оформляются в языке как отношения грамматической зависимости.

Функционирование словосочетания в предложении обязательно связано с трансформацией словоформ, из которых оно состоит, в элементы более высокого, предложенческого уровня — члены предложения, обладающие и более широкими функциональными возможностями. В составе предложения эти словоформы приобретают ряд признаков, которые не свойственны им как компонентам словосочетания, претерпевают ряд изменений семантического порядка [14, с. 137—143]. Они здесь выступают уже как элементы, участвующие в формировании коммуникативной единицы, и играют неодинаковую роль на различных уровнях членения предложения. Так, на основе собственно предложенческих связей такие словоформы могут стать элементами сочинительного ряда. Например: *Он подарил не родным, а друзьям и знакомым книги, альбомы, видовые открытки, наборы авторучек.* Здесь подверглось трансформации словосочетание, построенное по модели сочетаемости, свойственной глаголам передачи: *подарить кому-либо что-либо*. В результате преобразования возникло осложненное предложение с союзным и бессоюзным сочинительными рядами. В составе предложения зависимая синтаксическая форма может приобрести дополнительное значение. Ср.: словосочетание *здоровый ребенок* и предложение с этим словосочетанием *Здоровый ребенок весел и бодр* (= *Ребенок весел и бодр, если здоров* = *Ребенок весел и бодр, потому что здоров*). Только став второстепенным членом, такая словоформа может вступать в двусторонние связи с разными членами предложения. Ср., например, возможность установления связи зависимой предложной конструкции из словосочетания *симпатии к коммунистам* в *широких народных массах* одновременно с тремя разными членами предложения: «Методами даже самой изощренной пропаганды нельзя сдерживать рост симпатий к коммунистам в широких народных массах» (Правда, 1965, 22 ноября). Данная конструкция связана и с главным членом *нельзя сдерживать* и с прямым дополнением *рост*, и с косвенным дополнением *симпатий*.

При актуальном членении предложения существенной является не сочетаемость слов, а отношения между синтагмами, называемыми синтаксическими группами, в числе которых могут оказаться и группы членов предложения, которые выражены присловными словоформами [14, с. 196]. Ср. роль компонентов словосочетания, образованного глаголом *идти*, в предложении: «Из темного леса навстречу ему/ Идет вдохновенный кудесник» (А. С. Пушкин, Песнь о вещем Олеге). Любой член предложения может быть парцелированным, т. е. выполнять роль дополнительного высказывания. И если даже этот член предложения восходит к зависимому компоненту словосочетания, то и в этом случае речь идет о парцелляции члена предложения, а не компонента словосочетания. Последний не может выступать в функции дополнительного самостоятельного высказывания, так как у него нет базы в виде основного высказывания, какая бывает у парцелированного предложения: *Я купил книгу. Интересную. С иллюстрациями.* Ничего подобного не может произойти со словосочетаниями *интересная книга*, *книга с иллюстрациями*. Итонационное расчленение, например, такого рода: *Книга. С иллюстрациями* — это все-таки расчленение предложения *Книга с иллюстрациями*. Второстепенный член, который обычно выражается присловной словоформой, может быть в соответствии с содержанием и задачами сообщения обособ-

лен. В этом случае на определительные отношения накладываются полупредикативные отношения, не свойственные словосочетанию: «...ее лицо тоже произвольно, *под властью усвоенной привычки*, отзывалось на все переходы ее мимики» (К. Федин, Костер). «Редкий прохожий, с *продовольственным мешком за спиной и с жестяной от керосина*, косолапо шагал по булыжной мостовой» (А. Толстой, Хлеб). Словосочетание целиком может стать обособленным полупредикативным оборотом: «Потом раздался другой голос, *начавший есело песню сначала*» (А. М. Горький, Старуха Изергиль).

Некоторые ученые отмечают, что в составе предложения словосочетания со слабой связью компонентов могут при известных условиях распадаться совсем. Зависимый компонент при этом превращается в свободно присоединяемую словоформу [15]. Трудно признать это положение бесспорным. Но оно все же заслуживает внимания как аргумент в пользу того, что словосочетание под влиянием предложения может претерпевать значительные изменения. Однако, несмотря на существенные различия сочетаемости и функциональных возможностей компонентов словосочетания и членов предложения, и при анализе последних важно учитывать аспект сочетаемости слов, системность и несистемность их связей с другими словами. Это необходимо как для более четкого уяснения распространенного и нераспространенного предложений, так и для более точной квалификации функциональных разновидностей членов предложения.

Из сопоставления зависимого компонента словосочетания и члена предложения как синтаксических форм разных уровней членения следует, что на уровне сочетаемости членов предложения словоформы образуют более широкий диапазон синтаксических возможностей, чем на уровне сочетаемости слов. Они подчиняются «предложенческому» законам сочетаемости. Предложение всегда является информативно достаточной коммуникативно-номинативной единицей. Поэтому в каждом конкретном высказывании употребляется ровно столько компонентов, сколько необходимо для данного сообщения о каких-то ситуациях действительности. Чем распространеннее предложение, тем более богатой и исчерпывающей является передаваемая им информация. Вполне понятно, что ресурсов словосочетания как лексико-синтаксической единицы из-за ограниченных синтаксических возможностей его компонентов явно недостаточно для удовлетворения потребностей предложения в распространении. Например, глагол как господствующий компонент словосочетания может предопределить употребление в качестве зависимых компонентов две, максимум три-четыре соподчиненных неравнозначных словоформы. Следовательно, этими словоформами и ограничится «вклад» словосочетания в распространение предложения, если глагол, например, станет сказуемым. Но коммуникативным заданием может быть обусловлено употребление в данном конкретном высказывании значительно большего количества распространителей. И предложение «справляется» с этой задачей без помощи словосочетания, используя и распространители, не зависящие от какого-то отдельного слова. На эту особенность некоторых второстепенных членов в литературе обращалось внимание, но начало их изучению положил акад. В. В. Виноградов, выдвинувший и обосновавший «новое понимание структуры членов предложения, из которых одни получили статус конститuentов словосочетания, а другие — статус членов, относящихся ко всему предложению» [16]. В. В. Виноградов развивал эту идею, исходя из признания того, что предложение делится на определенные части, называемые членами предложения (главными и второстепенными), что при выделении второстепенных членов следует ориентироваться на возможность функционирования в этой роли не только компонентов словосочетания, но и не входящих в словосочетание словоформ. Необходимо также учитывать, что формальная и семантическая структура предложения являются своеобразной колыбелью для образования как новых членов предложения [17, 18], так и словосочетаний, возникающих на базе объединения члена предложения с детер-

минирующей словоформой [19]. Все это с очевидностью указывает на диалектическую взаимосвязь рассматриваемых синтаксических единиц. Функционирование словосочетания и отдельных словоформ в предложении, отношения и связи между строевыми элементами предложения и словосочетания могут быть объяснены с достаточной долей определенности и достоверности лишь с учетом связи и взаимодействия этих единиц.

Свободное словосочетание на уровне формальной структуры «обслуживает» систему членов предложения либо как средство их выражения, либо как база того или иного функционального типа второстепенного члена. Как средство выражения отдельного члена предложения функционируют так называемые синтаксически неразложимые словосочетания [20]. Функциональные и сочетаемостные возможности этих словосочетаний обусловлены рядом семантических и синтаксических факторов. Одни из них выступают в роли строго определенных членов предложения, например, словосочетания, образующиеся в результате распространения фазисных, полузнаменательных и некоторых знаменательных глаголов, отдельных кратких прилагательных, специализируются на выражении составного сказуемого (*пришел усталый, начал читать, рад помочь, казался усталым, стал летчиком* и под.). Во многих структурных схемах двукомпонентных односоставных предложений имеются словосочетания подобного типа: *запрещается шуметь, много цветов, нужно остановиться* и под. [см. 14, с. 320—334]. В исследованиях, посвященных нечленным словосочетаниям, отмечается, что отдельные их разновидности могут выступать в роли любого члена предложения [20, с. 99]. Но в любом случае эти словосочетания не утрачивают своей принадлежности к системе именно свободных, а не фразеологических сочетаний, так как относятся к создаваемым в процессе речи, а не воспроизводимым единицам и служат для расчлененного обозначения сложного понятия.

Принято считать, что сугубо предложенческой прерогативой словосочетания является его участие в распространении предложения. Не случайно в Русской грамматике-80 с главы «Словосочетание и предложение» начинается раздел «Распространение простого предложения».

Выше было сказано, что словосочетание на уровне формальной структуры предложения может участвовать и в создании, т. е. в построении структурной схемы, основы предложения, нераспространенного простого предложения. Этими возможностями располагают словосочетания, в которых возникают отношения информативного восполнения [14, с. 19]. На семантическом уровне предложения в формирование его основы включаются и словосочетания с объектными отношениями в том случае, если их грамматически господствующий компонент выступает в роли семантического предиката, а зависимый — в роли семантического объекта (*Отец любит дочерей; Центр следит за спутником* и под.). Как видим, ресурсы словосочетания таковы, что оно может быть использовано не только для распространения предложения, но и для создания его структурно-семантической основы. И это следует учитывать при характеристике предложения со стороны как его формального устройства, так и семантической структуры.

В роли распространителей формальной структуры предложения употребляются синтаксически членимые и нечленимые словосочетания. Нечленимое словосочетание может выполнять эту функцию в присловной (*Нас встретила женщина с голубыми глазами*) и неприсловной (*В вихре вальса они не замечали никого*) позициях. По-иному распространяют предложение членимые словосочетания. Диапазон синтаксических потенций господствующего и зависимого компонентов словосочетания различен. Зависимый компонент становится членом предложения, уже будучи нагруженным функцией распространителя слова. Поэтому его функционирование в качестве распространителя предложения, т. е. второстепенного члена, как бы задано, обусловлено этой его ролью. А господствующий компонент может быть и главным членом предложения, и второстепенным. Второстепенным членом он бывает тогда, когда входит в качестве зависимого компонента в сложное (комбинированное) словосочетание или вводит в

предложение словосочетание, целиком выступающее в роли самостоятельного распространителя основы в целом (ср.: *Студенты привыкли к чтению лекций; При чтении лекций преподаватели обращают особое внимание на трудные вопросы курса*).

Отношения между компонентами членимых словосочетаний опираются на их семантику и служат базой для обобщенного значения модели словосочетания (например: *новый дом* — «предмет и его признак»; *строить дом* — «действие и предмет, на который оно распространяется»). А типовые значения ряда таких моделей выступают уже как основа для синтаксических значений более высокого уровня абстрагирования — определенных, аппозитивных, субъектных, объектных, обстоятельственных. Большинство второстепенных членов как компонентов, выделяемых на предложенческом уровне анализа, свойственны синтаксические значения максимальной степени абстрагированности, в которых «обобщаются по функции те разнообразные грамматические отношения, которые обнаруживаются между словами в строе словосочетаний» [12, с. 280]. Так, в основе значения определения лежат атрибутивные или субъектные отношения; например: «...чувствую *новых забот* приближень» (С. Васильев, Нет мне покоя). Значения дополнения базируются на объектных отношениях: «Любовь распускала почки деревьев, сеяла по лугам *цветы*, одевала *травами землю*» (В. Шишков, Угрюм-река). Обстоятельственные типы отношений служат основанием для выделения одноименных второстепенных членов предложения: «*Ярко* вспыхнула заря *на небесах*» (В. Шишков, Угрюм-река). Словосочетания с совмещенным значением служат базой для синкретичных второстепенных членов.

По особой роли распространителей основы предложения или остальной ее части в целом присловным дополнением и обстоятельством противопоставлены детерминирующее дополнение и детерминирующее обстоятельство [21, с. 306]. Например: «*В томленьях грусти безнадежной / В тревогах шумной суеты, / Звучал мне долго голос нежный / И снились милые черты*» (А. С. Пушкин, Я помню чудное мгновенье...); «*Для взора все теперь стало отчетливо и ярко*» (В. Шишков, Угрюм-река); «*На дворе после обеда стоял пеклый жар*» (Н. С. Лесков, Леди Макбет Мценского уезда); «*На душевной прямой основе / Я, словак, лишний раз хочу / О великом российском слове / Мнение высказать москвичу*» (С. Васильев, Русский язык). Функция этих детерминантов устанавливается без опоры на словосочетание с учетом взаимодействия семантики основы предложения и свободно присоединяемой словоформы.

Таким образом, при определении системы членов предложения современного русского языка, понимаемой как противопоставление главных и второстепенных членов с точки зрения наличия — отсутствия ее связей со словосочетанием, выделяются частные оппозиции: главные члены, выражаемые отдельными словоформами, недетерминирующие второстепенные члены (выражаемые зависимыми компонентами словосочетания) и детерминирующие (присловные) второстепенные члены и главные члены, выражаемые нечленными словосочетаниями. Особое место в подсистеме второстепенных членов занимают словоформы с двунаправленными отношениями и те распространители, связи которых хотя и устанавливаются с отдельным членом предложения, но не опираются на категориальные свойства сочетающихся слов [14, с. 143—149].

Учет связей и взаимодействия словосочетания и предложения имеет важное значение для изучения русского языка как в русской, так и в иноязычной аудитории. Исследования последних лет [22, 23] показали, что во многих сферах речевого общения, особенно в научном стиле, роль словосочетаний значительно возрастает. Выступая как строевая единица предложения, словосочетание служит минимальным контекстом, в котором слово реализует единственно необходимое в данном высказывании значение, что весьма существенно при усвоении новых слов. В то же время эта единица является как бы готовой моделью для групп главных членов, для частей, выделяемых на логико-грамматическом уровне, — высшем уровне членов предложения, предопределяющем успех коммуникации

[24]. Это тоже весьма существенно для усвоения языка. Поэтому важную роль в процессе обучения русскому языку в любой аудитории приобретают различные словари сочетаемости слов [25] и особенно наиболее употребительных словосочетаний [см., например, [26], издаваемые сейчас в основном с ориентацией на иностранных учащихся. Совершенно очевидно, что и с методической точки зрения толкование значения слова, правильное его употребление в речи невозможно без учета как лексической [27], так и синтаксической сочетаемости слов [28].

ЛИТЕРАТУРА

1. Фоменко Ю. В. Является ли словосочетание единицей языка? — ФН, 1975, № 6.
2. Моисеев А. И. Некоторые вопросы теории словосочетания. — ФН, 1977, № 2.
3. Тер-Минасова С. Г., Гишвиани Н. Б. Можно ли опровергнуть учение о словосочетании? — ФН, 1977, № 2.
4. Кобрин Р. Ю., Авербух К. Я. Еще раз о словосочетании. — ФН, 1979, № 5.
5. Малащенко В. П. Роль словосочетаний при определении второстепенных членов предложения. — В кн.: В помощь учителю русского языка и литературы. Вып. 2. Ростов-на-Дону, 1958.
6. Фурашов В. И. О второстепенных членах предложения. — РЯШ, 1977, № 4.
7. Рословец Я. И. О второстепенных членах предложения и их синтаксических функциях. — ВЯ, 1976, № 3.
8. Хлебникова И. В. О характере взаимодействия лексической и грамматической семантики в морфологических и синтаксических единицах. — ФН, 1979, № 3, с. 60.
9. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л., 1941, с. 17.
10. Шмелев Д. Н. О значении синтаксических единиц. — В кн.: Инвариантные синтаксические значения. М., 1969, с. 156.
11. Солопова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973, с. 66.
12. Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
13. Шведова Н. Ю. Об основных синтаксических единицах. — В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса индоевропейских языков. Л., 1975, с. 128.
14. Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. М., 1980.
15. Прокопович Н. Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. М., 1966, с. 162.
16. Ломтев Т. П. [Виноградов В. В.] — ФН, 1969, № 6, с. 139.
17. Мигирил В. Н. Процессы переходности на уровне членов предложения. — ФН, 1968, № 2, с. 45.
18. Акимова Г. Н. Новые явления в синтаксическом строе современного русского языка. Л., 1982, с. 32.
19. Шведова Н. Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966, с. 15.
20. Кочинева О. К. Синтаксически неразложимые сочетания. — РЯШ, 1970, № 4, с. 97—100.
21. Современный русский литературный язык. Под ред. Леканта П. А. М., 1982.
22. Лариошина Н. М. Методика работы над словосочетаниями. — В кн.: Методика преподавания русского языка иностранцам. М., 1967, с. 99.
23. Богатырева С. Т., Тер-Минасова С. Г. Проблемы оптимизации преподавания иностранных языков. — ФН, 1982, № 6.
24. Панфилов В. З. Грамматика и логика. М. — Л., 1963, с. 40.
25. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка. Под ред. Денисова П. Н., Морковкина В. В. М., 1978.
26. Тропина Н. И. Некоторые глагольные словосочетания общественно-политического характера (на материале курса «История КПСС»). М., 1980, с. 77.
27. Котелова Н. З. Лексическая сочетаемость слова в современном русском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1977.
28. Сочетаемость слов в вопросах обучения русскому языку иностранцев. Сб. статей под ред. Морковкина В. В. М., 1984.

ОВЧАРЕНКО В. М.

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ СУБСТАНЦИИ ВЫРАЖЕНИЯ В ЯЗЫКЕ

Отражение явлений и фактов действительности языковыми средствами представляется возможным рассматривать как способ их моделирования человеческим сознанием. Языковые построения мышления и коммуникации отвечают понятию модели как «мысленно-представляемой или материально-реализованной системы, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, находясь к нему в отношении гомоморфизма или изоморфизма, способна давать нам информацию об этом объекте» [1]. Логическое осмысление явлений и фактов действительности всегда имеет целью получение информации о них путем языкового моделирования с использованием индивидуального опыта или же опыта других индивидуумов, получаемого посредством языковой коммуникации. Коммуникативная же языковая модель несет информацию о мыслительных процессах в сознании информанта и имеет целью вызвать в сознании реципиента образование мыслительного построения, подобного тому, которое послужило объектом моделирования при создании данной коммуникативной модели. Поэтому языковую модель вообще можно определить как образованное языковыми средствами схематичное построение, отражающее те или иные черты опосредствованного сознанием объекта моделирования и способное создавать или актуализировать в сознании носителя языка соответствующие этому объекту мыслительные процессы, понятия и представления.

Одна из важнейших особенностей моделей вообще и языковых в частности, вытекающая из самой природы модели, состоит в ее направленности на объект моделирования, в четкой ориентированности на определенные его черты, особенности или свойства, отраженные в модели. Выбор этих черт, особенностей или свойств, а также полнота и детализация их отражения определяются назначением модели. С другой стороны, полнота и точность отражения в модели тех или иных особенностей моделируемого объекта ограничены характером средств и способов, применяемых для построения модели, в частности, свойствами материала, из которого она строится. Кроме того, на характер модели существенное влияние могут оказывать индивидуальные особенности создателя или воспроизводителя модели, его знание и понимание объекта моделирования, отношение к объекту или самому процессу моделирования, степень владения способами и средствами моделирования и т. п.

Очевидно, что практически любое осмысленное высказывание на любом языке обусловлено, или мотивировано, соотносительностью с определенным мыслительным содержанием, своим назначением, теми или иными субъективными факторами, влияющими на построение высказывания, и наконец, языковым материалом, использованным для его построения, в частности, языковыми знаками, из значений которых складывается значение всего высказывания [2]. Известная условность высказывания состоит вовсе не в отсутствии «естественной» связи между значением высказывания и цепочкой, репрезентирующих его звуков и даже не только в том, что высказывание является физическим и линейным, а соответствующая мыслительная конфигурация психична и квазипространственна. Высказывание — это отнюдь не воплощенная в звуках телепатограмма, не линейный вариант мысли, а всего лишь ее коммуникативная модель,

отражающая основные узловые точки мыслительного процесса, его смысл и направленность, отличаясь от него по форме и содержанию как модель отличается от объекта моделирования. Именно в этом и состоит условность модели, отнюдь не исключающая наличия у нее внутренней обусловленной связи с объектом моделирования, а, напротив, предполагающая ее, что вытекает из самой природы модели.

Модельный характер языковых коммуникативных построений сказывается и на характере основных значащих единиц языка — языковых знаков и, в частности, звукоподражаний. В «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра им, наряду с междометиями, уделяется особое внимание, что объясняется, несомненно, их явной мотивированностью, четкой ориентированностью на соответствующий неязыковой звук, а это, в свою очередь, опровергает тезис об абсолютной произвольности языкового знака. Со ссылкой на различие звукоподражаний в разных языках (ср. франц. *ouaoua*, но нем. *wauiwaui* «гав! гав!») в «Курсе» утверждается, однако, что звукоподражания до некоторой степени произвольны, поскольку они представляют собой лишь приблизительные и условные имитации определенных звуков [3]. Представляется, однако, что звукоподражания являются именно такими, каковы они есть, вовсе не из-за несовершенства звукоподражательных способностей человека. Известно, что некоторые артистически одаренные личности могут превосходно имитировать самые различные звуки. Но их произведения — это вовсе не языковые единицы, а своего рода дубликаты оригинальных звуков. Языковые же звукоподражания являются языковыми единицами прежде всего потому, что их означающие образованы элементами фонетической системы языка. Отличие же звукоподражаний от соответствующих звуков объясняется не произвольностью, а известной условностью модели, вызванной тем, что ее характер вытекает из целого ряда факторов, лишь одним из которых является ориентированность на объект моделирования [4—5].

При рассмотрении звукоподражаний как языковых моделей неязыковых звуков (или звуков речи, воспринимаемых как физическое явление) отношения между их означающими и означаемыми предстают перед нами как отношения между моделью (означающее) и объектом моделирования (означаемое). Эти отношения определяются в основном теми же факторами, что и в случае коммуникативных образований, а именно: 1) направленностью на объект моделирования — на представление о моделируемом звуке, а через него и на сам звук; 2) назначением звукоподражания, состоящем в том, чтобы актуализировать или создать в сознании носителя языка представление о соответствующем звуке; 3) спецификой фонетической системы языка (в языке закрепляются только звукоподражания, образованные звуками речи данного языка [6]), пригодностью ее элементов для построения моделей звуков; 4) субъективными факторами, влияние которых на характер звукоподражаний проявляется прежде всего при их реализации в индивидуальной речи (в зависимости от назначения звукоподражания и характера индивидуального представления о звуке-объекте при реализации звукоподражания в речи может иметь место его индивидуальная интерпретация, проявляющаяся в варьировании его звукового состава и в особом — подражательном — произношении, что оказывается возможным благодаря ослабленности сигнификативной функции звуков речи в звукоподражательных моделях).

При всей условности звукоподражаний как языковых моделей звуков, опосредствованных представлениями об этих звуках, они имеют с объектами моделирования много общего. Общей для них является прежде всего субстанция, что позволяет утверждать, что в языковом звукомоделировании проявляется взаимодействие субстанции выражения и субстанции содержания. Это тем более справедливо в связи с тем, что в собственно звукоподражаниях звуки речи выполняют не сигнификативную, а моделирующую функцию, и здесь на первый план выступают их акустические свойства, ибо компоненты звукоподражания в их совокупности должны в известной мере соответствовать моделируемому звуку. И хотя звуки речи любого языка весьма специфичны и четко отличаются от звуков неязыко-

вых, они тем не менее оказываются пригодными для построения языковых моделей, способных не только актуализировать в сознании представления о моделируемых звуках, но и формировать такие представления, т. е. обладают информативностью. Так, у детей еще на стадии овладения родным языком звукоподражания, встречающиеся в сказках и телепередачах, служат основой для формирования представлений о многих естественных звуках, большинства из которых они не слышали. И хотя эти представления могут оказаться довольно далекими от реальных звуков, они тем не менее оказываются пригодными для целей языкового мышления и коммуникации.

Эффективность языкового звуко моделирования, проявляющаяся в создании звукоподражаний, способных выполнять свои языковые функции, обеспечивается не только подбором подходящих звуков речи, но также тем, что звукоподражание моделирует и структуру звука — его монотонность или сложность, чередование шума и звучания, долготу и краткость отдельных составляющих, ритмичность и т. п., т. е. воспроизводит акустический рисунок звука. При реализации звукоподражаний в речи их сходство со звуками-объектами может усиливаться подражательным произношением, но и при этом звукоподражание продолжает оставаться языковой моделью, принципиально отличающейся от реального звука, — до тех пор, пока оно состоит из звуков речи. Вместе с тем четкая ориентированность на моделируемый звук и возможность подражательного произношения могут приводить к употреблению в звукоподражаниях аномальных для данного языка сочетаний звуков или способов их произношения, например, аномального их удлинения [7, с. 279; 8].

Способы и приемы моделирования акустической структуры реальных звуков повторяются в различных языках, хотя могут по-разному в них использоваться при моделировании конкретных звуков. Так, монотонность и длительность звучания имитируются долготой одного звука речи или повторяемостью слога. Например, англ. *buzz-z-z*, русск. *ж-ж-ж* (имитация жужжания); франц. *gon-gon-gon* (имитация рычания зверя и звука работающего двигателя, ср. русск. *р-р-р*); англ. *putt-putt-putt*, русск. *тах-тах-тах* (имитация звука работы маломощного двигателя); русск. *та-та-та* (о стрельбе пулемета); нивхск. *чал-чал* (имитация звуков падающих капель), *надрр-надрр* (имитация храпа). Звукоподражания резонирующих, постепенно затухающих звуков обычно заканчиваются на гласный или сонорный, что позволяет имитировать указанную особенность звуков при подражательном произношении. Ср. например, подражания звукам струнного инструмента: англ. *twang, zing*, нивхск. *qayn' qayn'*, русск. *дзинь, трень-брень*, франц. *zon, zinzin*; подражания звуку удара, выстрела, взрыва и т. п.: англ. *bang, boom, whang*, нем. *bums*, русск. *бап! бум!*, франц. *bing, bong, vlam*; подражания колокольному перезвону: англ. *ding-dong*, нем. *bimbambum*, русск. *бим-бом*.

Приведенные примеры показывают, что при всем различии фонетических систем разных языков ориентированность на одинаковые реальные звуки и применение сходных способов моделирования нередко дает близкие, иногда даже акустически совпадающие результаты. Например, из двух английских имитаций мычания коровы (*boo* [bu:] и *too* [tu:]) первое совпадает с венг. *bü*, а второе — с русск. *му-у*. Довольно близкими являются и подражания мяуканью кошки в разных языках; ср. англ. *meow*, венг. *nyau*, русск. *мяу*, укр. *няв*, финск. *pau*, франц. *miau*, чешск. *tlau*. Очевидно, что вероятность большего или меньшего сходства разноязычных звукоподражаний имеется лишь в случае сравнительно простых звуков, хотя и в отношении простоты или сложности звука точки зрения носителей разных языков могут не совпадать. Ср., например, подражания шипению змеи: русск. *ш-ш-ш*, англ. *hiss*, венг. *szisz*, нивхск. *kid'рэ-куд'рэ*. Но чем более сложную структуру имеют разноязычные звукоподражания, тем вероятность их сходства меньше, ибо здесь неизбежно сильнее сказываются факторы, обуславливающие различие разноязычных звуковых моделей, в частности, различие средств моделирования. Кроме того, возрастает вероятность применения разных способов моде-

лирования. Ср., например, русск. *трах-тапарах* и нем. *kladderadatsch* или русск. *кулды-кулды*, англ. *gobbledigook* и франц. *gluglou* (подражание крику индюка).

Предлагаемый модельный подход к рассмотрению звукоподражаний позволяет отказаться от крайних, излишне категоричных точек зрения на эти единицы (возможность или невозможность совпадения разноязычных звукоподражаний [6], способность или неспособность языковых звуков «копировать» или «воспроизводить» звуки естественные [7]). Рассмотрение звукоподражаний как моделей позволяет объяснить как их различие в разных языках, так и случаи близости или совпадения разноязычных звукоподражаний. Первое вытекает из возможности построения множества верных моделей одного явления и обусловлено прежде всего различием средств и способов моделирования, а второе обусловлено общностью объекта моделирования и становится возможным благодаря ослаблению сигнификативной функции звуков речи и возрастанию роли их акустических свойств в звукоподражаниях.

Фактор множественности моделей и ослабление сигнификативной функции звуков речи в звукоподражаниях позволяют объяснить и сосуществование в одном языке различных звукоподражаний, моделирующих одинаковые звуки. Так, например, англ. *blab, bleb, blob, blub, blabber, blobber, blubber, bubble* — близкие по исходному значению звукоподражания, ориентированные на звук, который производит ребенок, пуская пузыри ртом. Показательны в этом отношении распространенные в разных языках повторяющиеся звукоподражания с чередованием отдельных звуков, в которых представлены одноязычные варианты звукоподражаний. Ср. англ. *rumble-bumble* — подражание звукам канонады, нем. *piffpaffpuff* «пиф-паф», франц. *clic-clac, cric-crac* «щелк-щелк», *drelin-drelin* «динь-динь», нивхск. *тулмрулму-тулмрулми* — подражание невнятному глухому бормотанию.

Вопрос о том, в какой мере звукоподражания приближаются к моделируемым звукам, вообще имеет нелингвистический характер, ибо для лингвиста важно не это, а сам факт выполнения звукоподражанием своих языковых функций, что свидетельствует о его эффективности и принятии его данным языковым коллективом. В то же время не подлежит сомнению полная мотивированность звукоподражаний указанными выше факторами, в первую очередь ориентированностью на представление о моделируемом звуке и через него на сам звук. Полная мотивированность звукоподражаний не исключает, а предполагает их условность, вытекающую из самой природы модели и вызванную тем, что языковая модель лишь схематически отражает те или иные черты моделируемого звука, черты, релевантные для данного рода модели.

Все сказанное выше относится к собственно звукоподражаниям — звукомоделирующим языковым образованиям, значение которых заключается в соотносении с представлением о соответствующем звуке. К ним относятся и звукоподражательные междометия типа англ. *oh*, венг. *jaj*, русск. *ox! ай!*, имитирующие естественные звуки, издаваемые человеком. Звукомоделирование имеет место также в процессе заимствования иноязычной лексики, когда означающее иноязычного слова моделируется звуками речи заимствующего языка; однако результирующие лексические единицы обычно не являются звукоподражаниями, ибо их означаемые, как правило, нельзя рассматривать как представления о звуках.

Ослабленность сигнификативной функции звуков речи, образующих означающее звукоподражания, а также недостаточная логическая и грамматическая оформленность означаемого (представления о моделируемом звуке, не относящегося, как правило, к какой-либо грамматической категории) могут вызывать сомнения в языковой принадлежности звукоподражаний, сомнения, прослеживаемые еще у Ф. де. Соссюра [5, с. 101—102]. Именно поэтому, вероятно, звукоподражания зачастую не включаются и в словари. Например, англ. *bleep* «бип» (имитация звукового сигнала радиоэлектронной аппаратуры) попало в словари лишь после

того, как в 1956 г. оно приобрело сразу два обычных лексических значения: как имя существительное («сигнал первого советского спутника Земли») и как глагол («издавать такой сигнал»). Этот пример показателен и в том отношении, что звукоподражания обладают большой словообразовательной активностью: однажды возникнув и, конечно, получив известное распространение в языке, звукоподражание активно включается в словообразовательные процессы, выступая в качестве основы для образования слов с обычными лексическими значениями и оформленное принадлежностью к той или иной грамматической категории. В результате звукоподражания нередко оказываются корневыми основами этимологических гнезд, включающих иногда десятки слов. При этом звукоподражания могут сочетаться не только с обычными словообразовательными единицами, но и с другими звукоподражаниями. Например, англ. *whizbang* «снаряд с высокой начальной скоростью» образовано из двух звукоподражаний: *whizz* — подражание звуку быстро летящего тела, в том числе снаряда, и *bang* — подражание взрыву.

Известно, что в каждом языке с развитым звуко моделированием значительное количество слов происходит от звукоподражаний [см., например, 6—8]. Значения таких слов обычно ассоциативно связаны с первичным звукоподражательным значением по действующим в языке способам переноса значений. Представляется, что формальная и семантическая включенность звукоподражаний в этимологические гнезда и словообразовательные ряды свидетельствует об их языковой принадлежности.

Вместе с тем слова звукоподражательного происхождения или соответствующие звукоподражаниям части слов в ряде случаев в той или иной мере теряют звуко моделирующий характер и перестают быть собственно звукоподражаниями: образующие их звуки речи в полной мере приобретают смысловоразличительную функцию, а моделирующая функция, если не теряется, то ослабевает, в результате чего теряется способность подражательного произношения. Ср. *мя-а-у!* *мя-а-у!* и глагол *мяука́ть*, *кукаре-еку-у!* и глагол *кукарека́ть*. Теряется также вариативность звукового состава, опускаются или изменяются отдельные звуки, слоги и т. д. Ср. *тик-так* и глагол *тика́ть*, венг. *huhu* (подражание крику совы) и соответствующий глагол *huhog*, укр. *nygu* (подражание крику совы) и сущ. *nygач* «сова», чешск. *tlňau* «мяу» и глагол *tlňoukati*, франц. *cric-cric* (подражание треску сверчка), супп. *cricri* «сверчок», но *crisser* «трещать» (о сверчке), *cui-cui* (подражание писку мыши) и глагол *quiquer* «пищать» (о мышках).

Синонимичные звукоподражания или фонетические варианты звукоподражаний при лексикализации зачастую приобретают разные лексические значения. Примером здесь могут служить слова, образованные от приведенных выше синонимичных английских звукоподражаний, ориентированных на звуки, издаваемые ребенком, когда он пускает ртом пузыри; ср. *blab* «болтать» (о чем-либо); «разбалтывать»; «болтун»; *bleb* «волдырь»; «пузырек воздуха» (в воде, стекле и т. п.); «раковина» (в металле); *blob* «капля»; «маленький шарик»; «цветовое пятно»; «делать кляксу».

Очевидно, что с течением времени слова звукоподражательного происхождения могут все более отдаляться от первоначальных звукоподражаний за счет изменения как означающего, так и означаемого. Но до тех пор, пока форма и значения слова сохраняют свою связь со звукоподражанием, оно остается мотивированным, хотя это уже мотивированность иного рода: если звукоподражание мотивировано благодаря тому, что его означающее моделирует означаемое, то обычное слово звукоподражательного происхождения мотивировано уже семантически — благодаря метафорической связи его значения с соответствующим звукоподражательным значением.

В свою очередь такая связь звукоподражаний с обычными лексическими единицами закрепляет звукоподражания в языке, стабилизирует их означающие. Этому способствуют также случаи совпадения звуко-

подражаний по форме с акронимами. Ср. русск. *БАМ* «Байкало-Амурская магистраль» и *бам!* — звукоподражание, англ. *BANG* (Brookling Air National Guard «Бруклинское отделение национальной гвардии BBC») и *bang!* «бах!», «бам!», *HISS* (High-Intensity Sound Simulator «имитатор звуков высокой интенсивности») и *hiss* — подражание шипению. Независимо от того, является ли такое совпадение случайным или преднамеренным, оно неизбежно обуславливает ассоциативную связь акронима с соответствующим звукоподражанием, которое, в свою очередь, способствует стабилизации акронима и обеспечивает его вторичную мотивированность.

Наблюдаемое в звукоподражаниях взаимодействие субстанции выражения с субстанцией содержания позволяет предположить, что при реализации языка в иной субстанции также может иметь место явление, подобное звукомоделированию. Действительно, в письменном языке, реализуемом в графической субстанции, обнаруживается явление формомоделирования (формоподражания), при котором отдельные начертания букв — графы — своей формой моделируют представления о соответствующих неязыковых формах. Простейшие случаи такого моделирования наблюдаются в образованиях типа англ. *A(-shaped) pole*, нем. *A(-förmige) Mast*, франц. *poteau en A* «А-образная опора» (столб); англ. *T-iron*, итал. *ferro a T*, нем. *T-Eisen*, франц. *fer en T* «тавровое железо»; нем. *EI-Schnitt* «жест для сердечников, штампованная в форме букв E и I» (для сборки квадратных сердечников с перемычкой); англ. *E-core*, нем. *E-Kern* «Ш-образный сердечник»; англ. *Y-moth* «совка-гамма» (бабочка с рисунком на крыльях, напоминающим очертания греческой строчной буквы гамма или латинского Y).

Комбинационные возможности графов для моделирования сложных форм ограничены, поэтому в отличие от звуков речи в звукоподражаниях случаи такого комбинирования графов довольно редки. Однако выразительные возможности буквенно-графических моделей могут существенно расширяться лексическими средствами. Ср., например, англ. *deep-U T-shirt* «рубашка с короткими рукавами (*T-shirt*) и глубоким вырезом (*deep-U*)»; *double-U T-joint* «тавровое соединение с двумя криволинейными скосами кромки», *double-V engine* «W-образный двигатель»; *inverted L-antenna* «Г-образная антенна»; *multiple-V belt* «многозарядный клиновидный ремень», итал. *ferro a doppio T*, франц. *fer à T double*, нем. *doppel T-Eisen*, англ. *double-T iron* «двутавровое железо», франц. *fer I à large ailes* «широкополочное двутавровое железо», *fer L à bourrelet* «углобимсовое железо».

Иногда для графического моделирования используются также цифры, как, например, в англ. *figure 8 coil* «восьмерочная катушка» (с поперечным сечением в форме восьмерки).

Применение для целей формомоделирования графических форм письменного языка имеет то преимущество над неязыковой графикой, что при их использовании легко решается проблема их репрезентации в устной речи, ибо графы имеют в звуковом языке постоянные соответствия двух типов: фонетические и номинативные. Так как в графических моделях отдельные графы выполняют не сигнификативную, а моделирующую функцию, то естественно, что в устной речи такая модель репрезентируется не соответствующим звуком, а названием буквы, представленной данным графом. Отсюда и на письме получила распространение вторичная репрезентация графических моделей — номинативная, состоящая в передаче на письме наименования буквы или цифры, а не соответствующей ее формы. Ср. русск. *А-образная опора* и *азовая опора*, нем. *S-Haken*, франц. *esses* и русск. *эсы* (S-образные крючки, забиваемые в торцы бревен); англ. *gamma-type antenna* «Г-образная антенна», *open delta* (электр.-техн.) «открытый треугольник», или «схема V», *wye-delta connection* (электр.-техн.) «соединение звезда-треугольник», *eight connection*, нем. *Achterschaltung* «соединение по схеме восьмерки, восьмерочная схема включения», англ. *figure-of-eight moth* «совка-синеголовка» (ночная бабочка с рисунком на крыльях в виде восьмерки), *zee iron* «зетовое железо»,

«зетовый профиль»; нем. *deltaförmig* «дельтовидный», *Ix-Stoss* (свар.) «Х-образный шов», франц. *suture en form de huit* (мед.) «восьмиобразный шов».

Вторичная графическая репрезентация формоподражаний, как и фонетическая, несколько повышает условность модели, представляя название графемы в целом, тогда как означаемое обычно моделируется лишь одним определенным ее начертанием. Вместе с тем такая репрезентация имеет ряд преимуществ. Во-первых, расширяются возможности использования языковых графических единиц вплоть до знаков препинания: ср. англ. *comma bacillus* «бацилла холеры» (похожа на запятую; *comma* «запятая»), *comma butterfly* «бабочка с белой „запятой“ на нижней стороне заднего крыла»; франц. *noctuelle point d'exclamation* «восклицательная совка» «ночная бабочка с „восклицательным знаком“ на крыльях». Во-вторых, становится также возможным использовать моделирующие свойства букв иноязычного алфавита, не приводя при этом их начертаний. Ср. русск. *дельтовидный*, *дельтаплан*; *система дубль вэ* или *обратное дубль вэ* (система расположения игроков на футбольном поле); англ. *delta wing*, нем. *Deltatragfläche* «дельтовидное крыло»; англ. *gamma*, синоним *Y-moth* «совка-гамма». Кроме того, для языкового статуса графически мотивированных знаков принципиально важен тот факт, что при репрезентации их означающих используются стандартные, закрепившиеся в языке наименования графем. Тем самым преодолевается ослабленность сигнифкативной функции означающих в первичной графической репрезентации, что способствует стабилизации таких образований, их закреплению в языке в качестве полноценных знаков.

По степени языковой оформленности значения, имеющего подобно «чистым» звукоподражаниям грамматически внекатегориальный характер, к собственно формоподражаниям можно отнести главным образом лишь образования типа англ. *T-shaped*, *T-form*, *T-type*, исп. *en T*, итал. *a T*, нем. *T-förmige*, франц. *en (forme de) T*, русск. *T-образный* и т. п. Но уже в таких образованиях, как англ. *T-iron*, нем. *T-Eisen*, франц. *fer T* «тавровое железо», формомоделирующие графы явно выступают в атрибутивной функции и могут быть приравнены к именам прилагательным. В английском, испанском, немецком, французском и некоторых других языках имеется довольно большое количество языковых знаков формомоделирующего происхождения, имеющих четкую категориальную принадлежность и обладающих способностью к словообразованию и формообразованию. Ср. англ. *T*, *tee* «отводка, ответвление» (в электрической сети), *tee off* «делать отводку»; *tee enemy ships* «выводить свои корабли на курсовые углы кильватерной колонны противника»; *sigmoid*, *sigmate* «изогнутый как сигма или S, S-образный»; *V*, *vee*, мн. число *V's*, *vees* (авиа) «строй „клин“»; «V-образный (угловой) вырез»; «V-образная направляющая»; «развал блока цилиндров» (двигателя); (свар.) «V-образная подготовка (разделка) кромок»; *U-shaped* *V* «V-образная подготовка (разделка) с криволинейным скосом двух кромок»; *to vee out* «выплавливать канавку», «разделять трещину вканавку»; *V'ed*, *veed* «разделанный вканавку» (о трещине, подготовленной к заварке); *V-ing*, *veeing* «подготовка (разделка) кромок»; англ. *delta*, нем. *Delta*, франц. *déltà* «дельта» (реки); нем. *Ixe*, *Ichse* «входящее ребро крыши», франц. *S vertical montant* (авиа) «вертикальное S с набором высоты»; *T*, *té* «тройник»; «рейсшина», «T-образная горная выработка»; *Y rouge* (авиа) «красное полотнище в виде буквы Y» (сигнал запрета посадки).

Языковые знаки рассматриваемого типа широко используются в научно-технической терминологии, проникнув даже в международные терминологические нормативы. Ср. англ. *dee* (*cyclotron*); фран. *D*, *dé*, *dee*; исп. *de*, *en D*; русск. *дуант* «циклотрон из двух частей, имеющих в плане D-образную форму» [9]; англ. *conduit tee*, франц. *Té de raccordement de tubes*, нем. *T-Stück*, исп. *To de empalme de tubos*, итал. *Baccordo a T per tubi*, нидерл. *T-stuk*, швед. *T-muff* «ответвительная муфта» [10].

Особый случай представляет употребление в английском языке буквы *x* вместо морфем *cross-* (приблизительно соответствует русской морфеме *крест-*) и *trans-* (*пере-*, *транс-*), в значениях которых присутствует поня-

тие крестообразности и пересечения, а также вместо морфемы *christ-* (*xrist-*), с которой понятие креста связано лишь ассоциативно. Это случаи графических псевдосокращений типа *X'ed- through* вместо *crossed-through* «заштрихованный», *xing* вместо *crossing* «перекресток»; «переправа»; *x-wise* вместо *crosswise* «крестообразно», «перекрестно»; *xmit* вместо *transmit* «передавать» (о радиопередатчике); *xmitter* вместо *transmitter* «передатчик», *Xmas* вместо *Christmas* «рождество», *xtian* вместо *christian* «христианский». Здесь *x* моделирует своей формой не представления о неязыковых формах, а значения морфем, выступая, таким образом, в качестве метазнака.

Формоподражания обладают всеми признаками языковой модели. Они всегда четко ориентированы на объект моделирования, которым может быть общая форма предмета, очертания какого-то его признака или части, разрез или схематическое представление (например, на чертеже) и т. п. Свое назначение — актуализировать в сознании носителя языка представление о соответствующей неязыковой форме или создавать такое представление — они выполняют благодаря прежде всего синэстетической тождественности двух субстанций — субстанции выражения и субстанции содержания: обе они воспринимаются зрительно или осмысливаются как таковые. Языковым материалом для построения графических языковых моделей в языках с письменностью на основе латинского алфавита служат главным образом латинские и греческие буквы, а также цифры и знаки препинания, а в языках с письменностью на основе кириллического алфавита — русские, латинские и греческие буквы и, конечно, цифры и знаки препинания. Что касается букв, то следует отметить, что основой для графических моделей служат обычно заглавные буквы печатного шрифта. Наконец, что касается субъективных факторов, определяющих характер графической модели, то они выступают при выборе варианта самой модели и способа ее репрезентации. Такой выбор, вероятный благодаря ослабленности сигнификативной функции граф в графических моделях, и может быть обусловлен особенностями индивидуального представления о соответствующей неязыковой форме, техническими возможностями передачи графической модели в печатном тексте, степенью закрепления того или иного варианта модели в языке и т. п. Этими же факторами можно объяснить и довольно широко распространенную синонимичность графических моделей, к которой нередко приводит и применение вспомогательных лексических средств, расширяющих выразительные возможности графических моделей. Ср. англ. *gamma (-type) antenna*, синоним *inverted-L antenna* «Г-образная антенна»; *W-arrangement*, синоним *double vee arrangement* «W-образное расположение» (цилиндров двигателя); *open-delta connection*, синоним *V-connection* (электр.-техн.) «соединение открытым треугольником», нем. *krümmer-T-Stück*, синоним *Y-Stück* «тройник с плавными отводами».

Большинство формомоделирующих знаков способны реализоваться в речи в трех репрезентациях: в первичной графической, фонетической и вторичной графической. Из них только первая, представляющая собой определенное начертание буквы, ориентирована непосредственно на означаемое, которое она моделирует. Фонетическая репрезентация, представляющая собой наименование буквы, один из вариантов которой использован в данной модели, имеет уже замещающий характер и ориентирована не на означаемое, а на первичную графическую репрезентацию. И, наконец, вторичная графическая репрезентация, передающая наименование буквы на письме, ориентирована, в свою очередь, на фонетическую репрезентацию и лишь через нее — на первичную графическую. Таким образом, при любой репрезентации (будь то первичная графическая, фонетическая, вторичная графическая или даже передача азбукой Морзе, морским семафором и т. п.) графическая языковая модель остается тождественна самой себе, т. е. графической. Подобно тому, как переданное на письме звукоподражание остается в принципе звукоподражанием (и именно так оно воспринимается при чтении), и формоподражания при любой репрезентации остаются графическими языковыми моделями, т. е.

фактическим означающим в конечном счете оказывается образ соответствующего начертания буквы, моделирующего это представление. Тем самым для графических языковых моделей справедлив тезис Ф. де Соссюра об идеальном характере означающего языкового знака.

Зрительное восприятие тесно связано с языком. Перцептивная деятельность необходимо включает возможность актуализации зрительных образов словесным обозначением объектов [9, с. 238]. Есть основания предполагать, что графические языковые модели, объектами которых являются как раз зрительные образы пространственных форм и которые с точки зрения восприятия реализуются в той же — оптической — субстанции, что и пространственные формы, являются еще более эффективными актуализаторами зрительных образов, чем обычные слова. Кроме того, общие очертания объектов, их контуры и линии, являющиеся основными элементами зрительного восприятия, вообще играют важную роль в перцептивной деятельности [10]. Не случайно именно общие очертания предмета зачастую являются тем характерным признаком, который берется за основу при наименовании предмета. Отсюда очевидно, что языковое графическое моделирование, ориентированное именно на общие очертания, контуры, не могло не возникнуть в языках с высоко-развитой письменностью и что оно будет получать все более широкое распространение.

Графически мотивированные знаки не новы в языках, о чем свидетельствуют хотя бы такие образования, как русск. *ноги ижицей* или англ. *collar of eses* «стюартовский воротник». Но в последние десятилетия они становятся все более популярными и многочисленными, чему способствуют такие их качества, как выразительность и краткость, высокая эффективность и четкая мотивированность, информативность и наглядность. В таких языках, как английский, испанский, немецкий и французский, для формомоделирования используются практически все буквы латинского алфавита и многие греческие буквы, причем отдельные графы (S, T, V и некот. др.) можно найти в десятках наименований в самых различных отраслях знания. Представляется, что это может служить достаточным основанием для того, чтобы эти знаковые образования языка стали предметом лингвистических исследований.

Проведенное рассмотрение двух видов субстанционально-мотивированных языковых знаков — звукомоделирующих и формомоделирующих — свидетельствует о том, что субстанция выражения языка это не только важный функциональный фактор [11], но и не менее важный фактор генетический, который действует и в развитых современных языках. Субстанция выражения, взаимодействуя через сознание носителей языка с соответствующей субстанцией содержания, служит одним из источников пополнения знакового состава языка. При этом в отличие от других способов знакообразования, по которым новые языковые знаки образуются за счет внутренних ресурсов языка или за счет других языков (как это имеет место в случае заимствований), звукомоделирование и графическое формомоделирование пополняют знаковый состав языка за счет внешних, неязыковых источников, обеспечивая тем самым живую связь языка с неязыковой средой. И хотя первичные продукты этих знакообразовательных процессов — собственно звукоподражания и формоподражания — в известной мере аномальны и могут иногда рассматриваться лишь как своего рода переходные единицы от незнаков к знакам [12], они тем не менее являются собственно языковым знаковым материалом, свободно включающимся во внутриязыковые знакообразовательные процессы.

В формомоделирующих образованиях генетически вторичная субстанция выражения языка — графическая, или оптическая — оказывается способной взаимодействовать с означаемым непосредственно, минуя генетически первичную субстанцию выражения языка — звуковую, в результате чего звуковая репрезентация формоподражаний оказывается вторичной, ориентированной на первичную графическую. Представляется очевидным, что в случае формоподражаний, как; впрочем, и звукоподражаний, означающим можно признать только ту составляющую знака, которая

непосредственно соотносится в языковом сознании с означаемым и является его актуализатором. Для формоподражаний это графический образ, а для звукоподражаний — акустический (фонетический). Только такой подход отвечает тому несомненному факту, что в любой репрезентации, будь то фонетическая, графическая или какая-либо иная, языковой знак, а, следовательно, и язык в целом остается тождественным самому себе. В противном случае необходимо было бы считать, что в каждой репрезентации мы имеем дело с разными языковыми знаками и с разными языками, что не отвечает действительности.

Итак, понятие означающего как акустического образа оказывается справедливым лишь для звукоподражаний, а для формоподражаний это будет уже графический (оптический) образ. Представляется, что коль скоро означающее является идеальным образованием и в принципе может быть репрезентировано в речи различными субстанциональными формами, то указание на характер субстанции выражения нерелевантно для его определения. В то же время весьма существенными признаками означающего являются его способность быть репрезентированным в речи и характер отношений с означаемым, сущность которых сводится к тому, что они способны выступать по отношению друг к другу как актуализаторы.

Наблюдаемая в случае звукомоделирующих и формомоделирующих знаковых образований полная обусловленность означающего характером означаемого и другими вышеупомянутыми факторами — с одной стороны, и способность означающего в случае необходимости формировать означаемое — с другой — все это не оставляет места для произвольности отношений между означаемым и означающим языкового знака. Есть все основания утверждать, что понятие произвольности знака просто нерелевантно для рассмотрения данных двух типов языковых знаков, доминирующим свойством которых является мотивированность, понимаемая прежде всего как обусловленность означающего характером означаемого. Таким образом, в случае рассмотренных двух типов субстанционально-мотивированных знаков относительная роль мотивированности и произвольности связи между означаемым и означающим оказывается совершенно противоположной той, которую провозглашал Ф. де Соссюр: мотивированность выступает как доминирующее свойство знака, а произвольность, если она вообще имеет место, оказывается весьма относительной.

Представляется, что распространение предложенного выше понимания означающего на все типы языковых знаков и отказ от некоторых традиционно сложившихся или некритически заимствованных у Ф. де Соссюра принципов анализа знаковых образований языка позволили бы не только выявить реальные свойства языкового знака, но и превратить понятие языкового знака в орудие практического исследования и описания языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Штофф В. Моделирование как гносеологическая проблема. — В кн.: Диалектика и логика научного познания. М., 1966, с. 388.
2. Ибраев Л. И. Надзнаковость языка. — ВЯ, 1981, № 1.
3. Saussure F. de. Cours de linguistique générale. Paris, 1969.
4. Панфилов В. Э. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971, с. 54 и сл.
5. Скаличка В. Исследование венгерских звукоподражательных выражений. — В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
6. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960.
7. Англо-испано-русско-французский словарь по атомной энергии. М., 1960.
8. Международный электротехнический словарь. Группа 15 (Коммутационная аппаратура). М., 1963.
9. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М., 1973.
10. Глузев В. Д., Цукерман И. И. Информация и зрение. М. — Л., 1961, с. 112, 143.
11. Важек Й. К проблеме письменного языка. — В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
12. Овчаренко В. М. Структура і семантика науково-технічного терміна. Харків, 1968.

ШАХОВСКИЙ В. И.

ЗНАЧЕНИЕ И ЭМОТИВНАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА И РЕЧИ

В отечественной лингвистике общепризнанным является положение о влиянии функциональной стороны языка на его организацию и развитие: язык живет и развивается в речи [1, с. 6]. Это положение, как и тезис об онтологическом единстве рационального и эмоционального в мышлении (что находит свое лингвистическое выражение в диалектическом единстве и взаимодействии денотативных и эмотивных аспектов значения) являются отправными позициями в исследовании феномена эмотивной валентности.

Согласно теории психологической базы эмоций, всякая речевая деятельность по своей природе эмоциональна. Другое дело, что эта эмоциональность не обязательно должна быть всегда явной для окружающих. Исходя из тезиса о психологической структуре значения [2], можно утверждать, что семантическая система каждого слова имеет поле, состоящее из всевозможных ассоциаций. Это те самые «тысячи нитей», которыми данное слово связано с другими словами и понятиями (Ш. Балли) и которые формируют его импликационал [3, с. 24, 121] и эмоционал (совокупность сем языковой единицы, соотносящаяся с эмоциями говорящих, которые употребляют данную языковую единицу в эмоциональной речи).

Установлено, что эмотивные семы (далее — эмосемы) могут вступать в разнообразные отношения с денотативными семами [4, с. 82—89]. Так, например, в речевых контекстах денотативные семы могут приобретать иную референтную соотносительность, что приводит к смысловому приращению слова за счет появления в нем эмосем, которые расширяют семантическую валентность слова и, соответственно, границы его семантического согласования, т. к. у него появляется дополнительная, новая, эмотивная валентность.

Семантический процесс перехода сем из одного статуса в другой при формировании эмотивного аспекта значения (коннотации) слова на базе метафорического переноса [5] можно схематически показать на примере предикатного ЛСВ₂ слова *vegetable*, который прошел сложный путь формирования [6, с. 56]: замена классемы и архисемы у ЛСВ₁ («овощ»), ослабление дифференциальных сем, отражающих родовые особенности слова, актуализация потенциальной семы «пассивность», которая в предикатном ЛСВ₂ («нехороший человек») приобретает ранг дифференциальной и вводится в семантический фокус интенционала. На этой ступени в импликационале ЛСВ₂ «возбуждается» сема качественной характеристики, т. е. оценочная сема, маркирующая это значение отрицательным знаком, а в эмоционале появляются (актуализируются) сема экспрессивности (образности) и эмосема, которая обуславливает в данном слове появление эмотивной валентности. Эта валентность и объясняет структуру предложений типа: *He is a vegetable*. Ср.: «Я уже многоуважаемый шкаф, а ты еще можешь что-то сделать» (А. Крон, Бессонница).

В теории валентности слова аксиоматичен тезис, согласно которому первичным соединительным звеном между стыкующимися смыслами сочетаемых языковых единиц являются семы. В этом плане и говорят о семантическом уровне валентных отношений [7, с. 147, 152]. Этот тезис, как предполагается, справедлив не только для денотативного аспекта значения, в сфере которого он был выведен и получил подтверждение, но

и для коннотативного (эмотивного). Предполагается, таким образом, что каждое слово в потенции может иметь эмотивную валентность, значимую для его сочетаемости с другими словами. М. Д. Степанова и Г. Хельбиг подчеркивают тесную связь между валентностью и семным составом слова. Полагаем, что этот тезис справедлив и для эмотивной валентности, формируемой виртуальными или актуальными эмосемами языковых единиц.

Целью данной статьи является исследование эмотивной валентности, ее лингвистическое обоснование и выявление коммуникативной значимости. Под эмотивной валентностью понимается способность данной лингвистической единицы вступать в эмотивные связи с другими единицами на основе явных или скрытых эмосем и, тем самым, осуществлять свою эмотивную функцию. Идея эмотивной валентности является дальнейшим развитием тезиса о закономерности эмоционально-экспрессивного и экспрессивно-стилистического согласования языковых единиц в речевой цепи [8, 9].

На данном этапе исследования эмотивной валентности мы исходим из предположения, что среди составляющих компонентов значения лингвистических единиц имеются эмосемы. Достаточно наличия в значении языковой единицы всего лишь одной из них, пусть даже скрытой, чтобы эта единица в потенции имела возможность когда-то ее реализовать, и потому такая единица характеризуется как эмотивно валентная. Эта валентность объясняет, с одной стороны, всякие «неожиданные», оригинальные, даже «невероятные» сочетания, типа русск. *тоска зеленая*, *желтенькая жизнь*, англ. *hair-butcher* «парикмахер», *nut-doctor* «психиатр». А с другой стороны, она объясняет тот факт, что некоторые сочетания, возможные на логико-семантическом уровне, оказываются невозможными на коннотативном из-за не стыкующихся друг с другом эмосем. Например, словосочетание *половодье войны* противоречит кругу ощущений, закрепленных в русской поэтической традиции, и является примером «авторской глухоты» к коннотативным нормам сочетаемости. А вот еще один пример из того же автора — поэт И. Лепина — «певцу (петуху). — III. В.) хозяйка порешила горло» (ЛГ, 1982, 27 янв.). Коннотативный аспект значения слова *порешить* указывает на неестественность его сочетания со словом *горло* (ор. *порешить* «окончить дело»: *на том и порешили* «согласились»). Нередко, однако, эта неестественность сочетаний ослабляется стилистической намеренностью.

Словари новых слов и значений [10] отмечают бурный рост образований с префиксом англ. *anti-* (русс. *анти-*). Сравнение Материалов Большого англо-русского словаря и Дополнения к нему обнаружило, что к 80 уже имевшимся в английском языке дериватам с этим префиксом до 1963 г. добавилось более 40 новых. Корпус английских неологизмов с инвариантным значением «that which rejects or reverses the traditional characteristics of», которое вычленено из дериватов с *anti-*, включает следующий набор денотативных варьирующих сем: «destroy, oppose, reduce, eliminate, prevent; antagonistic, hostile, combat, counteract, directed against, an opponent of, counterpart to/of; discourage, reject». Способом вертикальной конверсии из этого префикса в современном английском языке образовано самостоятельное слово *anti*, имеющее стилистическую помету «разг.» в значении «оппозиционер, оппозиционно настроенный человек» и помету «жарг.» в значении «противоракетный снаряд». Аналогичный процесс вертикальной конверсии (эмотивной лексикализации) произошел и с префиксами *super-* и *ex-*. Например: «Randy Shepherd isn't my husband. He is my ex» (R. Macdonald, The Goodbye look).

При такой лексикализации в семантике деривата появляется эмосема, открывающая у него и у самого префикса эмотивную валентность, которая позволяет «расшатывать» нормы их сочетаемости, и тогда появляются такие эмотивно окрашенные дериваты, как в примерах, приводимых ниже: «The antihero, the antiplay and the antitheatre production... seems to set up an antiaudience» [10, с. 42], «Почему вернулся Неруда из Парижа, который он так любит? Когда я спросил его, что случилось, он ответил: „Я — антикрыса“. Я тогда не сразу сообразил. Теперь я пони-

маю. Это же очень просто... Крысы бегут с тонущего корабля, а Пабло вернулся на корабль» (Е. Евтушенко, Ягодные места). Эти и им подобные случаи эмотивно-оценочно-экспрессивной номинации могут быть объяснены эмоциональным намерением говорящего и употреблением эмосем в значении их непосредственно составляющих. Аналогично эмосема за счет функционального фактора, актуализуясь в предложном слове *при*, «разрешает» эмотивно окрашенные словосочетания, например: «Она вовсе не походила на категорию девочек „п р и“ — п р и актерах, п р и писателях, п р и спортсменах, п р и космонавтах» (Е. Евтушенко, Ягодные места). Здесь этот предлог выполняет функцию эмотивного префикса.

В принципе, если возможно эмоционально-оценочное отношение человека ко всем предметам окружающей действительности, то из этого следует, что в значении слов, называющих эти предметы, имеются такие микрокомпоненты, которые по необходимости через сложную систему переходов могут трансформироваться в эмосемы. Как показывают лингвистические исследования, значение не имеет жестких и четких границ [3, с. 23—24], семантическая система слова может видоизменяться и охватывать огромное множество ситуаций и контекстов, в том числе и эмоциональных (Э. С. Азнаурова, М. В. Никитин, В. Н. Телия, Д. Н. Шмелев и др.).

Рассмотрим подробнее несколько примеров, показывающих, как эмосемы могут становиться превалирующими в значении слова и потому актуализирующими эмотивную валентность единицы. Пример 1. Дано два понятия: 1) «дом небольшого размера» и 2) «домик» (приятный, хороший, т. е. дом, который нравится). Статистически доказано, что для выражения первого понятия слово *house* будет сочетаться с прилагательным *small* или другими его нейтральными синонимами, передающими значение объективной малости, а для выражения второго понятия — с прилагательным *little*, передающим значение эмотивной оценки. В значении слова *house* имеется потенциальная сема размера. Сема размера представлена также и в значениях прилагательных *little* и *small*. Категория размера, как известно, оценочная, поэтому во всех рассматриваемых единицах имеется и потенциальная сема оценки. В словосочетании *small house* объединяются семы размера и семы объективной оценки. А в случае *little house* на базе сем размера сочетаются семы эмотивно-субъективной оценки. Дифференциальная эмосема, закрепленная в одном из ЛСВ *little*, индуцирует потенциальную эмосему у слова *house*, открывающую у него эмотивную валентность.

Пример 2. Рассмотрим английское сочетание *nice house*. Наблюдения показывают, что аналогичные сочетания с эмотивно-оценочными прилагательными невозможны с прилагательным *small*. Сочетание **small nice house* не отмечено в текстах (обычно *little nice house*). Таким образом, можно констатировать, что именно наличием эмосемы в значении *little* объясняется тот факт, что если перед определяемым существительным уже стоит одно или несколько эмотивно-оценочных прилагательных, в семантике которых тоже имеется эмосема, то «срабатывают» избирательная и притягивающая функции этих сем: семантически солидарные, в данном случае эмотивные, семы «притягиваются» друг к другу и открывают эмотивные валентности этих трех единиц, позволяющие им соединиться. Ненужные для данной речевой ситуации семы «погашаются» (нейтрализуются) и не вовлекаются в работу.

На вполне естественный в данном случае вопрос: почему же у *small* не индуцируется эмосема и не открывается эмотивная валентность, если потенциально это возможно для всех единиц языка, ответом мог бы быть известный для лингвистов закон дистрибуции М. Бреаля. Другими словами, эмотивная валентность языковых единиц оказывается точкой пересечения ряда регулирующих закономерностей, запрещающих (разрешающих) ее актуализацию в той или иной речевой ситуации.

Пример 3. Ср. сочетание *salad days* в значении «the happy days of one's youth», «days of careful inexperienced youth» («My salad days when I was green in judgement...» (W. Shakespeare, Anthony and Cleopatra)

с его значением «hot summer days when you enjoy eating fresh cool salad» [11 с. 269]. При употреблении в переносном значении слово *salad* «открывает» эмотивную семантическую валентность, которая из потенциальной ингерентной становится актуальной. У слова *day* эмотивная валентность — адгерентная, вызванная извне.

Благодаря эмотивной валентности происходит дифференциация сочетаний единиц языка и на морфологическом уровне. Ср.: *girl* / *like*, *girl* / *ish*; *women* / *like*, *woman* / *ly*, *woman* / *ish*. Эти три суффикса синонимичны по семе «подобие». Но у *-like* и *-ly* эта сема нейтральна, а у *-ish* она эмотивно окрашена, т. е. слита с эмосемой отрицательного оценочного знака. Поэтому дериваты *woman* / *like* и *woman* / *ish* имеют различные сигнификаты: «факт подобия» в первом случае и отрицательное эмоциональное отношение к «факту подобия» во втором. Употребление того или иного деривата, таким образом, зависит от намерения говорящего: констатация факта или эмоционально-оценочное отношение к нему. Это различие отражено в различной форме слов, иначе говорящие не дифференцировали бы их. Сочетание морфем *girl-*, *woman-* с суффиксом *-ish* можно объяснить, вероятно, тем, что в их семантических системах имеются потенциальные эмосемы, которые, сочетаясь с эмосемой суффикса *-ish*, тем самым открывают эмотивные валентности этих морфем. В случаях с *-like* и *-ly* эта валентность у морфем *girl-* и *woman-* не реализуется, т. к. здесь ведущей является денотативная сема подобия, согласующаяся не с эмотивными, а с денотативными семами валентностных партнеров.

В сфере эмотивной валентности весьма распространено семантическое явление, дополнительно влияющее на сочетаемость языковых единиц. Так, эмосемы ряда суффиксов (*-y*, *-ling*, *-nik* и др.) соотносятся с двумя полярными зонами шкалы эмоциональных оценок. Ср.: *soft* / *ling*, *hire* / *ling*, *weak* / *ling* и *child* / *ling*, *dear* / *ling*; аналогично: *daft* / *y*, *smart* / *y*, *soft* / *y* и *aunt* / *ie*, *bird* / *ie*; подобным же образом *beat* / *nik*, *jazz* / *nik*, *protest* / *nik*, с одной стороны, и *goodwill* / *nik*, с другой, где выделенные суффиксы реализуют в разных дериватах полярную (амбивалентную) эмотивность. Следовательно, имея в потенции эмотивную амбивалентность, эти суффиксы с разными валентностными партнерами варьируют свою эмотивную валентность по типу оценочного знака. Аналогичное явление наблюдается и на лексико-семантическом уровне языка. Ср.: 1) *little nice girl* «хорошенькая девчужка» и 2) *little lousy girl* «гнусная, отвратительная девка». Предметно-логическую сему малости у прилагательного *little* сопровождают амбивалентные эмосемы: эмосема₁ — «хорошенький, миленький» (т. е. эмосема положительной оценки — восхищение, одобрение) и эмосема₂ — «жалкий, презренный» (т. е. эмосема отрицательной оценки — неодобрение, осуждение). В семном наборе прилагательного *nice* имеется эмосема с положительным оценочным знаком, а в семном наборе прилагательного *lousy* эмосема с отрицательным оценочным знаком. Значение существительного *girl* виртуально имеет нулевой оценочный знак, а потенциально это существительное имеет и положительную, и отрицательную эмосемы, т. е. оно в потенции амбивалентно.

Сочетание эмосем в рассматриваемых двух случаях варьирует так, что оценочный знак у эмотивности «семантического выхода» зависит от типа эмотивной валентности контактного атрибутивного компонента *nice*, *lousy*. Эмосемы этого компонента индуцируют в каждом из рассматриваемых случаев адекватную себе эмосему у субстантивного компонента (*girl*). В зависимости от типа знака у эмосемы контактного атрибутивного компонента согласующиеся с ним виртуальные или актуальные эмосемы дистантного атрибутивного компонента и субстантивного компонента словосочетания реализуют в разных случаях только один вариант своей эмотивной валентности. При этом эмотивная валентность контактного атрибутивного компонента выступает в качестве селектора, отбирающего у слов согласующиеся семы и сочетающего их. Она же выступает и в качестве диагностирующей: в семантике словосочетания (на выходе), как уже отмечалось выше, мы получаем соответствующий вариант положительного или отрицательного оценочного знака.

Амбивалентность эмосем выявляет несоответствие между лексической и семантической валентностями, как и полисемия. Ср.: *poor, man* «бедный в материальном отношении» (объективный признак — отсутствие денег), *poor, man* «бедный, т. е. несчастный, жалкий, и потому вызывающий сочувствие» (приписываемый признак), *poor, man* «жалкий, т. е. презренный, ничтожный, и потому не вызывающий сочувствия» (приписываемый эмотивно-субъективный признак, что нередко указывает на полный отрыв значения от денотата).

В этих сочетаниях одна лексическая валентность реализует три семантических: одну предметно-логическую и две эмотивных, которые варьируют свой оценочный знак, т. к. основаны на противоположных качествах эмосем — носителей эмотивных валентностей в слове *poor*. Значение (набор сем) слова *man* не препятствуют такому варьированию, т. к., очевидно, имеет среди своих потенциальных сем и эмотивные, согласующиеся с эмосемами его семантического партнера.

Варьирование знака эмотивной валентности наблюдается не только на внешне одинаковой (*poor man*), но и на различной лексической сочетаемости. Так, в *poor boy* «бедняжка» у слова *poor* реализуется сема сочувствия, т. е. положительной эмотивной оценки: *poor opinion* «скромное, жалкое мнение» (сема отрицательной эмотивной оценки, слабой интенсивности, связь с денотатом слабая, но сохраняется), *poor ten shillings!* «Какже-то жалкие, презренные 10 шиллингов!» (реализуется усиленная субъективная эмотивно-отрицательная оценка, что указывает на полный отрыв значения от денотата, т. к. выражается только эмоциональное настроение говорящего).

Эти примеры говорят о том, что семные наборы валентностных партнеров эмотива *poor* не безразличны для реализации конкретного варианта его эмотивной валентности и что эти сочетания возможны благодаря различиям в типах потенциальных эмосем.

Рассмотренные факты сочетаемости показывают, что единицы языка реализуют свою эмотивную валентность и ее варианты по типу оценочного знака и степени интенсивности как в пределах одной, так и в пределах разных лексических валентностей.

Контекстологи отмечают, что нейтральные слова в определенных контекстах могут «приобретать» эмотивное значение из контекста. Поведение слов в речи указывает на то, что каждое слово — это сложная многоярусная семантическая система, только часть компонентов которой знают все носители языка (инвариантная часть). Ее вторая часть — вариантная — известна разным носителям языка (личностное, индивидуальное знание значения). Кроме этого, в семантике языковых единиц имеются потенциальные семы, которые и составляют перспективу смысловых приращений слова. В таком понимании появление нового оттенка значения или нового значения у языковых единиц — это фактически актуализация, экспликация потенциальных сем данной языковой единицы под воздействием внешних факторов, в том числе и с помощью процесса индуктирования. «Попадание» новых сем в семантическую систему данной единицы надо, видимо, понимать диалектично, а не в физическом смысле: сема X из единицы₂ не переносится в единицу₁, не исчезает из нее при их сочетании, а вызывает к жизни, т. е. индуцирует в единице₁ тождественную себе сему. Другими словами появление актуального значения (оттенка) у той или другой единицы мотивируется семантической системой самой единицы: оно не возникает, а лишь обнаруживается в результате взаимодействия этих единиц.

Роль контекста в этом процессе сводится к экспликации, т. е. к «обнародованию» эмотивных смыслов. Вот почему в результате сочетания единиц, ранее никогда не встречавшихся в речи, оказывается, что получившиеся комбинации мотивированы своими непосредственно и предельно составляющими семами, например: англ. *engineer-drain, horrorama*, русск. квартира-распапонка, и др. Новые, полученные от этих сочетаний эмотивные смыслы, оказываются извлеченными из «мутной семантической среды индивидуальных представлений» [12, с. 149] и из значения

сочетаемых единиц, вербально обозначающих эти индивидуальные представления. Поэтому со «всплытием» потенциальной эмосемы у лингвистической единицы открывается и эмотивная валентность. Примеры сочетаний непредсказуемых и потому, как правило, эмотивных за счет некодированных денотативно-референтных соотношений указывают на тесную взаимосвязь эмотивной валентности и сочетаемости языковых единиц. Сочетания типа: русск. *заякают листья*, *мокроглазить*, англ. *talkative glass*, *eggless affair*, *a looker-forward-toer* возможны только благодаря потенциальной эмотивной валентности их компонентов. Но, появившись в речи и сделав заявку о новой валентности, эти сочетания могут «провоцировать» новые сочетания своих компонентов по принципу аналогии. Это, на наш взгляд, и служит объяснением серий окказиональных эмотивных единиц. Поэтому нельзя категорично утверждать, что в принципе невозможны дериваты типа: *housish*, *tablish*¹ (подобно *girlish*) или словосочетания: *frying pan of city (summer) job* (подобно *frying pan of life*).

Потенциальные эмотивные валентности языковых единиц делают, как следует из изложенного, возможными их окказиональные сочетания как на уровне слов, так и на уровне их элементов (морфем). В этом смысле можно говорить об относительно бесконечной эмотивной валентности. Методологическое подтверждение данной мысли находим в тезисе о бесконечности мышления, отражающего бесконечность окружающей нас действительности, и вытекающее из этого тезиса предположение о бесконечной смысловой валентности [13, с. 6—8]. Эмотивная валентность в описанном выше плане является бесконечной, т. к. бесчисленны типы эмосем, отражающих бесчисленные виды сиюминутных эмоций и их градаций по степени интенсивности, которые мотивируются ситуативным контекстом и индивидуальностью говорящего. Таким образом, мотивирующим фактором создания неожиданных сочетаний языковых единиц является эмоция говорящего. Созидательная сила языка как раз и состоит в «порождении нового смысла в соответствии с конкретным опытом и прагматическими условиями коммуникации» [14, с. 59]. Отсюда и роль индивидуального знания семантических возможностей слова и лингвистической смелости в их реализации.

Существование отрицательных импликационалов [3, с. 124], которые все являются эмотивными (ср. русск. *поморгал ноздрями*, *крик заплевывал*, англ. *melancholy grandeur*, *a damned saint*), может навести на мысль, что эмотивная валентность полностью расшатывает нормы сочетаемости, сметая все ограничения и отменяя понятия нормы. Это далеко не так. На денотативном уровне все факторы, нормирующие сочетаемость единиц, остаются в силе, а на коннотативном (эмотивном) в одних случаях они ослаблены, а в других сама коннотация указывает на их аномальность, т. е. является запрещающим фактором или указывает на эмотивный характер словосочетания: англ. **nice small house*, **lovely possessor of his heart*, русск. **половодье войны*, **порешить горло*, **такое нежное время в текущем бюджетном году* и др. Сколько бы нормы сочетаемости ни расшатывались, имеется порог, за пределом которого некоторые сочетания остаются невозможными.

Итак, проведенное исследование позволяет в рабочем порядке заключить следующее.

1) Среди различных типов валентностей языковых единиц необходимо выделять эмотивную валентность как вариант семантической валентности, т. е. как одну из внутрисистемных предпосылок успешной коммуникации. В большинстве языковых единиц английского языка эта валентность является потенциальной.

2) Актуализация эмотивной валентности происходит через «неожиданные», т. е. непривычные для рамок стандартного кода сочетания, а также через сочетания, в которых один или более валентностных партнеров является эмотивом или когда все они — эмотивы. Устанавливаются три «этажа согласования» эмосем: первый — морфемный, второй — словесный, третий — фразовый. Известно, что и на уровне предложений и текста имеет место эмоционально-экспрессивное согласование, что, видимо,

позволяет говорить о нем как об одной из закономерностей эмотивной прагматики.

3) Потенциальная эмотивная валентность может выступать смыслообразующим фактором и, соответственно, фактором расширения зоны сочетаемости единиц языка.

4) Как показало исследование [15], можно говорить о нескольких планах варьирования эмотивной валентности: а) по типу оценочного знака эмотивности: плюс, минус, амбивалентность (плюс и минус); б) по характеру семантики эмоций в пределах каждого знака: плюс (сочувствие, ласка, нежность и др.), минус (уничтожение, презрение, злость и др.); в) по степени интенсивности эмотивной оценки: слабая, средняя, повышенная, чрезмерная.

5) Эмотивная валентность — важнейший компонент вероятностной системы семантики языковой единицы и наряду с другими потенциальными характеристиками формирует общее поле номинационного потенциала слова и словосочетания. Отсюда логичен вывод об участии эмотивной валентности в эмотивно-оценочно-экспрессивной номинации.

6) Наличие в семантической системе языковых единиц эмотивных смысловых компонентов, эмотивных валентностей, обусловленных этими компонентами, и эмотивной функции, реализующей эти валентности, убедительно указывают на существование эмотивного слоя семантики языка. В данном плане дальнейшее исследование эмотивной валентности может выявить лингвистический механизм речевого феномена «ожидаемая норма ↔ неожиданная сочетаемость».

Объяснением предлагаемой концепции относительно бесконечной эмотивной валентности языковых единиц может являться то, что любой естественный язык — это нечеткая и динамическая система, состоящая из нечетких объектов и их совокупностей и развивающаяся в процессе речевой деятельности. Эта нечеткость обнаруживается в языковом механизме перехода словарного значения в текстовое, когда реализуются в данном контексте не только определенные семы и валентности, уже заложенные в словарном значении, но и практически ничем не ограниченные метафорические сдвиги, выводящие актуальный смысл за пределы границ словарного значения [16, с. 157—189].

Таким образом, потенциальная бесконечность и открытость языковых значений, которые обусловлены динамичностью и метафоричностью языка и бесконечностью человеческого мышления, являются базой для бесконечных смысловых валентностей, в том числе и эмотивных.

ЛИТЕРАТУРА

1. Панфилов В. З. Философские проблемы языкознания. М., 1977.
2. Семантическая структура слова. Под ред. Леонтьева А. А. М., 1971.
3. Никитин М. В. Лексическое значение слова. М., 1983.
4. Sachovskij V. I. Zur linguistischen Analyse von Konnotationen. — In: Wissenschaftliche Zeitschrift. Pädagogische Hochschule Ernst Schneller Zwickau, 1982, Hf. 2.
5. Азнаурова Э. С. Очерки по стилистике слова. Ташкент, 1973, с. 263, 275, 281, 301 и др.
6. Заботкина В. И. Образование новых предикатных лексико-семантических вариантов существительных в современном английском языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Минск, 1979.
7. Степанова М. Д., Хельбиг Г. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке. М., 1978.
8. Гак В. Г. Проблемы лексико-грамматической организации предложения: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1967.
9. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1969.
10. Barnhart dictionary of New English since 1963. New York, 1973.
11. Wood F. Dictionary of English colloquial idioms. London, 1979.
12. Арутюнова Н. Д. Языковая метафора. — В кн.: Лингвистика и поэтика. М., 1973.
13. Лосев А. Ф. О бесконечной смысловой валентности языкового знака. — ИАН ОЛЯ, 1977, № 1.
14. Колшанский Г. В. Контекстная семантика. М., 1981.
15. Шаховский В. И. Эмотивный компонент значения и методы его описания. Волгоград, 1983.
16. Пиотровский Р. Г. Инженерная лингвистика и проблемы «искусственного интеллекта». — В кн.: Лингвистические проблемы «искусственного интеллекта» (сб. научно-аналитических обзоров). М., 1980.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

КАТЛИНСКАЯ Л. П.

К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИЯХ ОПИСАНИЯ В СИНХРОННОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ

Выделение словообразования в самостоятельную лингвистическую дисциплину было обусловлено необходимостью теоретически осмыслить явления синхронного словообразования. Активность научной мысли в этой области стимулируется обилием языковых фактов, которые получают отражение, в частности, как неологизмы нашего времени в словарях новых слов. Такого рода словари создаются под естественным давлением языковой ситуации. Особенность этой ситуации в современном обществе — небывалая активизация процессов словопроизводства в языке.

Основной интерес исследователей синхронного словообразования сосредоточен сегодня на том, чтобы выработать достаточно строгую и непротиворечивую теорию описания этих процессов. Работы по этой проблеме, в частности в русистике, вряд ли возможно просто перечислить. Достаточно сказать, например, что только в последнем Обзоре по русскому словообразованию [1] представлены 224 названия работ, «знакомство с которыми авторы считают необходимым для специалиста» [1, с. 3].

Несмотря, однако, на многочисленность исследований в целом, по мнению авторов фундаментальных работ этого направления в русистике, проблема имеет «белые пятна» как в части вопросов, которые еще не поставлены, так и в части непротиворечивых решений ряда вопросов, давно поставленных и неоднократно дебатировавшихся [см. об этом 2—4].

Автор настоящей статьи ставит своей целью показать конструктивные возможности программно-целевого подхода при описании активных процессов в русском словообразовании.

Исследовательская задача при таком подходе решается с использованием метаязыковых понятий словообразовательного типа и словообразовательной модели. Определение этих понятий в статье отгиается от традиционно принятого (см. Граматику-80), хотя положенное в основу их трактовки соотношение регулярности и продуктивности понимается в духе сложившейся традиции.

Из всех известных точек зрения на регулярность и продуктивность в лексико-грамматических системных взаимодействиях нашему собственному пониманию предмета больше всего соответствует взгляд, представленный в работах Д. Н. Шмелева и Н. Д. Арутюновой.

О регулярности как тенденции в лексических и словообразовательных отношениях Д. Н. Шмелев пишет, в частности, во Введении коллективной монографии, где описываются способы номинации в русском языке [5]. В изложенной здесь точке зрения понятие регулярности связывается с понятием «потенциальной данности» определенной формально-содержательной единицы словарного состава. Рассматривая процесс «обрастания» (с течением времени!) новообразованиями разряда существительных, обозначающих детенышей животных, Д. Н. Шмелев пишет: «Любое из подобных образований может оказаться для говорящего на русском языке „встреченным впервые“, но в то же время оно не вызывает, как правило, сомнений в своей правомерности, в том, что оно „потенциально дано“ в самом языке, несмотря на то, что практически почти не употребляется в речи» [5, с. 15]. Противопоставляя, таким образом, «потенциальную дан-

ность» регулярного производного слова в языке возможности его употребления в речи, Д. Н. Шмелев подходит, как нам кажется, к той естественной границе, где лексические характеристики регулярной производной единицы словарного состава исчерпываются. Дальше необходим переход в область формально-семантических характеристик собственно словообразования. Определяющим критерием таких характеристик служит продуктивность модели, по которой регулярно образуются новые слова, и именно понятие продуктивности оказывается стержневым в теоретической разработке проблем синхронного словообразования Н. Д. Арутюновой [6].

Усматривая в продуктивности конституирующий признак системы словообразования вообще, Н. Д. Арутюнова пишет: «Система может включать только продуктивные конструкции, образующие открытые ряды» [6, с. 33]. Для выявления объекта исследования в словообразовании признается необходимым разграничивать факты словообразования и морфемной структуры производного слова. Словообразование как наука «устанавливает системные отношения, регулирующие создание новых лексических единиц» [6, с. 41], при этом единственным объектом изучения в синхронном словообразовании должны считаться «типы, по которым моделируются новые слова» [6, с. 42].

Исходя из вышеизложенных принципов теоретического определения понятий регулярности и продуктивности, считаем целесообразным выделить на их основе категории словообразовательного типа и словообразовательной модели, которые, на наш взгляд, позволяют построить непротиворечивую и адекватную систему описания активных процессов словопроизводства.

Словообразовательный тип. Понятие словообразовательного типа обращено к лексической стороне словообразования. Оно отражает явления (и факты) словопроизводства со стороны их лексической, ономастологической и функциональной обусловленности. Опираясь на понятие словообразовательного типа, мы рассматриваем словообразование как динамический процесс пополнения словарного состава. Постоянным стимулом этого процесса служит потребность в новых наименованиях и в новых способах манифестации каких-либо значений. Эта потребность является естественным, имманентным свойством самого языка как функционирующей системы, способной «репрезентировать всю полноту познавательного содержания, добытого человеком в практической и теоретической деятельности» [7].

Вместе с тем в рамках словообразовательного типа могут быть описаны и объяснены с точки зрения причинных взаимодействий как регулярные способы манифестации вторичных (словообразовательных) значений, так и факты «выпадения» из регулярных рядов, поскольку сама регулярность/нерегулярность внутри словообразовательного типа предопределена лексическими взаимосвязями, характер которых применительно к конкретным словопроизводственным фактам может проявляться по-разному.

Сравнивая, например, словообразовательно и семантически однородные прилагательные *безрукий* (неумелый) и *бессердечный* (жестокый), мы фиксируем разницу во взаимодействиях их словообразовательного значения с лексикой в ее системной организации. Так, значение слова *безрукий* оказывается соотносительным со связанным значением слова *руки* в идиоме *золотые (хорошие) руки*. Из этого следует, что словообразовательное значение производного слова находит соответствие в системных лексических связях и ими обусловлено. Регулярность этой связи в пределах словообразовательного типа поддерживается открытым рядом относительных прилагательных *безрукий* (в прямом номинативном значении), *безногий*, *безухий*, *безбилетный*, *безнарядный* и т. д. и закрытым рядом качественных прилагательных *беззубый* (тупой), *безусый* (слишком юный), *бескрылый* (лишенный творческой силы), представляющих непродуктивную словообразовательную модель (о моделях подробно будет сказано ниже). В отличие от *безрукий* прилагательное *бессердечный* в своем словообразовательном значении не обусловлено внутрисистемными лексическими свя-

зями (во фразеологизме *человек без сердца* мы имеем трансформ с тем же значением). Лексическая парадигма, представленная рядом синонимов *бессердечный — бездушный — жестокий — черствый — равнодушный* и соответствующим рядом антонимов *сердечный — душевный — мягкий — добрый — отзывчивый*, не находит отражения в регулярных словообразовательных взаимодействиях. Следовательно, *бессердечный* «выпадает» из ряда регулярных единиц данного словообразовательного типа, представляя собой словообразовательно изолированную идиоматичную единицу словарного состава с производной морфемной структурой. «Запрет» на включение такого рода производных в число регулярных единиц словообразовательного типа определяется в конечном счете «положением вещей» (см. об этом понятии далее). В данном конкретном случае это означает, что производное слово *бессердечный* в прямом номинативном значении лишено смысла.

Итак, одной из конституирующих характеристик словообразовательного типа в системе нашего описания служит регулярность. Объектом синхронного словообразования являются словообразовательные типы, характеризующиеся регулярностью соотношения словообразовательного значения производных с соответствующими лексическими значениями слов, связанных с вторичной (производной) единицей отношениями мотивации. Словообразовательным значением при этом считается то конкретное содержание, которое передается каждым производным словом, взятым в отдельности. Такое понимание, как нам представляется, вполне адекватно отражает содержательную сторону процессов словопроизводства. Каждое производное слово создается (образуется) для того, чтобы передавать соответствующее значение, т. е. именно словообразовательное значение служит стимулом словопроизводства в каждом конкретном случае.

Создаваемое в спонтанных условиях речевой деятельности слово в своем словообразовательном значении коррелирует с парой-моделью. Каждый акт словопроизводства реализуется как содержательное наполнение языковой конструкции, представленной в системе языка этой парой-моделью. Тогда «система языка в области словообразования складывается... из словообразовательных типов, включающих полную лингвистическую характеристику пары-модели» [6, с. 41]. Лингвистическая характеристика пары-модели извлекается путем обращения к отношениям мотивации.

Таким образом, второй конституирующей характеристикой словообразовательного типа служит понятие мотивации. Решая проблемы лексической семантики, Д. Н. Шмелев отмечает, что «при характеристике современного состава и структуры лексики проблема словообразования как процесса, естественно, вытесняется проблемой мотивированности различных лексических единиц... становится важным не то, как было образовано слово, а то, на какие связи указывает его словообразовательная форма и в какой мере она влияет на его применение в речи (разрядка наша. — К. Л.)» [8]. Иначе говоря, при описании процессов синхронного словообразования отношения мотивации, связывающие вторичные производные структуры с первичными по отношению к ним семантическими структурами, естественно вовлекаются в объект такого описания.

Словообразовательная модель. Мотивационные связи соотносительных вторичных и первичных структур мы рассматриваем как синтагматические отношения, регулярно реализуемые внутри пары-модели. Отношения производности между производящими и производными единицами внутри пары-модели рассматриваются как парадигматические отношения, регулярно реализуемые в пределах словообразовательного типа. Следовательно, словообразовательная модель является иерархически подчиненной по отношению к словообразовательному типу категорией описания: в один тип объединяется, как правило, несколько словообразовательных моделей.

Конституирующей характеристикой словообразовательной модели служат собственно словопроизводственные связи, представленные в границах каждой модели определенного вида дистрибуцией морфем. Таким

образом, понятие словообразовательной модели обращено к грамматической стороне словообразования. В рамках словообразовательной модели, характеризующейся с точки зрения ее продуктивности, описываются формально-семантические характеристики слов, которые вступают в отношения производности, грамматические правила выбора определенного словообразовательного форманта, а также правила варьирования такого форманта.

Какую цель преследует такой способ описания явлений синхронного словообразования? Во-первых, таким образом мы получаем возможность сделать основополагающим для характеристики наиболее активных в современном языке словообразовательных процессов принцип их ономастической обусловленности. Хорошо известный тезис Л. В. Шербы, касающийся вопроса о том, как можно делать новые слова, связывается при этом с установкой, которая определяет назначение всякой грамматики, — быть сборником правил речевого поведения. Оценка этих правил исходит из той задачи, которой они должны отвечать: «они должны руководить говорящими при составлении фраз в соответствии с теми мыслями, которые эти говорящие хотят выразить» [9]. Во-вторых, принятая методика анализа языкового материала позволяет выявить лексико-грамматические характеристики слов, являющихся потенциально мотивирующими в пределах типа и в границах модели.

Пользуясь охарактеризованными понятиями теоретического свойства, мы предприняли попытку решить конкретную задачу, которая состоит в том, чтобы сформулировать правила словопроизводства ономастической категории слов с общим значением глагола активного действия, производимого субъектом этого действия. Это значение рассматривается как семантически релевантная характеристика производных, детерминирующая данный словообразовательный тип. Правила выводятся на основании анализа языковых фактов, проведенного по соответствующей методике. Методика избирается в соответствии с тем, чтобы искомое правило отвечало требованию регулярности словообразовательных характеристик данной категории вторичных единиц словарного состава, что в свою очередь предопределяет перспективный характер действия правила. Последнее означает, что правилами должны быть предусмотрены открытые ряды для слов, перспективных как слова-мотиваты в данном словообразовательном типе, и для слов, представляющих собой мотивированные, вторичные по отношению к мотивирующим, структуры данного словообразовательного типа.

Предварительно сделаем оговорку, касающуюся введения в правила компонента, наиболее удачным названием для которого нам представляется «положение вещей» (или «положение дел»). Ограничиваясь здесь самой общей содержательной характеристикой названного понятия, сошлемся, однако, на практику включения этого фактора в систему лингвистического описания [см., например, 10].

Лингвистический статус названного фактора отличается от его логико-философского статуса. Для исследования и описания языковых явлений понятие «положение вещей» имеет смысл только как детерминант соответствующих семантических явлений и взаимодействий. При этом именно семантические характеристики служат критерием для выделения открытых рядов мотивирующих и мотивированных слов в словообразовательном типе. Семантика производных «задает» семантические характеристики слов-мотиватов, так как в семантической структуре словообразовательной модели слова-мотиваты — первичные по отношению к производным словесные знаки — выступают в функции ономастического ингредиента словообразовательного значения производных.

Таким образом, приходим к выводу, что значение словообразовательного типа предписывает выбор в качестве первичного знака такого имени, которому по положению вещей предписаны в лексической системе языка определенные связи (отношения), имеющие регулярный характер. Эти языковые связи отражают реальные, действительные связи и представлены в языковом сознании некоторым набором словосочетаний-клише.

Лексическое наполнение этих клише предписано денотатно-сигнификатными признаками ¹ слова-мотивата, получающими отражение в словарном толковании производного слова.

Значение словообразовательного типа — активно действовать как субъект действия — отражает регулярные отношения семантической корреляции между субъектом и действием, предписанным этому субъекту по свойству его денотатно-сигнификатных характеристик: в СУ ² — Токарь... Рабочий, мастер, занимающийся токарным делом. Токарничать... Заниматься токарным делом, быть токарем. Учитель... 1. (...) Липо, занимающееся преподаванием какого-либо предмета в низшей и средней школе, преподаватель, школьный работник. Учительствовать... Быть учителем (см. учитель в 1 знач.). Ленивый... Тот, кто постоянно ленится, кто неохотно, лениво работает, лодырь. Ленивыйничать... Бездельничать, вести себя лентяем. Егоза... Вертлявый, подвижной, беспокойный человек. Егозить.. 1. Вести себя суетливо, беспокойно; быть слишком подвижным, резвым. Нетрудно видеть, что все приведенные дефиниции производных глаголов соответствуют одной семантической схеме, по которой «опознается» значение вторичной единицы: активно действовать как субъект действия (деятельности) в соответствии с тем, что предписано положением вещей в качестве такого действия данному субъекту. Отраженные в толкованиях модификации, а точнее, детализации общего значения словообразовательного типа оказываются необходимыми только на метаязыковом уровне, т. е. при описании значения производного слова, но не при его создании.

В самом деле, если дирекгортствовать СУ толкует как «занимать пост директора»; донкихотствовать — «вести себя по-донкихотски»; крестьянствовать — «заниматься земледелием, крестьянским трудом»; двурушничать — «поступать двурушнически»; плотничать — «быть плотником, заниматься плотничными работами»; батрачить — «работать в качестве батрака...», то из толкований следует только, что в каждом конкретном случае составители описывают значение мотивированного слова, опираясь непосредственно на лексические системные связи мотивирующего слова, на его денотатно-сигнификатные признаки. Характер вышеприведенных дефиниций обусловлен тем фактом, что слово *директор*, например, называет должность, *донкихот* и *двурушник* — оценочный тип человеческой личности, а *плотник*, *крестьянин* и *батрак* называют лицо, трудовые функции которого обладают определенной спецификой. Все эти особенности лексических единиц, мотивирующих значение производных глаголов, оказываются нерелевантными на словообразовательном уровне. Стимулом акта словопроизводства для всех производных рассматриваемого типа служит номинативно актуальная «идея» (по Л. В. Щербе, мысль, которую говорящие хотят выразить) названного выше типового значения: активно действовать как субъект этого действия (деятельности).

На грамматическом уровне словопроизводства данных глаголов действует также одно формальное правило, которое мы назвали п р а в и л о м с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й ц е п о ч к и. Оно заключается в том, что при выборе словообразовательного форманта, т. е. в парадигматических связях словообразовательного типа, обнаруживается взаимозависимость производных одного словообразовательного гнезда. Эта

¹ Обращаясь к понятиям денотата и сигнификата, мы следуем концепции Ю. С. Степанова, который в денотатно-сигнификатных связях видит системообразующий фактор лексики языка. Лингвистический статус денотата и сигнификата выводится из противопоставленности этих категорий в языковой действительности. В соответствии обозначаемое → обозначающее денотат — это предмет обозначения, опознавательное отражение предмета (или класса предметов) в сознании; сигнификат — это понятие, представляющее собой отражение в сознании места и функции обозначаемого в отношениях и связях реальной действительности (положения вещей). См. о денотате и сигнификате [11].

² Здесь и далее мы пользуемся общепринятыми условными обозначениями словарей русского языка: Толковый словарь русского языка под ред. проф. Д. Н. Ушакова (СУ); Словарь современного русского литературного языка АН СССР в 17-ти томах (БАС); Словарь русского языка АН СССР в 4-х томах (МАС); С. И. Ожегов, Словарь русского языка (СО).

зависимость проявляется таким образом, что формант, однажды реализованный в производном гнезда, воспроизводится в другом производном, связанном с первым по принципу словообразовательной цепочки. При этом направление производности для описания процессов синхронного словообразования несущественно, поскольку регулярность правил предопределяет «потенциальную данность» любого производного слова, предусмотренного продуктивной моделью, в то время как факт его использования в речи связан с условиями номинативной актуализации передаваемого этим словом значения. Собственно, наличие или отсутствие регулярного производного, как принято говорить, в я з ы к е, означает только наличие или отсутствие условий такой актуализации в р е ч и. Именно эти условия определяют и регулируют заполнение лексическим содержанием словообразовательной пары-модели в составе регулярного словообразовательного типа.

Правило словообразовательной цепочки как рабочая категория охватывает явления, которые в теории словообразования принято называть валожением.

Предлагаемые в статье правила регулярного словопроизводства отменных глаголов с аффиксами *-ствовать*, *-ничать*, *-ить* выведены на основании анализа лексико-грамматических взаимодействий, выявленных путем сопоставления массивов глагольных слов, взятых по Обратному словарю русского языка [12]. Материалом для анализа послужили только те глаголы, которые помечены в [12] как встретившиеся в словнике всех словарей-источников. Такое ограничение продиктовано, с одной стороны, физической необходимостью, а с другой — кажется достаточно корректным для решения нашей задачи, так как всеми словарями фиксируются обычно наиболее употребительные слова, т. е. активно функционирующие.

Описание самого анализа в журнальной статье не производится, что, возможно, идет в ущерб убедительности сделанных на его основании выводов. Во всяком случае необходимо специально сказать, что именно в ходе анализа мы пришли к двум решениям, которые представляются принципиальными в рамках принятой методики научного описания.

Во-первых, оказалось объективно необходимым на основании аналогии в отношениях производности и однотипности отношений мотивации объединить в один словообразовательный тип в виде двух его подтипов отсубъектные и «отобъектные» глаголы («объект» при этом понимается широко — любое имя неличной семантики). Во-вторых, для отобъектных глаголов на *-ить* обнаружилась нерелевантность на словообразовательном уровне видовых противопоставлений: видовое размежевание глаголов *пилить*, *бури́ть*, *золоти́ть* и т. п., и *заземли́ть*, *заштори́ть*, *облагороди́ть* и т. п. определяется положением вещей, по причине которого называемому глагольным словом действию предписывается доминирующий признак результативности/нерезультативности. Грамматической приметой этого языкового факта служит наличие вторичного имперфектива у глаголов совершенного вида: *заземля́ть*, *зашторива́ть*, *облагоражива́ть*.

Правила словопроизводства отменных глаголов активного действия, содержательно соотносенных с субъектно-объектными отношениями в лексических связях субъекта действия.

1. Состав потенциальных вторичных единиц данной семантической структуры формируется воздействием фактора номинативной актуализации значения словообразовательного типа: активно действовать в соответствии с тем, что предписано положением вещей субъекту данного действия. Это значение передается как предписанное данн о м у субъекту, именем которого мотивировано производное глагольное слово (1); как предписанное л ю б о м у субъекту, активно действующему в соответствии с тем, какой признак данного действия отражен в имени, мотивирующем производное глагольное слово (2).

2. Состав потенциальных слов-мотиватов, которым положение вещей

предписывает регулярные словопроизводственные связи для передачи значения словообразовательного типа, представлен: (1) именами лиц (или шире — деятелей) а) по характеру профессиональной деятельности (актер, слесарь, учитель, шахтер); б) по характеру общественно-социальной функции лица или деятеля (председатель, президент, союзник, чемпион); в) по оценочной характеристике типа личности (бездельник, дармоед, донкихот, лентяй); (2) именами существительными и прилагательными, лексическое значение которых может выражать понятие действия или признака действия.

3. Отношения производности, предписанные грамматическими правилами для передачи значения словообразовательного типа, реализуются в трех словообразовательных моделях.

А. Путем присоединения к производящей основе аффикса *-ствовать*. Данное словообразовательное средство выбирается при том условии, если в словообразовательном гнезде с вершинным словом-мотивом (1) и (2) есть соотносительное имя существительное с суффиксом *-ств-* и/или относительное прилагательное с суффиксом *-ск-*: актер — актерский — актерство — актерствовать, сумасброд — сумасбродство — сумасбродствовать, бесчинство — бесчинствовать, хозяйство — хозяйский — хозяйствовать. Модель продуктивная. Сфера преимущественного функционирования образованных по этой модели глагольных слов — художественно-публицистический стиль речи. В публицистике номинативно актуальны причастные формы таких глаголов, мотивированных оценочным именем лица и используемых в пейоративном смысле: *фашиствующий, хулиганствующий*.

Б. Путем присоединения к производящей основе аффикса *-ничать*. По условиям выбора данного словообразовательного средства выделяются два подвида модели.

Подвид Б₁. Для производных, мотивированных нейтральными по значению наименованиями профессий или вообще регулярной деятельности, условием выбора служит наличие в словообразовательном гнезде относительного прилагательного с суффиксом *-н-* и/или суффикса *-ник* в мотивирующем имени: бочар — бочарный — бочарничать, маляр — малярный — малярничать, огородник — огородный — огородничать, посредник — посредничать, ремесленник — ремесленный — ремесленничать, сапожник — сапожный — сапожничать.

Подвид Б₂. Для большинства производных, мотивированных именами лиц по оценочной характеристике типа личности, действует то же формальное правило. По узואльным правилам этот подвид закреплен за словопроизводством глагольных слов с пейоративным оттенком значения: *бездельник — бездельничать, мошенник — мошенничать, шаромыга — (шаромыжник) — шаромыжничать*. То же узואльное правило регулирует словопроизводство от слов-мотивов (2) в границах модели. В функции таких мотивов выступают качественные прилагательные, лексическое значение которых может выражать понятие признака действия: *великодушничать, деликатничать, откровенничать*. Значение таких глаголов формируется с нарушением регулярных отношений мотивации, поскольку глаголы имеют оттенок пейоративности, отсутствующий в значении мотивирующих прилагательных. При образовании глагольных слов по модели Б доминирующая роль принадлежит узואльному правилу, что ограничивает продуктивность модели. Сфера преимущественного функционирования образованных по этой модели слов — разговорно-экспрессивный стиль речи.

В. Путем присоединения к производящей основе аффикса *-ить*. По условиям выбора данного словообразовательного средства выделяются два подвида модели.

Подвид В₁. В качестве потенциальных слов-мотивов, вступающих в отношения производности, предусмотренные данной моделью как единственной, функционирует небольшая группа слов — имена общего рода по оценочной характеристике типа личности с ударной флексией *-а*: *егоза — егозить, юла — юлить*.

Подвид В₂. Для производных, мотивированных именами лиц (1) как нейтральными, так и оценочными, условием выбора модели В служит акцент на последнем слоге производящей основы, реализованной в производных словообразовательного гнезда. При условии соблюдения правила словообразовательной цепочки модель В вариантна в таких случаях моделям А и Б: *бродяга* — *бродяжий* — *бродяжничать* — *бродяжить*, *знахарь* — *знахарство* — *знахарствовать* — *знахарить*, *слесарь* — *слесарный* — *слесарничать* — *слесарить*, но *гаер* — *гаерство* — *гаерствовать* — *гаерничать*. Словообразовательным запретом на выбор модели В служит наличие в мотивирующем имени суффикса *-ник*.

Для производных, мотивированных именами неличной семантики (2), словообразовательно релевантными являются акцентные характеристики мотивирующих имен. От основ имен существительных женского и среднего рода с ударной флексией и односложных имен существительных мужского рода образуется глагольное слово с ударным аффиксом: *бороздить*, *бурить*, *воить*, *графить*, *клеить*, *косить*, *пилить*, *ройть*, *сверлить*. Глагольное слово с безударным аффиксом образуется от основ имен существительных другой акцентной характеристики, которая воспроизводится в глагольном слове: *барабани́ть*, *бура́вить*, *лопа́тить*, *канифо́бить*, *кра́сить*, *крахма́лить*, *ма́слить*, *мобы́жить*, *му́сорить*, *сахари́ть*.

По правилам подвида В₂ образуются производные глаголы, мотивируемые для которых служат качественные прилагательные: *бели́ть*, *грязнить*, *картавить*, *фальшивить*. При этом для основ от двусложных прилагательных выбирается ударный аффикс, для основ от прилагательных с количеством слогов более двух место акцента в производном сохраняется: *темни́ть*, *черни́ть*, но *лакоми́ть* (кормить лакомым), *издыря́вить*, *продыря́вить* (сделать дырявым), *осчастливи́ть*, *разнообрази́ть*.

Продуктивность подвида В₁ ограничена замкнутостью лексического состава мотивирующих слов. Подвид В₂ продуктивен. Сфера преимущественного функционирования образованных по модели В слов — профессионально-арго-жаргонный и разговорно-экспрессивный стили речи.

4. Место акцента в производном как один из компонентов регулярных правил словопроизводства потенциально данных в границах словообразовательного типа и в рамках словообразовательной модели вторичных единиц словарного состава предусматривает следующее: общим правилом для производных типа является сохранение места акцента на основе, отсылающей к значению мотивирующего слова. По этому правилу акцентируются производные по моделям А и Б. Акцентные особенности имеют производные по модели В (см. выше).

5. Выбор словообразовательного форманта, нерегулярного в рамках модели, предписывает правило словообразовательной цепочки. Так, например, аффикс *-овать* вместо регулярного для продуктивной модели В аффикса *-ить* в глаголах *шпаклевать* (*шпатлевать* — ВАС), *тушевать* предопределен наличием в словообразовательном гнезде производных *шпаклевка* (замазка), *тушевка* (штрихи); выбор того же аффикса в глаголах *жежевать*, *скирдовать*, *стоговать* (при *грабить*, *копнить*) — наличием в словообразовательном гнезде относительных прилагательных *жежевой*, *скирдовой* (*скирдоправ* — СУ), *стоговой* (*стоговище*, *стогометатель* — СУ). Ср.: «Всю зиму буртовал трактором органические удобрения...» (Правда, 1983, 13 сент.) и зафиксированные только в МАС *бурт*, *буртование*.

6. Варьирование словообразовательных моделей в пределах типа регулируется двумя факторами. Первый — отсутствие словообразовательного запрета на выбор модели. Этот фактор является релевантным для регулярных словопроизводственных отношений. Так, например, при наличии в словообразовательном гнезде имени действия на *-ство* и/или относительного прилагательного с суффиксом *-ск-* всегда возможен глагол по модели А: *подхалимничать* (*подхалимствовать*), *скопидомничать* (*скопидомствовать*), *фашиствовать* (зафиксирован в ВАС). Для основ, соотносящихся с именами личной семантики без финального форманта *-ник* в модели Б, возможна модель В: *дебоширничать* (*дебоширить*), *пекарничать* (*пекарить*), *скорняжничать* (*скорняжить*), *маллярничать*

(*маярить*). Второй фактор отражает действие узувального правила, которое определяет условия функционирования производных глаголов в разных стилях речи, т. е. правила стилистического, но не грамматического.

П р и м е ч а н и я. 1. Функциональная закреплённость глагольных слов, образованных по продуктивным моделям, т. е. по регулярным правилам словопроизводства, обусловлена закреплённостью за определённой речевой сферой мотивирующих слов. 2. Правила словопроизводства глагольных слов с типовым значением *активно действовать как субъект этого действия* не предусматривают ограничений в зависимости от видовой характеристики глагольного слова. Размежевание по видам при словопроизводстве регулируется положением вещей, в соответствии с которым именуемому действию предписывается признак результативности/нерезультативности. Закономерности выбора приставок в перфективных глаголах данного словообразовательного типа настоящими правилами не охватываются. 3. Номинативная актуализация значения словообразовательного типа предусматривает возможность приписывать называемое глагольным словом действие также нелицу, выступающему как субъект действия (см. примеры ниже).

Чтобы иллюстрировать конструктивные возможности выведенных правил в перспективном плане, можно было бы привести множество примеров, однако в силу особой целенаправленности предлагаемого в статье описания это множество само по себе вряд ли существенно для иллюстрации, коль скоро оно представляет открытый ряд языковых единиц. Поэтому мы ограничимся только несколькими примерами, полагая, впрочем, что зафиксированные в новых словарных материалах [13—16] производные типа *бандитствующий*, *бригадирствовать*, *заякорить*, *калымить*, *левачить* и др. под. (всего по нашим подсчётам 25 глагольных слов) достаточно убедительны как свидетельство «динамичности» описанных правил. В дополнение к новым словарным фиксациям можно привести соответствующие производные (также не представленные в «старых» словарях) как из классической литературы, так и из современной.

«Когда старик бывал рад, то всегда начинал *экспансивничать*...» (Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы). «Штабс-капитан ужасно *лисил* перед Колей» (там же). У Л. Н. Толстого в рассказе «Рубка леса» как один из главных типов солдат выделяются *начальствующие*, «*Начальствующие* подразделяются на: а) *начальствующие* суровых и в) *начальствующие* политических». «Оттого Шура зол, что никому *втолковать* не может: „Поверьте до конца!“ И на Мигулина сердит потому, что тот *бешенствует* и себе вредит...» (Ю. Трифонов, Старик); «При этом мужа *рогатит* почем зря, свекровь глубочайшим образом презирает...» (Ю. Трифонов, Предварительные итоги); «Солнце снова выглянуло из-за облаков и засверкало в слитках сотов, дробясь в темно-коричневых и *опрозрачивая* янтарные» (Ф. Искандер, Бригадир Кязым); «Дома меня не считают за игрока, здесь же я *чемпионил*, показывал как резать, крутить...» (Д. Гранин, Неожиданное утро); «Вчера часов в восемь — шоферы уже спали в машинах — какая-то компания у ограды *гитарила*...» (Вл. Комиссаров, Старые долги); «Тучи *стадились* всю ночь, клубились и урчали...» (В. Липатов, Игорь Саввович); «Он (лед) ломался, *торосился*, льдины лезли одна на другую...» (Ю. Семенов, Он убил меня под Луанг-Прабангом); «В опустевшем зале мы *итожим* события двух гимнастических дней, со старшим тренером Ларисой Латыниной» (Комс. правда, 1971, 13 сент.). Ср. в связи с последним примером то же слово, известное как окказионализм Маяковского: «Когда я *итожу* то, что прожил...» (В. Маяковский, Владимир Ильич Ленин).

Распространению производных модели Б и В в профессионально-арготической и в устной речи вообще протезирует их экспрессивность, ср.: *слесарить*, *шахтерить*, *шоферить* (*шофёрить*). Образуются такие производные естественно и свободно. В устной речи мы зафиксировали, например, слова *обормотничать*, *идиотничать*, *затейничать* (быть затейником). В телепередаче «Спутник кинозрителя» (1983, 10 сент.) о герое

к/ф «Талисман» его соученики говорят: «Он соглашается *талисмани́ть*». Это значит, что, объявив себя живым талисманом, герой соглашается действовать соответствующим образом — сопровождать жаждущих его волшебной силы в их поисках удачи и счастья.

Кроме того, в системе нашего описания доказательной силой обладают также определенного рода словарные материалы. Такие, скажем, как «судьба» глагола *беспроизро́нничать*. Зафиксированный в СО как актуальный в определенный период жизни нашей страны, сегодня он пополнил состав историзмов в лексике русского языка. Или, например, фиксация в том же словаре словообразовательной соотнесенной пары *шабашник* → → *шабашничать* с новым значением мотивирующего имени: «тот, кто заключает частные сделки по высоким ценам на строительные, ремонтные и др. работы».

Итак, в соответствии с поставленным в названии статьи вопросом, общий вывод сводится к следующему. Программно-целевой подход при исследовании и описании активных процессов словообразования отвечает требованию адекватности, если в качестве рабочих категорий описания использовать три метаязыковых понятия: словообразовательный тип, словообразовательная модель и правило словообразовательной цепочки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974—1977 гг. Словообразование. Материалы для обсуждения. М., 1982.
2. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.
3. Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания. М., 1977.
4. Улуханов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 1977.
5. Способы номинации в современном русском языке. М., 1982.
6. Арутюнова Н. Д. Очерки по словообразованию в современном испанском языке. М., 1971.
7. Колшанский Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975, с. 13—14.
8. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973, с. 26.
9. Щерба Л. В. Очередные проблемы языковедения. — В кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 47—48.
10. Семантические типы предикатов. Гл. 1. М., 1982.
11. Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика. М., 1981.
12. Обратный словарь русского языка. М., 1974.
13. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов. Под ред. Котеловой Н. З. и Сорокина Ю. С. М., 1971.
14. Новое в русской лексике. Словарные материалы-77. Под ред. Котеловой Н. З. М., 1980.
15. Новое в русской лексике. Словарные материалы-78. Под ред. Котеловой Н. З. М., 1981.
16. Новое в русской лексике. Словарные материалы-79. Под ред. Котеловой Н. З. М., 1982.

ЭМИРОВА А. М.

К ВОПРОСУ О НОМИНАТИВНОЙ СУЩНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ (ИДИОМАТИЧЕСКИХ) ПРЕДИКАТОВ

По характеру смыслового содержания и по назначению в системе языка фразеологизмы принадлежат к классу знаменательных, полнозначных языковых единиц. Дихотомическая классификация языковых знаков (знаменательные и служебные, полнозначные и неполнозначные) в новейшем языкознании неоднократно подвергалась всестороннему пересмотру. В частности, были введены некоторые дополнительные основания классификации — учет особых знаковых признаков языковых единиц. Так, А. А. Уфимцева при классификации слов по семиологическим свойствам предлагает учитывать следующие факторы: 1) наличие (отсутствие) и характер соотношенности денотативного и сигнификативного компонентов, составляющих основу знакового значения слова; 2) сферу языка, преимущественно обслуживаемую данными знаками (речемыслительную, коммуникативную, номинативную, прагматическую) и др. [1, с. 34; 2, с. 84]. Эта классификация дополняется другой, учитывающей обусловленность содержания языковых единиц их ролью в сообщении. Коммуникативный подход позволил выделить два типа языковых единиц — идентифицирующие и предикатные единицы [3—8].

Идиоматика современного русского языка представлена преимущественно предикатными (признаковыми) именами. Идиомы с так называемым идентифицирующим значением составляют количественно незначительный разряд единиц, выполняющих собственно номинативную, терминологическую функцию и являющихся названиями естественных объектов. Среди них исследователи отмечали и выделяли названия (преимущественно народные) объектов флоры и фауны (*пастушья сумка, львиный зев*), болезней (*антонов огонь*), бытовые наименования (*мертвый час, гусиные лапки «морщины»*) и др.

Предикативно-характеризующий тип значения основной массы фразеологических единиц обусловлен тем, что их содержание формируется в высказывании в качестве его предикативного (пропозиционального) ядра для удовлетворения определенной коммуникативной и прагматической потребности и постоянно шлифуется под влиянием выполняемой ими коммуникативной роли. Фразеологическое значение, таким образом, представляет собой своеобразную конденсацию семантической структуры предложения.

Эту специфику фразеологического значения отмечал еще акад. В. В. Виноградов. Среди языковых причин, способствующих формированию фразеологических единств, акад. В. В. Виноградов отмечал синтаксическую специализацию таких единиц, т. е. их употребление в строго фиксированной грамматической форме и синтаксической функции. Например, шутливо-фамильярное выражение *ноль внимания* обычно употребляется в функции сказуемого: *Медик пьян как сапожник. На сцену н о л ь в н и м а н и я* [9]. Можно провести аналогию между фразеологическими единствами такого типа и словами с функционально-синтаксически ограниченными значениями. Отмечая, что синтаксические свойства подобных слов в роли члена предложения (сказуемого) как бы включены в их семантическую характеристику, В. В. Виноградов определил их значение как предикативно-характеризующее [10—11]: выполняя функцию сказуемого, они одновременно оценивают, характеризуют те или иные признаки предмета.

Предикатный (признаковый) характер семантики идиом не исключает номинативной предназначенности таких единиц, т. е. их отнесенности — через концептуальное содержание — к объективному миру, их способности представлять, репрезентировать признаки предметов, называемых идентифицирующими словами¹. В речевых актах идиомы не только сообщают новую информацию о предмете речи (о свойствах, качествах, действиях, состояниях и других признаках предметов), названном идентифицирующим именем, но одновременно являются и названиями сообщаемых признаков. Трудности, возникающие при выявлении номинативной сущности актуализируемых в речи фразеологических единиц, связаны прежде всего со спецификой их денотатов: они называют не классы дискретных предметов реальной действительности, а их существенные признаки, их атрибуты, которые не существуют и, следовательно, не мыслятся вне этих предметов, «включены» в них.

Идиомы представляют собой такие признаковые имена, которые обозначают и характеризуют преимущественно психические состояния и свойства человеческой личности (эмоции, чувства, проявления интеллектуальной деятельности), ее моральные качества, дают ее социальную, межличностную оценку. Эти характеристики человека не существуют в качестве «отчужденных» от него признаков, не являются чем-то внешним по отношению к нему².

Известно, что дискретные объекты действительности (в философии им соответствует категории вещи) относительно легко воспринимаются, выделяются и именуются как в онтогенезе — в ходе индивидуального развития человеческой личности, — так и филогенетически — в ходе поступательного развития общественного познания (науки) в целом. Что касается свойств и качеств предметов, особенно их отношений, то они открываются и классифицируются постепенно, в процессе практической деятельности и научного познания природы человеком. «Категория отношения является более сложной и абстрактной, чем, скажем, категории вещи и свойства. Вещи и свойства часто можно непосредственно видеть, слышать, вообще чувственно воспринимать. Отношение же чувственно не воспринимается. Не случайно ребенок усваивает понятия об отношениях позже, чем понятия о вещах и свойствах» [14]³.

Номинативная сущность фразеологических предикатов проявляется и при обращении к коммуникативным аспектам синтаксиса, к категориям синтаксической семантики. Известно, что основная масса фразеологических единиц (субстантивные, адъективные, глагольные, часть наречных) функционирует в качестве сказуемого в предложениях разного структурного типа. Многообразные и разносторонние отношения между предмета-

¹ Признавая отношение «имя существительное — предмет» основным, я беру и м типом номинации, В. Г. Гака считает, что «расширение понятия лингвистической номинации идет как за счет широкого понимания ее содержательного аспекта, так и по линии более широкого понимания средств номинации в их формально-структурном аспекте» [12]. Выражение в языке несубстанциональных элементов действительности (свойств, качеств, отношений, процессов, действий, состояний) с помощью прилагательных, наречий, глаголов, по мнению В. Г. Гака, тоже следует квалифицировать в качестве номинации.

² Понимая психическую деятельность в качестве неотъемлемого параметра человеческой личности, в речи говорящие, тем не менее, склонны экстерниоризировать константы психики — «чувства, страсти, желания, волю, ум, рассудок, душу, сердце, совесть, стыд, мечты, опыт, веру, воспоминания, надежды, пороки, добродетели, раскаяние, страдание и др., представляя их не только как нечто отдельное от нас, но как нечто, вступающее с нашим „я“ в определенные, дружеские или враждебные, отношения...» [4, с. 94]. Такая экстерниоризация компонентов психики происходит лишь на поверхностно-грамматическом уровне предложения (ср.: *В нас горят желания — Мы желаем; У меня душа ушла в пятки — Я испугался* и др.). Она обусловлена сложностью «ненаблюдаемости» внутреннего мира человека, который именно в силу этого моделируется по образу внешнего, материального мира [ср. 13].

³ Высокой степенью абстракции, свойственной значениям идиом, отражающих различные свойства и отношения предметов реального мира (в том числе и «невидимого» — человеческой психики), можно объяснить явления этимологизации, буквального понимания значения идиом разного типа (в частности, пословиц) детьми младшего возраста. Только с развитием у ребенка абстрактного мышления ему становится доступным фигуральный смысл идиом, и он начинает использовать их в своей речи.

ми объективного мира находят в языке соответствие в определенных синтаксических моделях. Картина мира, отражаемая в содержании текста, «не может объективироваться иначе, чем в синтаксических моделях, предназначенных языком для того или иного содержания» [15, с. 15] ⁴.

Центральной категорией семантической структуры предложения, формирующейся на основе взаимодействия синтаксических значений членов предложения и лексических значений слов, является (наряду с субъектом) предикативный признак, т. е. признак, выявляющийся в объективно-модальном плане, — в комплексе значений времени и реальности (нереальности) [17, с. 124]. Категория признака реализуется как действие, состояние или свойство, т. е. в форме классических предикатов — глаголов и различных образований с *быть*, выступающих в функции сказуемого. Следовательно, тип предложения (синтаксическая модель, схема), лежащий в основе его семантической структуры, обусловлен типом предиката (в том числе и фразеологического), который в свою очередь соотносится с объективной действительностью, отражая ее так, как это доступно нашему языковому сознанию ⁵. В этих различных структурных типах предложений и проявляется «план связи предложения с внеязыковым миром» [15, с. 24].

О нерасчлененности функций указания и сообщения в содержании предикатных единиц свидетельствует, на наш взгляд, и тесная связь субъекта и предиката: субъект предназначен не только для идентификации предмета речи, но «имеет еще одну достаточно важную задачу — эксплицировать значение предиката, создавая для него семантический фон... Связь с предикатом осуществляется не только через родовые признаки, присущие субъекту, но и через его индивидуальные черты. В субъекте поэтому часто эксплицируются те именно свойства, которые должны обеспечить понимание или должную оценку поступающей о нем новой информации» [19]. Таким образом, субъект, будучи семантически бифункциональным (в его содержании наличествуют как идентифицирующий, направленный на внеязыковую действительность семантический компонент, так и компонент характеризующий, сообщающий, направленный на предикат), тем самым обеспечивает референцию предиката (resp. актуализирует его в качестве номинативной единицы).

Дополнительную аргументацию в пользу нашего мнения мы усматриваем и в явлении «обратимости» субъекта и предиката, наблюдаемом в структуре тема-рематической основы высказываний, образующих относительно законченный текст ⁶. В процессе текстообразования номинация и предикация могут постоянно меняться местами (ролями): номинация как тема рассматриваемого предложения может восходить к предикации как реме предшествующего предложения. Иначе: рема (предикат) предыдущего предложения преобразуется в тему (субъект) последующего, рема которого в свою очередь может быть оформлена в качестве темы следующего за ним предложения. Например: *Я люблю тебя. Моя любовь сильна и безгранична. Сила любви моей способна разрушить все преграды* и т. д. Использование предикатных имен в целях конкретной референции (в позиции субъекта) требует, как правило, местоименных де-

⁴ Ср.: «В конечном счете все лингвисты... исходят из признания того, что семантическая структура предложения... изоморфна отражаемой им реальной ситуации» [16].

⁵ Результаты познания человеком объективной действительности, свойств, качеств предметов и отношений между ними объективируются лишь в языке, с помощью различных языковых форм. Аргументируя это положение, Э. Бенвенист, как известно, обратился к анализу категорий Аристотеля, полагавшего, что он имеет дело с универсальными свойствами, являющимися потенциальными предикатами любого объекта. Оценивая категории Аристотеля, Э. Бенвенист пришел к выводу, что эти категории суть категории того языка, на котором Аристотель мыслил, т. е. древнегреческого: «Он полагал, что определяет свойства объектов, а установил лишь сущности языка: ведь именно язык благодаря своим собственным категориям позволяет распознать и определить эти свойства» [18].

⁶ Отношения «субъект — тема — идентифицирующее имя/предикат — рема — признаковое имя» являются наиболее типичными, классическими. В реальных же речевых условиях они могут существенно трансформироваться.

терминативов (*этот, тот, мой, наш* и др.), которые выполняют функцию идентификации не изолированно, а только в сочетании с этими предикативными именами [ср. 4, с. 349].

Описанные выше явления получили название номинализации или грамматической метафоры [20]. Номинализация — это представление признака предмета (свойства, действия, состояния и т. п.) в виде субстанции, опредмечивание, субстантивация глагольных и адъективных единиц: *бежать — бег, белый — белизна, гадать на кофейной гуще — гадание на кофейной гуще, переливать из пустого в порожнее — переливание из пустого в порожнее* и т. д.

Номинация создается в русле предикации и сама является источником предикации. Конкретный речевой акт представляет собой непрерывный процесс взаимоперехода предиката как носителя ремы в субъект, выступающий в качестве носителя темы последующего предложения. Следовательно, признание референтности идентифицирующих единиц влечет за собой и констатацию референтности (гевр. номинативности) предиката.

Привлекают внимание и случаи употребления предикатных существительных со значением лица в функции обращения: *Молчи, пустая голова!*; *Дак тропочка-то где ж, мякинная ты голова?*; *Ты для чего тут поставлен, дубина сторожевая?* и др. Основная функция обращения (название того, к кому направлена речь) часто сочетается с экспрессивной оценкой, с выражением субъективного отношения говорящего к адресату речи [17, с. 164]. Употребление предикатных имен в функции апеллятивов «выявляет» их функциональную двойственность: в таких речевых условиях в их содержании актуализируются и идентифицирующий, и признаковый компоненты.

Дифференциация содержания идентифицирующих и предикатных имен носит не абсолютный, а относительный характер, на что неоднократно указывали исследователи. По мнению Г. В. Колшанского, «...грамматический субъект и предикат как результат функционального членения высказывания по существу безразличны к тем значениям, которые заключаются в словах и словосочетаниях, выступающих в роли субъекта и предиката... Что касается классов слов, семантических или морфологических, то о них можно говорить в этом плане как о словах с той или иной преобладающей синтаксической функцией. Например, так называемые имена идентифицирующие и предикатные по существу выполняют соответственно субъектную и предикатную роль в высказывании, но это абсолютно не означает принципиального ограничения для этих классов слов выступать и в противоположных функциях в различных типах высказываний» [24].

Постулируя номинативный характер фразеологической семантики, мы могли бы утверждать, что фразеологизмы именуют не предметы (в широком смысле), а понятия о них (такое мнение встречается в специальной литературе). Известно, однако, что обозначение предмета всегда опосредовано понятием о нем, причем содержание понятия является отражением в нашем сознании совокупности существенных отличительных свойств, признаков и отношений предмета. Кроме того, принятие такой точки зрения привело бы нас к признанию унилатеральности, односторонности языкового знака. Мы же стоим на позициях двусторонней природы языкового знака: первая сторона знака — его материальный экспонент, чувственно воспринимаемый в процессе общения, вторая сторона — идеальная, «включающая а) отражение экспонента в сознании и б) общественно закрепленную за этим экспонентом содержательную информацию, т. е. содержание знака» [22, ср. 23—24]. «Сущность всякого знака заключается в том, что он является знаком „чего-то“, а это „что-то“, конечно, должно быть вне его самого — иначе знак и не был бы знаком...» [25]. Это «что-то», находящееся вне фразеологических знаков, сводится к признакам (в широком смысле) предметов объективного мира, отражаемым в языковых формах.

Иллюзия нереферентности, неноминативности идиом может поддерживаться, таким образом, спецификой их денотатов: это не классы предметов, а классы признаков предметов. Они существуют в объективной действи-

тельности не изолированно (хотя как объекты научного познания они могут «отчуждаться» от предметов), а в качестве своеобразных инкорпораций в «плоть» предметов, являясь их сущностными характеристиками.

Следовательно, фразеологические единицы могут быть квалифицированы как бифункциональные знаки, осуществляющие и идентифицирующую, и предикатную функции. Эта функциональная двойственность фразеологических знаков обнаруживается в том, что их знаковая форма представляет собой свернутую пропозицию, субъект которой включен в нее в качестве облигатной переменной. Идиомы неравноценны, неоднородны семантически и функционально, в частности по их способности идентифицировать и оценивать предметы внеязыковой действительности. Характеристика идиом по их соотношению с действительностью и мышлением может стать предметом самостоятельного научного исследования⁷.

Высказанные нами соображения согласуются с существующими в современном отечественном языкознании концепциями лексического значения [1—8, 20, 26, 27]. Нами сделана попытка приложить, «примерить» эти концепции к фразеологическому материалу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Уфимцева А. А. Семантика слова.— В кн.: Аспекты семантических исследований. М., 1980.
2. Уфимцева А. А. Типы словесных знаков. М., 1974.
3. Арутюнова Н. Д. Коммуникативная функция и значение слова.— ФН, 1973, № 3.
4. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М., 1976.
5. Арутюнова Н. Д. Номинация и текст.— В кн.: Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977.
6. Арутюнова Н. Д. К проблеме функциональных типов лексического значения.— В кн.: Аспекты семантических исследований. М., 1980, с. 162 и сл.
7. Степанов Ю. С. Номинация, семантика, семиология (виды семантических определений в современной лексикологии).— В кн.: Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977.
8. Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.
9. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М., 1972, с. 27.
10. Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова.— ВЯ, 1953, № 5, с. 24.
11. Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. Труды юбилейной научной сессии. Секция филол. наук. Л., 1946, с. 63.
12. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций.— В кн.: Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977, с. 233.
13. Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. М., 1973, с. 47.
14. Уемов А. И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963, с. 47.
15. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
16. Распопов И. П. Несколько замечаний о так называемой семантической структуре предложения.— ВЯ, 1981, № 4, с. 26.
17. Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. М., 1980.
18. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 111.
19. Арутюнова Н. Д. Семантическая структура и функции субъекта.— ИАН СЛЯ, 1979, № 4, с. 331—332.
20. Телия В. Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М., 1981.
21. Кошанский Г. В. Коммуникативная грамматика и лингвистическая интерпретация категорий субъекта и предиката.— ИАН СЛЯ, 1979, № 4, с. 321.
22. Маслово Ю. С. Какие языковые единицы целесообразно считать знаками? — В кн.: Язык и мышление. М., 1967, с. 285.
23. Уфимцева А. А. Понятие языкового знака.— В кн.: Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 112 и сл.
24. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1971, с. 109—112.
25. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973, с. 15—16.
26. Телия В. Н. Вторичная номинация и ее виды.— В кн.: Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977.
27. Телия В. Н. Семантика связанных значений слов и их сочетаемости.— В кн.: Аспекты семантических исследований. М., 1980.

⁷ В [20, с. 136—222] на материале фразеологических сочетаний разработана оригинальная типология связанного значения слова в его отнесенности к миру.

ЗАБАВНИКОВ Б. Н.

К ПРОБЛЕМЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО АКТА (РЕЧЕВОГО ДЕЙСТВИЯ)

Понятие «речевой акт» в современной лингвистике еще не установилось. Речевые акты по-разному интерпретировались и интерпретируются в различных научных школах и направлениях. Н. С. Трубецкой, например, считал, что речевой акт имеет место каждый раз, когда один человек общается что-либо другому [1, с. 7]. Н. Д. Андреев и Л. Р. Зиндер называют речевой акт процессом, в ходе которого продуцируются средства выражения языка [2, с. 16]. А. А. Реформатский понимал под речевым актом индивидуальное коммуникативное употребление языка в единстве говорения и слушания, письма и понимания [3, с. 21]. В западноевропейской науке широкую популярность приобрели в последние годы идеи, разработанные Дж. Остином, Дж. Сирлем и др. [4, 5, ср. 6]. Причем ими рассматривается не речевой акт в целом, а только та из его сторон, которая характеризует коммуникативную направленность. В этой связи появилось несколько попыток структурирования речевого акта, которые вытекают из деления его на более мелкие единицы. Так, например, Дж. Остин делит речевой акт на следующие частичные акты: I л о к у т и в н ы й а к т: а) фонетический акт (говорящий артикулирует звуки); б) фатический акт (использование слов и предложений по определенным грамматическим правилам); с) ретический акт [говорящий употребляет слова и предложения с определенным значением (референция)]; II и л л о к у т и в н ы й а к т (установление социальных отношений между участниками коммуникативной деятельности); III п е р л о к у т и в н ы й а к т [определенные эмоции, которые появляются у слушающего в результате осуществления говорящим речевого действия (возмущение, удивление и т. д.)] [4, с. 103 и сл.].

Такое деление речевого акта, возникшее из полемики о разграничении понятий «перформативный» и «констативный» [7—11], содержит в себе много рациональных элементов структуры речевого акта, хотя сами понятия «перформативный» и «констативный» и не приобрели классификационной ценности, т. к. в своей основе все языковые высказывания являются перформативными.

Важным, с нашей точки зрения, является, однако, факт, что в ходе этой полемики было впервые обращено серьезное внимание на то, что с помощью языковых высказываний совершаются р е ч е в ы е д е й с т в и я. В теории речевого акта Дж. Остина [4] был предпринят систематический анализ характера таких действий. Он попытался объяснить, как совершаются эти речевые действия. Например, с помощью немецкого высказывания *Der Hund ist bissig* «Собака кусается» реализуется предложение. Этот акт называется Остином л о к у т и в н ы м. Однако с помощью высказываний можно совершать действие не только в локутивном смысле. При помощи высказывания *Der Hund ist bissig* можно, например, предостеречь кого-либо от этой собаки, или посоветовать не дразнить собаку, или порекомендовать ее кому-либо, кто ищет злоую сторожевую собаку, и т. п. Действие, которое совершают при помощи локутивного акта в какой-либо одной определенной ситуации, называется и л л о к у т и в н ы м актом. Результатом такого акта является то, что одно высказывание играет только одну иллюкутивную роль (предостережение, совет, рекомендация и т. д.). Какой эта роль является в каждом отдельном случае,

зависит от обстоятельств, в которых осуществляется высказывание. Если оно содержит определенный каузальный эффект, т. е. вызывает определенные чувства, мысли или действия, то с помощью такого высказывания осуществляется еще и *п е р л о к у т и в н ы й* акт. Главное отличие иллокутивного акта от перлокутивного состоит поэтому в том, что первый осуществляется на основании языковой конвенциональности; это проявляется в невозможности осуществления перлокутивных актов чисто перформативно. Локутивный, иллокутивный и перлокутивный акт не являются, таким образом, тремя различными актами, которые осуществляются последовательно: речь здесь идет о различных аспектах только одного комплексного речевого действия, осуществляемого при помощи высказывания.

Несколько иное представление о структуре речевого акта дает Дж. Сирль. По его мнению, осуществление такого акта надо анализировать как синхронную реализацию трех частичных актов (*Aktsorten*) [12, с. 54], которые он называет: 1) актом выражения (выражение морфем, слов, предложений); 2) пропозициональным актом (референция и предикация); 3) иллокутивным актом (утверждения, вопросы, приказания и т. п.). Вслед за Остином он вводит, наконец, еще и 4) перлокутивный акт, при помощи которого должно быть учтено воздействие иллокутивного акта, связываемое с мыслями, предположениями и т. д. слушающего [5, с. 17]. Следует, однако, указать на то, что структурирование речевого акта Сирлем во многом повторяет положения Остина в несколько измененном виде. У обоих авторов речь идет об актах, которые говорящий осуществляет синхронно. Терминология Сирля не отличается значительно от терминологии Остина. Различие состоит только в том, что Сирль называет фонетический и фатический акты актом выражения, а ретический — пропозициональным актом.

Семантическое разграничение пропозиционального и соответственно иллокутивного актов, по мнению Сирля [5], дает возможность различать два элемента синтаксической структуры предложения: пропозициональный индикатор и индикатор иллокутивной роли. Последний указывает, как следует понимать пропозицию, а также какую иллокутивную роль должно играть высказывание. Иллокутивными индикаторами являются, например, порядок слов, ударение, знаки препинания, временные формы и наклонения глаголов, эксплицитно перформативные формулы.

При формулировании необходимых и достаточных условий для успешного осуществления иллокутивных актов, а также для корректного использования соответствующих иллокутивных индикаторов Сирль проводит различие между: 1) нормальными условиями «входа» и «выхода», которые должны обеспечивать реализацию осмысленного говорения и понимания; 2) условиями пропозиционального содержания. Здесь пропозиция изолируется от остальной части речевого акта и характеризуется соответственно особенностям данного иллокутивного акта. При обещании, например, говорящий *S* должен назвать будущий акт *A*; 3) условиями введения, которые касаются, во-первых, того факта, что акт должен иметь смысл или цель (т. е. что нельзя никому, скажем, приказывать сделать то, что он уже делает); во-вторых, того, что эти условия объясняются данными, которыми должны обладать говорящий и слушающий в зависимости от вида осуществляемого акта (например, тот, в адрес кого направлен приказ, должен быть в состоянии выполнить соответствующее действие, а говорящий должен с этим согласиться); 4) природой соответствующего иллокутивного акта (например, при обещании речь идет о намерении говорящего совершить определенное действие). При этом данное высказывание должно представлять собой реализацию соответствующего иллокутивного акта.

Все это говорит о том, что в работах Остина и Сирля по структурированию речевого акта содержится много рационального для дальнейших исследований проблемы. Сюда относятся: рассмотрение высказывания как речевого действия; вычленение в речевом акте иллокутивного акта, т. е. рассмотрение высказывания только в одной коммуникативной ситуации; вычленение пропозициональных актов (референтных и предика-

тивных), т. е. рассмотрение референции и предикации в определенной коммуникативной ситуации.

Вместе с тем положения, высказанные указанными авторами относительно структурирования речевого акта, нельзя признать окончательными. Это прежде всего касается теории речевого акта Сирля: речевой акт определяется им как «продукт или производное предложения при определенных условиях» и трактуется в качестве «основной или наименьшей единицы языковой коммуникативной деятельности» [5, с. 16]. Такое исходное определение является весьма неполным, т. к. не содержит еще указаний на то, что осуществление речевого акта путем реализации предложения представляет собой гораздо большее, чем просто акустико-оптическое событие, а именно, что оно является намеренным языковым *д е й с т в и е м*.

Сирль рассматривает языковое действие лишь на уровне осуществления элементарных речевых действий путем реализации *о д н о г о* предложения, иногда состоящего только из одного слова. Таким образом, он ограничивает речевое действие более узким понятием речевого акта (например, приветствие, приказание, обещание и т. д. [5, с. 16]).

При осуществлении речевых актов участник коммуникативного действия преследует определенные намерения в отношении партнера по коммуникативной деятельности, другими словами, речевой акт является социально-релевантным действием. Следовательно, речевые акты не только могут считаться категориями социально нормированных форм коммуникативной деятельности, но и вообще могут быть поняты как элементарные формы коммуникативного действия, осуществляемого с помощью языка. При этом анализ речевых актов как элементарных форм коммуникации является одной стороной вопроса, а анализ отдельных языковых средств выражения, которые могут быть реализованы при осуществлении речевых актов, — другой.

Однако в рамках отдельного языка (госр. социолекта и т. д.) для осуществления речевых актов имеются различные конвенционализированные реализации. Так, например, приглашение может быть осуществлено с помощью эксплицитной перформативной формулы [13, с. 15], посредством иллокутивного индикатора [13, с. 18] или с помощью косвенного речевого действия [13, с. 18 и сл.]. Непонятно поэтому, почему Сирль утверждает, что адекватное исследование речевых актов является исследованием *langue* в соскжоровском смысле и что не существует в отдельности исследования значений предложений и исследования осуществления речевых актов [5, с. 17 и сл.].

Сирль выдвигает так называемый принцип выразительности («*Whatever can be meant can be said*» «Все, что может что-нибудь означать, может быть высказано») [5, с. 17—19 и сл.]. Однако, с одной стороны, он принимает этот принцип в смысле *в о з м о ж н о й* выразительности [14, с. 8], когда утверждает, что при определенных обстоятельствах в определенном языке отсутствуют средства выражения намерения и что нет принципиальных ограничений обогащения языка синтаксическими или лексическими средствами выражения [5, с. 17]. С другой стороны, Сирль понимает указанный принцип как принцип *д е й с т в и т е л ь н о й* выразительности, утверждая, что имеется только одна семантика (семантика отдельных речевых актов), т. е. в этом случае анализ отдельного языка (*langue*) совпадает с анализом речевого акта.

Принятие принципа выразительности приводит к тому, что Сирль ограничивает анализ элементарных форм коммуникативной деятельности такими, которые реализуются при помощи перформативных глаголов (или глаголообразных выражений этого типа), как, например, нем. *befehlen* «приказывать», *ein Versprechen geben* «обещать» и т. д. Языковые формы коммуникативной деятельности, реализованные при помощи таких глаголов (или глаголообразных выражений), могут, однако, быть понятными как свойства, выделенные из связей языковых действий. Ограничение анализа элементарных языковых форм областью перформативных глаголов дает Сирлю возможность рассматривать языковую коммуникацию как своеобразное «поле деятельности» относительно свободных свя-

зей речевых действий и общественных норм «согласованного» целенаправленного взаимопонимания. Это видно из того, что правила Сирля относительно независимы от контекста [15, с. 17].

Неудовлетворительным является и определение Сирлем «эффекта перлокутивности»: как показывают примеры, его интересуют в первую очередь «эффекты», связанные правилами с иллокутивным актом. Здесь следовало бы говорить, однако, о регулируемом правилами воздействии иллокутивного акта [4, с. 45]. «Перлокутивным эффектом» можно было бы назвать в этом случае реализацию не регулируемых правилами воздействий, которые связаны с побочными условиями коммуникативной ситуации (например, с силой убежденности говорящего). В этом проявляется непоследовательность теории Сирля, который опирается в основном на идеи Хомского [16, с. 25 и сл.].

Итак, занимаясь анализом иллокутивных актов как элементарных форм коммуникативной деятельности, Сирль неправомерно считает, что исследует в ы р а ж е н и я, другими словами, что он дает правила употребления выражений в качестве «утверждений о языке» («statements about language») [5, с. 5].

Каким образом приходит Сирль к такому убеждению? Ответом на этот вопрос может быть следующее его высказывание: «Речевое действие включено в очень сложную нормативную форму поведения. Изучать язык и совершенствоваться в нем значит *inter alia* изучать эти правила и совершенствоваться в их применении. ... Отсюда следует ..., что когда я как говорящий на родном языке (*native speaker*), даю лингвистические характеристики..., я имею в виду не поведение группы, а описательные аспекты моего собственного владения нормативной техникой» [5, с. 12].

Когда Сирль, например, анализирует речевой акт приказания, он описывает его, как он утверждает, интуитивно на основании правил, приобретенных им как *native speaker* при изучении английского языка.

Теоретическая суть метода Сирля состоит в том, что лингвистические характеристики в языке являются по существу высказываниями, созданными на основании правил языка, т. е. манифестируют владение языком [5, с. 12]. Сирль полагает, что может таким образом решить проблему верификации лингвистических характеристик: «Оправданием моих лингвистических положений, выражающихся в моих лингвистических характеристиках, — говорит он, — служит просто то, что я *native speaker* определенного диалекта английского языка и, следовательно, руководствуюсь правилами этого диалекта, влияние которого частично описано и выяснено в моих лингвистических характеристиках элементов этого диалекта» [5, с. 13]. Проверка лингвистических характеристик, по мнению Сирля, следовательно, не нужна (например, проверка, правильно или ложно он осуществил обобщение эмпирических, в частности, статистических, данных). Он исходит из эмпирической гипотезы, согласно которой только его (Сирля) идиолект совпадает с диалектом (например, с социолектом и т. д.) данной группы говорящих. Другими словами, Сирль ссылается здесь на коммуникативный опыт *native speaker*'а, который опирается на взаимопонимание в социолектах, что можно, вероятно, объяснить соблюдением общепринятых правил. То, что интуиция может быть ложной, он не отрицает («*speaker's intuitions are notoriously fallible*») [5, с. 14]. Но ошибка объясняется им не ложным обобщением данных, которые касаются поведения других, а трудностью преобразования «*knowing how*» в «*knowing that*» [5, с. 14]. Сирль видит источник ошибок в том, что рассматривается, по-видимому, недостаточное количество примеров или эти примеры ложно интерпретируются, т. е. он допускает, что интуиция может быть направлена по ложному пути.

Ошибочность структурирования речевого акта Сирля заключается, по нашему мнению, еще и в том, что он опирается только на семантику отдельных речевых актов и отрицает интеграцию семантики₁ (семантики отдельных речевых актов) и семантики₂ (семантики средств выражения языка), что, как нам представляется, лучше обосновывает структурирование речевого акта.

Особенно важным является вопрос исчерпывающего описания классов средств выражения языка в отношении их выразительности при осуществлении частичных речевых актов. Недостаточно анализировать, например, темпоральные средства выражения языка в отношении акта временной референции, который должен быть осуществлен. Эти темпоральные средства должны быть проанализированы также и в отношении их функционирования при детерминировании иллокутивных актов. Однако систематизация типов иллокутивных актов до сих пор никем еще не была осуществлена [18, с. 119 и сл.], так что в этой области возможны пока описания только отдельных конкретных случаев. Но эта проблема относится скорее к типологии речевых актов, чем к их структурированию, т. к. ее задачей должно стать сравнительное изучение существенных признаков различных речевых актов, например, репрезентативных (*утверждать, устанавливать, описывать*), директивных (*приказывать, побуждать, разрешать, советовать*), комиссивных (*обещать, объявлять, угрожать*), экспрессивных (*благодарить, поздравлять, извиняться*), декларативных (*объявлять войну, жениться, уволиться*), косвенных и прямых речевых актов и т. д. Следует специально оговорить, что структурирование речевых актов взаимосвязано с их типологией, иначе говоря, оно возможно только при условии установления типологических характеристик этих актов в ходе специального исследования.

Вообще в связи с теорией семантики₁ следует заметить, что, в противоположность анализу иллокутивных актов, вопрос о приемлемости принципа выразительности на уровне осуществления частичного речевого акта ставится не в такой острой форме. Так, например, в акте референции как намерение, так и выразительность этого намерения являются частью повседневного коммуникативного опыта. То, что референтные акты успешно осуществляются, является также частью этого опыта, который доступен более непосредственно, чем опыт иллокутивных актов как форм языковой коммуникативной деятельности с социальной релевантностью. Принцип выразительности может быть представлен поэтому на уровне частичного речевого акта как теоретический постулат, поскольку он истолковывается в этом случае как «принцип коммуникативной деятельности» [17, с. 5]. Важным условием успешно осуществленного частичного речевого акта является то, что все, что мыслится, может быть выражено таким образом, что оно соответствует знаниям, ожиданиям и предположениям слушающего.

В то время как анализ иллокутивных актов эксплицирует опыт как отражение на элементарные формы языковой коммуникации, которые затрагивают в конечном счете социальные контексты и контексты действий, опыт является в отношении частичных речевых актов непосредственно «языковым». Осуществление частичных речевых актов направлено в значительной мере на «появление понимания», а не на «последствия» коммуникативного акта, объясняемые действием [17, с. 22]. Это положение имеет силу только тогда (и в этом случае обязательно), когда в рамках семантики₂ средства выражения, используемые для осуществления частичных речевых актов, соотносятся также и с иллокутивным актом.

Итак, семантика₁ частичных речевых актов дает некоторый ответ на элементарном уровне на вопрос об идентичности в коммуникативной деятельности. Недостаточно поэтому реконструировать нормативные правила средств выражения языка при осуществлении только речевых/частичных актов, но необходимо учитывать и все аспекты языка как многогранной социальной структуры. Эту множественность можно классифицировать следующим образом: (1) специфичность для различных слоев общества; (2) специфичность для различных ситуаций; (3) медальность; (4) ареальность; (5) диахронность; (6) степень владения языком.

Решение проблемы множественности средств выражения (в каждом отдельном языке) может быть, по нашему мнению, осуществлено при конституировании правил не с помощью интуитивных суждений, а на основе большого фактического материала.

Опора на фактический материал важна не только для исследования

высказываний как таковых [ср. 18, с. 32—42], но и позволяет делать выводы о ситуативно-специфических различных ситуациях при употреблении средств выражения языка. Если функция различных средств выражения идентична, то может быть гипотетически рассмотрено употребление соответствующих вариантов. На этом основании можно прийти к выводу о различных уровнях стилей [19, § 4, 2]. Тот факт, что теория речевого акта должна учитывать существование специфических групповых и специфических речевых вариантов, делает необходимым проводить различие в средствах выражения между содержательной и выразительной сторонами [20].

Разложение речевого акта на его составные части открывает, в конечном счете, при учете принципиального изменения предмета языка, возможность более исчерпывающего описания средств выражения (resp. социолекта), т. е. нормативных правил, которым следуют участники коммуникативной деятельности, когда они употребляют языковые средства выражения для реализации отдельных (частичных) речевых актов. Речевым актом можно поэтому назвать элементарную единицу языковой коммуникации, т. е. языковое высказывание, представляющее социальное действие в данном ситуативном контексте и устанавливающее двусторонние отношения между говорящим и слушающим на основании правил реализации речевых актов и норм средств выражения языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960.
2. Андреев Н. Д., Зиндер Л. Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой нерязости и языка. — ВЯ, 1963, № 3.
3. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1960.
4. Austin J. L. How to do things with words. Cambridge (Mass.), 1962.
5. Searle J. R. Speech acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge, 1970.
6. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
7. Walker J. D. B. Statements and performatives. — In: American Philological Quarterly, 1969.
8. Lewis D. General semantics. — In: Semantics of natural language. Ed. by Davidson D., Harman G. Dordrecht, 1972.
9. Warnok G. J. Some types of performative utterance. — In: Berlin I. et al. Essays on Austin J. L. Oxford, 1973.
10. Holdcroft D. Performatives and statements. — Mind, 1974, v. 83.
11. Grewendorf G. Haben explizit performative Äußerungen einen Wahrheitswert? — In: Sprechakttheorie und Semantik. Frankfurt-am-Main, 1979.
12. Schmidt S. J. Texttheorie. Probleme einer Linguistik der sprachlichen Kommunikation. München, 1973.
13. Wunderlich D. Zur Konventionalität von Sprechhandlungen. — In: Linguistische Pragmatik. Hrsg. von Wunderlich D. Frankfurt-am-Main, 1972.
14. Wunderlich D. Skizze zu einer Sprechhandlungstheorie. — In: Wunderlich D. Grundlagen der Linguistik. Reinbek, 1974.
15. Ungeheuer G. Was heißt «Verständigung durch Sprechen»? — In: Sprache der Gegenwart. Düsseldorf, 1974, Bd. 26 — Gesprochene Sprache.
16. Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1965.
17. Kanngiesser S. Aspekte der synchronen und diachronischen Linguistik. Tübingen, 1972.
18. Nikitopoulos P. Vergriffe auf eine Thematisierung der Repräsentativität eines Corpus. — Deutsche Sprache, 1974, Hf. 1.
19. Steger H. u. a. Redekonstellation, Redekonstellationstyp, Textexemplar, Textsorte im Rahmen eines Sprachverhaltenmodells. Begründung einer Forschungshypothese. — In: Sprache der Gegenwart. Lüsseldorf, 1974, Bd. 26 — Gesprochene Sprache.
20. Schulz G. Die Bottroper Protokolle. Parataxe und Hypotaxe. München, 1973.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея Осиповича Карцевского (28.VIII 1884 — 7.XI 1955). В истории языкознания имя С. О. Карцевского связано с разработкой вопросов теории языка и синтаксиса, которые до настоящего времени продолжают волновать умы лингвистов. В теории и практике лингвистических исследований С. Карцевский исходил из общественного характера науки о языке, ее тесной связи с общественной языковой практикой и важнейшей роли языка как орудия культуры. Уместно привести слова Р. Якобсона о Карцевском: «...для него прошлое и будущее легко сочетаются вместе — обращаясь к творчеству Карцевского, которое сейчас принадлежит прошлому, мы устремляем взгляд в будущее» [1, с. 497].

Жизненный путь С. О. Карцевского не был простым. Родился он 28 августа 1884 года в г. Тобольске. Получив в 1903 г. диплом учителя, работал в школе в Тобольской губ., сотрудничал в различных изданиях. В 1906 г. Карцевского арестовывают в Москве за политическую деятельность. После года тюремного заключения он совершает побег и находит убежище в Швейцарии, где в 1907 г. поступает на филологический факультет Женевского университета. Там он слушает лекции Ф. де Соссюра и получает основательную научную подготовку под руководством Ш. Балли и А. Сеше.

В период пребывания в Женеве и позже С. Карцевского интересовала не только лингвистика, но и литературная деятельность. После того, как он становится в Петербурге лауреатом конкурса на лучшую новеллу, М. Горький приглашает молодого писателя сотрудничать в журнале «Знание».

После свержения царского режима в марте 1917 г. С. Карцевский возвращается на родину. На заседаниях Дialectологической комиссии Академии наук и в Московском университете он выступает горячим пропагандистом учения Ф. де Соссюра [2]. В Москве Карцевский знакомится с языковедами фортунатовской школы, с резкой критикой идей которой он выступил впоследствии [3]. В Москве Карцевский знакомится также с А. М. Пешковским, взгляды которого, по свидетельству самого Карцевского, были ему близки [4, с. 9].

В 1920 г. С. Карцевский уезжает за границу. Он работает в качестве университетского преподавателя в Страсбурге, где занимается также общим языкознанием под руководством А. Мейе и продолжает работу над начатой в Москве докторской диссертацией «Система русского глагола» [5]. Через два года Карцевский переезжает в Прагу, где ведет большую преподавательскую работу.

В 1927 г. С. Карцевский блестяще защищает в Женевском университете докторскую диссертацию «Система русского глагола». Более полувека продолжалась плодотворная научно-педагогическая деятельность Карцевского в Женевском университете. Он возглавлял кафедру русского языка и литературы, читал лекции и вел практические занятия по русскому языку и литературе. По свидетельству С. Стеллин-Машо, все, кому довелось учиться у Карцевского, работать вместе с ним, были восхищены новизной его мысли, его обширными познаниями не только в сфере лингвистики, но и в области русской и славянской литературы [6].

Следует отметить, что С. Карцевский играл видную роль в пропаганде русской культуры и русской литературы за рубежом. По свидетельству Р. Якобсона, С. Карцевский часто говорил: «В моей работе и движении одной любовью, и эта любовь — русский язык» [1, с. 495]. В 1923 г. Карцевский основал и стал редактором журнала «Русская школа за рубежом», выходившего в течение шести лет и пользовавшегося большой популярностью. Его перу принадлежит Антология русской литературы XIX—XX веков, предисловия ко многим произведениям русских писателей, изданным на французском языке в 40-е годы. Карцевский явился основателем в 1929 г. и руководителем до 1936 г. женевского Центра славянских языков и литератур.

С. Карцевский был в центре лингвистической жизни своего времени — принимал участие во многих международных лингвистических конгрессах, выступал с докладами в научных кругах Парижа и Копенгагена. Через посредство С. Карцевского Н. Трубецкой и Р. Якобсон, ставшие ведущими представителями Пражской лингвистической школы, познакомились с учением о языке Ф. де Соссюра. Карцевский явился одним из инициаторов создания в 1926 г. Пражского лингвистического кружка и был соавтором знаменитых «Темисов» этого кружка, напечатанных в 1929 г. Однако, как справедливо отмечают Б. Трика и другие чехословацкие языковеды — авторы коллективной статьи [7], С. Карцевский, принимавший активное участие в организационной деятельности Пражского лингвистического кружка, принадлежал тем не менее Женевской лингвистической школе, представителем которой наряду с Ш. Балли и А. Сеше он являлся. В его трудах получили развитие такие положения Женевской школы, как учение о языке и речи, принцип произвольности лингвистического знака, различение синхронии и диахронии, связь теории языка с общественной языковой практикой.

Лингвистическую концепцию С. Карцевского характеризует функциональный подход к языку, направленность исследований в область «лингвистики речи». Правила структуры, справедливо считал он, далеко не достаточны для научного описания языка и их следует дополнить правилами актуализации системы в речи.

В рамках теории актуализации С. Карцевского наибольший интерес представляет учение о фразе как актуализованной единице коммуникации. Выделение Карцевским фразы как единицы общения связано с его пониманием структурной организации языка, представленной четырьмя семиологическими планами: лексикологическим, синтаксическим (сигнагматическим), морфологическим и фонологическим [8]. Фраза понималась Карцевским как продукт синтеза единиц различных планов, фраза принадлежит высшему плану — лексикологическому, который, по существу, имеет выход в речь. Внутри каждого плана он устанавливает определенные дифференциации.

С. Карцевский настаивал на строгом отличии фразы от предложения. В отличие от предложения «фраза — актуализованная единица сообщения. Она не имеет собственной грамматической структуры. Но она имеет свою звуковую структуру, которая заключается в ее интонации. Именно интонация образует фразу» [9]. Следует заметить, что в Женевской школе никто не занимался специально вопросами интонации и интерес Карцевского к данной проблеме обусловлен, несомненно, влиянием Пражской лингвистической школы.

Занимаясь соотношением коммуникативного и грамматического аспектов предложения, С. Карцевский предложил оригинальную классификацию бессоюзных и сложноподчиненных фраз русского языка по структурным признакам [10, 11].

Изучая механизм актуализации, С. Карцевский столкнулся с явлением сдвига отношений между двумя сторонами лингвистического знания — означаемым и означающим — в процессе его актуализации. Это явление и послужило основой для известной теории асимметричного дуализма лингвистического знания, которую обычно связывают с переведенной на русский язык статьей Карцевского [12]. Между тем основные положения этой теории были изложены им еще во Введении к работе «Система русского глагола» [5]. Развивая принцип произвольности лингвистического знака, обоснованный Ф. де Соссюром и Ш. Балли, С. Карцевский показал, что в самом единстве означающего и означаемого знака заложен глубокий внутренний конфликт, который приводит к сдвигу отношений, к асимметрии двух сторон знака в процессе функционирования языка. Карцевский установил, что принцип асимметричного скрещения омонимии и синонимии распространяется на все значимые факты языка, т. е. он является существенным признаком, отличающим язык от других знаковых систем. Р. Якобсон писал: «Ничто не было так присуще уму Карцевского, как асимметричный дуализм, постоянная борьба противоположностей» [1, с. 496]. С. Карцевский думал о создании специального труда на эту тему, который намеревался озаглавить «Дифференциальный лингвистический знак» [13], но этот замысел остался неосуществленным.

Развивая идеи Ф. де Соссюра, С. Карцевский трактовал проблему диалектического противоречия, заключенного в асимметрии билатеральной сущности лингвистического знака, как движущую силу языкового развития. Учет динамики в статике выдвигалось им как одно из требований к синхронному описанию языка [3].

У С. Карцевского интерес к внутренней структуре языка, семиотической природе единиц языка творчески сочетался с вниманием к связям языка с его носителем — человеком. Он подчеркивал важную роль языка как средства приобщения широких народных масс к национальной и мировой культуре [14].

Значительны заслуги С. Карцевского в области изучения русского языка. Академик В. В. Виноградов, имея в виду С. Карцевского, писал, что «наиболее детально, четко и убедительно раскрыта система русского глагола в работах русистов, принадлежащих к так называемой „Женевской школе“» [15]. С большим интересом советскими лингвистами и методистами был встречен «Повторительный курс русского языка» С. Карцевского [4]. Как справедливо заметил Н. С. Поспелов, Карцевскому удалось сочетать «в едином учебнике освещение основ общего языкознания (с точки зрения определенной лингвистической школы) и предельно сжатое изложение системы русского языка» [16]. С. Карцевским был задуман большой труд «Грамматика русского языка». Сохранились рукописные фрагменты этого незавершенного исследования¹.

Предлагаемая вниманию читателей статья С. Карцевского «Introduction à l'étude de l'interjection» была опубликована в печатном органе Женевской лингвистической школы — «Тетрадах Фердинанда де Соссюра» (№ 1, 1941) [17] и переведена в сборнике избранных работ представителей Женевской школы [18]. В мае 1941 г. Карцевский выступил с основными положениями своей статьи на заседании Женевского общества лингвистов [17, с. 21]. Интересно отметить, что понимание Карцевским природы междометий не встретило принципиальных возражений со стороны Ш. Балли, А. Сепе, Э. Сольберге и других членов общества, выступивших в дискуссии. Судя по двум рукописным вариантам статьи, имеющимся в архиве С. Карцевского (папка № 14, мат. 12 и 13), работа над ней была начата в сентябре 1940 года. В рукописи статьи имеется пометка: *Посвящается Н. С. Трубецкому*.

В рукописи статьи содержатся некоторые детали, например, имеются замечания о том, что восклицания играют роль актуализаторов, наделая повествовательные фразы восклицательной интонацией. Ономастопея же фраз не образуют и могут употреб-

¹ Архив С. О. Карцевского хранится в рукописном отделе Института русского языка АН СССР (фонд № 16).

латься только как элементы бессоюзных структур, сближаясь в этом отношении с прямой речью. На восклицания распространяется принцип асимметричного скрепления омонимии и синонимии. В рукописном варианте статьи (мат. № 12) приводятся примеры, не вошедшие в публикацию: чувство страха может быть выражено восклицаниями *ах! ох! ух! ой! ай!* и др., при этом все они произносятся одним и тем же тоном. В том же рукописном варианте Карцевский высказывает мысль о целесообразности изучения восклицательных междометий в контексте таких паралингвистических средств, как жесты и мимика. Он высказывает также предположение, что значения так называемых навазированных восклицаний типа *ах* совпадают во многих языках.

Выходя за рамки статического описания фактов языка, С. Карцевский устанавливает производные связи междометных глаголов, выдвигает гипотезу о генетическом родстве сочинительных союзов *но, а, да* и *и* с восклицательными междометиями. Применяя учение Н. Трубецкого о фонологических оппозициях к качественно иному уровню — лексическому, С. Карцевский приходит к заключению, что восклицания русского языка, используемые в диалоге, образуют систему.

Статья С. Карцевского «Введение в изучение междометий» печатается без каких-либо сокращений и изменений. В тексте статьи сохранены все авторские выделения (кавычки, курсив). Текст дается в переводе с французского, выполненном нами.

Кузнецов В. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jakobson R. Serge Karcevsky. — In: Portraits of linguists. V. 2. Bloomington — London, 1966.
2. Сяосарева Н. А., Кузнецов В. Г. Из истории советского языкознания. Рукописные материалы С. И. Бернштейна о Ф. де Соссюре. — ИАН СЛЯ, 1976, № 5, с. 44.
3. Карцевский С. О. О формально-грамматическом направлении. — Русская школа за рубежом, 1925, № 12.
4. Карцевский С. Повторительный курс русского языка. М., 1928.
5. Karcevsky S. Système du verbe russe. Prague, 1927.
6. Stelling-Michaud S. Serge Karcevsky (Notice biographique). — Cahiers F. de Saussure, 1956, № 14, p. 6—7.
7. Трика В. и др. К дискуссии по вопросам структурализма. — В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965.
8. Karcevsky S. Les systèmes phonologiques envisagés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec la structure générale de la langue. — In: Actes du 2-e Congrès intern. de linguistes. Paris, 1933.
9. Karcevsky S. Sur la phonologie de la phrase. — TCLP, 1931, IV, № 4.
10. Karcevsky S. Sur la parataxe et la syntaxe en russe. — Cahiers F. de Saussure, 1948, № 7.
11. Karcevsky S. Deux propositions dans une seule phrase. — Cahiers F. de Saussure, 1956, № 14.
12. Карцевский С. Об асимметричном дуализме лингвистического знака. — В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965.
13. Карцевский С. Еще к вопросу об учебниках А. М. Пешковского. — Родной язык и литература в трудовой школе, 1928, № 1.
14. Кузнецов В. Г. Язык как орудие культуры в концепции лингвистов Женевской школы Ш. Балли, А. Сеше и С. Карцевского. — ФН, 1975, № 2.
15. Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947.
16. Поспелов Н. С. О лингвистическом наследстве С. Карцевского. — ВЯ, 1957, № 4, с. 47.
17. Cahiers F. de Saussure, 1941, № 1.
18. A Geneva School Reader in Linguistics. Ed. by Godel R. Bloomington—London, 1969, p. 196—212.

КАРЦЕВСКИЙ С.

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДОМЕТИЙ

A-a-a! — воскликнул он по-португальски

I

Эта короткая фраза нам кажется забавной, а между тем употребивший ее А. Дюма-отец вовсе не намеревался придать ей комический эффект. Мы можем даже пошутить по поводу такой оплошности, допущенной автором. Хочется задать себе вопрос: ну а как это *aha!* будет звучать по-немецки, по-русски...? Дело в том, что мы ни на минуту не сомневаемся, что речь идет о «естественном» языке, который нет необходимости учить. Но, чтобы иметь основания так рассуждать, следовало бы сначала предпринять систематическое изучение употребления восклицательных слов в

самых различных местах нашей планеты. Однако междометия не пользуются вниманием со стороны лингвистов, и если кто-нибудь захочет составить о них более глубокое представление, он столкнется с серьезными трудностями.

При изучении этой группы «слов» неизбежно сталкиваются с проблемой произвольного и мотивированного знака. После Ф. де Соссюра и Ш. Балли трудно сказать что-нибудь новое по этому вопросу. Ниже речь пойдет только об определенном осмыслении данной проблемы.

Путем беспрестанных взаимодействий между собой означаемые оформляются в *понятия*. Над знаками, которые интегрируют понятия, так сказать, надстраивается идеальный план. Подобным образом, в результате аналогичных взаимодействий означающих происходит становление рядов дифференциальных оппозиций. Образуется звуковой план, подчиняющийся принципам своей организации все множество означающих. А это приводит к тому, что каждый знак разделяется на означаемое и означающее, связанные между собой только в силу социального принуждения. Таким путем естественный сигнал превращается в *произвольный знак*. В силу своей природы он неизбежно вовлекается в сложную игру омонимии и синонимии, которая сама по себе может служить достаточным основанием, чтобы отличить язык от других семиологических систем. Именно в этом, в действительности, и заключается «жизнь» языка: благодаря подвижному характеру знака имеется возможность обозначать все новые и новые ситуации постоянно изменяющейся действительности.

Если бы знак был *полностью мотивированным*, он не разделялся бы на означаемое и означающее, а это привело бы к невозможности омонимии и синонимии. Знак не имел бы концептуальной значимости и представлял бы собой неразложимый звуковой блок. Его функционирование значительно затруднило бы осуществление акта фонации и акта аудирования, противопоставление которых является элементарным условием речевого общения. В действительности, *полностью* мотивированных знаков в языке нет, но это понятие является очень удобным теоретическим постулатом с методологической точки зрения.

В языке господствует произвольный знак. В то же время в нем ведется непрестанная борьба между тенденцией к произвольности и противоположной тенденцией к мотивированности знака. Соотношение между этими двумя силами меняется как от одного языка к другому, так и в пределах одной и той же языковой системы. В русском языке, например, очень большую роль играет деривация. По соссюровской терминологии производное слово является «относительно мотивированным» знаком, следовательно, в русском языке тенденции к мотивированности проявляются гораздо сильнее, чем, например, во французском или английском. Согласно все той же терминологии эти языки относятся к «лексикологическому» типу, в то время как русский является «грамматическим» языком. В семиологическом плане междометия представляют собой преимущественно мотивированные знаки. Однако фонологическая система (*la phonologie*) — по определению область действия произвольного знака — существенно ограничивает мотивированность, подчиняя звуковую структуру большинства междометий своим собственным принципам организации.

Представляя собой мотивированный знак, междометие в то же время принадлежит языку, который оказывает существенное воздействие на его отличительные признаки. «Означаемое», правда, сохраняет не-концептуальную ценность, но «означающее» часто испытывает аналитическое действие фонологической системы. Омонимия и синонимия также оказывают определенное влияние на знак.

II

Мы постараемся прежде всего установить отличие междометия от других языковых знаков, чтобы показать его отличительные черты.

Несмотря на постоянное давление со стороны фонологической системы, звуковой аспект междометий отличается большим своеобразием. Вот некоторые примеры.

Французский язык, в котором отсутствуют грифтонги, обозначает, однако, крик кошки *miaou*. Несмотря также на отсутствие вокализованного г шум, который производит взлетающая птица, обозначается *fttt*. В русском языке нет звукосочетания *pw*, а между тем по-русски кошка кричит *мяу* (*m'aw*), собака издает *гав-гав* (*haw-haw*), крик ребенка передается как *ya-ya* (*wā-wā*).

Чтобы остановить лошадь, русский, а также финн кричат «*тпру*», что есть не что иное, как долгий билабиальный *p*. В русском *ф* никогда не встречается перед гласной, однако это правило не распространяется на междометия: *фу* (отталкивающий запах), *фырк* или *фркк* (фыркание лошади) и т. д.¹ Уже в процессе эволюции общеславянского языка начальное *э* получило протезу, но восклицания обходятся без нее; например, в русском *эл*, *эел*, *эл*, *эй*! Это восклицательное *э* перешло, к тому же, в дейсисы *этот*, *так*, а также в восклицательные местоимения *экой*, *эдакой*, не говоря о восклицательных дейксисах народного языка *эвот*, *эвон* и др. В отличие от союза междометие всегда находится под ударением. С этим связаны некоторые отклонения в фонологической системе русского языка. Так, например, в междометии *штэп* (на письме *чтоб*), когда оно употребляется в качестве восклицания в ругательстве *чтоб тебя!*..., ударение падает на редуцированный гласный, который, как правило, должен быть безударным. В восклицании *но!* (запретительно-увещательное), функционирующего в качестве союза «но» сохраняется звук *о*, хотя оно и является безударным, что противоречит фонологическим законам русского языка. Последний пример: в местоимении *он*, даже в безударном положении во фразе, *о* не редуцируется, исключение составляет употребление в инверсии. Дело в том, что в первом случае его можно спутать с восклицательной частицей *ам!*, во втором же случае такое невозможно, поскольку восклицание никогда не образует энклизы.

Количество подобных примеров легко увеличить. Однако, нам кажется, что и приведенных достаточно, чтобы показать, что звуковая структура междометий не подчиняется полностью закономерностям фонологической системы.

Общим для всех междометий является отсутствие у них концептуальной значимости. Не случайно их считают словами, образующими особую «часть речи», хотя и соотносительную с другими частями речи². Условием существования понятия является его вхождение в систему понятий, ограничение и соотнесение с себе подобными. Понятие представляет собой орудие классификации. В наших языках концептуальная природа слова отчетливо выражена благодаря формальным значимостям, заключенным в слове, которые образуют семантическую значимость и относят слово к определенной категории. Ничего подобного мы не обнаруживаем в междометиях. Ни *мяу*, ни *а-а-а!* не имеют никаких формальных показателей. Более того, мы сможем убедиться в том, что употребление этих знаков во многом отличается от функционирования частей речи. Междометия принадлежат особому семиологическому плану.

Язык в качестве семиологического механизма не является «одноплановым». Языковые знаки не выполняют одну и ту же семиологическую функцию. Если обычные слова, части речи, обозначают «вещи», то числительные их *перечисляют*, а местоимения *указывают* на них. Это не одно и то же. Что касается междометий, они *сигнализируют* о присутствии кого-либо. Междометия принадлежат не-концептуальному плану, который тем самым противопоставляется всем другим семиологическим планам. Отметим попутно, не углубляясь в суть проблемы, что восклицания и местоимения связаны между собой довольно любопытным образом, что дает основание говорить об их общем происхождении. То, что называют «фонологической системой», управляет звуковой структурой концептуальных семиологических планов и, в первую очередь, звуковой структурой слов, организованных в части речи. Но ее воздействие практически не распространяется на не-концептуальный план, к которому принадлежат междометия.

До настоящего времени мы рассматривали междометия все вместе. Перейдем теперь к их классификации.

Самое первое заключение, которое позволяют нам сделать факты, состоит в том, что восклицания употребляются совсем иначе, чем все остальные междометия. Это послужило основанием для разделения междометий на два больших класса: 1) *восклицания* и 2) *не-восклицания*. При ближайшем рассмотрении последнего класса выясняется, что общим признаком входящих в него междометий является их звукоподражательный характер. Своим звучанием они имитируют либо крики животных, либо воспроизводят различные природные и естественные шумы. Таким образом, мы приходим к следующему делению: 1) *ономатопеи* и 2) *не-ономатопеи* или *восклицания*.

Восклицания можно рассматривать как преднамеренные человеческие «выкрики». Аналогия же с криками животных тут не подходит. Вообще говоря, крик каждого животного обозначается по-своему. Исключения довольно редки и касаются наиболее привычных нам животных. Так, кошка кричит *мяу*, а также издает *мур-мур* (*ron-ron*). По русски говорят, что большая собака лает *гав-гав*, а маленькая тявкает *тяф-тяф*. Впрочем, в данном случае можно иметь в виду две разные породы собак. И наоборот, такое то животное издает определенный крик. Нельзя ли рассматривать — в переносном смысле, разумеется — шумы как «крики» вещей? Но и здесь соотнесенность выдерживается далеко не всегда. Большинство шумов являются «анонимными»: *трах!* (*ulan!*), *хлоп!* (*pan!*), *бах!* (*boum!*). Некоторые имеют определенные источники происхождения: *тик-так*, *пиф-паф*, *фррр*, *уа-уа*, либо имитируют кашель, смех, и т. д. Из этого следует, что восклицания характеризуются двояко: они являются *речевым* произведением, но произведение это исполняется *намеренно*. Имитация капля в каком-нибудь повествовании всего лишь передача своего рода шума, а покашливание как предупредительный сигнал функционирует в данном случае в качестве восклицания. Лай собаки с целью привлечь внимание хозяина, как бы он ни был намеренным, остается криком. Можно пойти еще дальше. Крики ребенка, настойчиво зовущего мать, также не являются восклицаниями. Это означает, что одни намеренно произносимые звуки человеческого голоса являются «зарегистрированными» фактами языка, другие же отвергаются им в силу их принадлежности к сфере естественных речевых реакций.

Мотивированность звукоподражательных междометий вполне очевидна. Эти междометия обозначают воспринимаемые на слух явления действительности. Носитель языка без труда устанавливает, что звуки *ку-ку* издает такая-то птица, а звуки *ку-ка-ре-ку* — другая. Но мотивированный характер восклицаний проявляется менее отчетливо. Ведь в первом случае имеет место слуховое восприятие, акт аудирования, а восклицание является речевым произведением, актом фонации. На условия протекания фонации оказывают воздействие прежде всего эмоции, которые и мотивируют звуковой облик восклицаний. Эта мотивированность находит выражение в явлениях, которые сопровождают проявление эмоций голосом: изменение тона, мимике, иногда в жестах. Психофизиологическая природа образа и эмоции различна, хотя они часто и связаны между собой.

В первобытном обществе наряду со звуковым языком широко использовался язык жестов. Последний оказал большое влияние на первый. Можно утверждать, что он послужил основой его развития. Звуковой язык, являясь очень эмоциональным, характеризуется большой выразительностью. Чем больше размышляешь над природой междометия, тем больше склоняешься к мысли, о том, что оно непосредственно восходит, хотя и через различные промежуточные явления, к первоначальному синкретическому знаку, в котором сливались воедино голос, мимика и жесты. Кроме того создается впечатление, что русское междометие дальше удалено от своего прародителя, чем, например, французское.

Некоторые лингвисты считают междометие словом-фразой. Мы показали, что в отличие от слова междометие лишено концептуальной значимости. Что касается фразы, мы определяем ее как *единицу обмена в диалоге*. Впрочем, только восклицания способны выполнять эту функцию. Но они представляют собой фразы особого рода — фразы-сигналы, лишённые концептуальной материи.

IV

Перейдем к рассмотрению функционирования ономапопей.

Любой знак может быть *процитирован*, т. е. включен в бессознательную структуру, которую называют «прямой речью». Это весьма ограниченное употребление, на которое только и могут рассчитывать звукоподражания. Примеры: «Кошка издает: *мур-мур*», «Вдруг я услышал: *бах!*». По поводу второй фразы можно заметить, что она не является прямой речью, и это действительно так. В связи с этим нам придется совершить краткий экскурс в область бессознательной связи, которая находится за пределами синтаксиса и олицетворяет собой очень архаичное состояние языка, в котором еще не существовало различия между сочинением и подчинением.

Существует три типа бессознательных структур, но здесь речь пойдет только об одной из них. К фразам, которые мы приводили и которые дают наглядное представление об этой структуре, добавим еще две, которые мы переведем дословно с русского: «Я слышу — собака лает» и «Я вижу — собака бежит». Характерным для этого типа бессознательной структуры является то, что она заключает констатацию двух фактов. Графически это можно было бы представить двумя концентрическими кругами. Внутренней констатацией является «собака бежит», внешней, заключающей первую — «я (ее) вижу». По этой же модели построены три другие фразы.

Следует подчеркнуть, что ономапопей могут встречаться только в таких простых структурах. То, что ономапопей не может появиться в придаточном предложении и, например, из прямой речи не может перейти в косвенную, также является весьма показательным. Косвенная речь имеет целью воспроизвести означаемое — что относится к области синонимии. А прямая речь точно воспроизводит означаемое — что роднит ее с междометием, которое с трудом поддается разделению на означаемое и означаемое. Среди французских и русских восклицаний только *oui* и *non*, *да* и *нет*, могут встречаться в придаточных предложениях: Он сказал, что *да* (нет). «*Il dit que oui (non)*».

Таким образом, мы считаем, что ономапопей не образуют фразы. Встречаются, однако, случаи, которые, казалось бы, противоречат нашему утверждению.

Вот маленькая сцена, воспроизведенная однажды Ш. Балли во время нашей беседы. — Из рук служанки выскальзывает тарелка и с грохотом разбивается. Я восклицаю: *бах!* — По нашему мнению, это — эллиптическая структура. Полная фраза звучала бы примерно так «Вы только что сделали: *бах!*». Действие происходит в момент речи. Но почему же все-таки было произнесено это междометие? Если бы это была просто реакция на внешний раздражитель, мы имели бы дело с ситуацией, которую можно охарактеризовать как нулевой диалог (*zéro de dialogue*) и которая представляет лишь второстепенный интерес для лингвиста. Думается, однако, что дело обстоит иначе. Это *бах!* адресовано собеседнику и сигнализирует о психическом состоянии, которое можно интерпретировать как «Я вам сочувствую и готов разделить ответственность за ваш проступок. Не надо слишком расстраиваться». То, что мы имеем дело с социальным планом, имеющим непосредственный выход в условный, а не спонтанный план, доказывается этой маленькой сценой, заимствованной нами из одного русского романа. Действие происходит в одном из пансионатов в Берлине: «К тому же не рассчитав свои силы, он так громко хлопнул дверью, что фрау Штобой, проходившая в этот момент по коридору, холодно произнесла: *упс!* (*hups!*). Ситуация заставила хозяйку пансиона произнести это *упс!*, чтобы сгладить неловкость квартиранта, но против своей воли она сделала это «холодным» тоном.

Кажется, новые ономатопеи не встречают какой-либо оппозиции со стороны языка. Чтобы произвести впечатление на своего собеседника, когда тот был удивлен каким-нибудь звуком или необычным криком, говорящий располагает полной свободой для его имитаций, не очень заботясь о правилах фонологической системы.

V

Этот параграф посвящен анализу одной весьма необычной формы русского языка, которая, по нашему мнению, еще не получила удовлетворительного объяснения. Поскольку приводимые ниже примеры не имеют эквивалентов во французском языке, они будут переводиться дословно.

Наряду с таким междометием, как *buz!*, близким к *vlan!* *hop!* или *rap!* в русском языке есть *bux!*, которое функционирует в качестве предиката, естественно, в экспрессивном языке. Примеры: Он разбежался и *bux* в воду! «Il prit de l'élan et *hop* dans l'eau!». Он схватил камень и *bux* его в реку! «Il saisit une pierre et la *vlan* dans la rivière!», или еще пословица: *He посмотрев в календарь, да бух в колокол!* «Sans avoir consulté le calendrier il fit le carillon», дословно: «il frappa dans la cloche, но это «frappa» сопровождается все тем же *buz!*

Эту форму называют «глагольным междометием». Нам кажется, что ей лучше подходит название *междометный глагол*.

В приведенных примерах предикат употребляется в значении то переходного, то непереходного глагола, в перфекте, соответствующем претериту. Характерным для него является прежде всего то, что он выражает *ультрабыстрое действие*, особую и экспрессивную разновидность моментального перфектного вида. Можно утверждать, что эта разновидность возникла потому, что экспрессивность моментального перфекта постепенно утрачивается. К тому же на него оказывает воздействие употребление видовой разновидности, которую мы когда-то называли «иволятив»; так, например, наряду с *толкнуть* «толкнуть одним усилием», существует *толкануть*, который в большей мере передает прерывистый характер процесса.

Ультрабыстрое действие, которое обязательно происходит внезапно и воспринимается как неожиданное, живо интересует русский язык, который стремится выразить его различными способами. Неожиданное действие получает морфологическое выражение в междометном предикате.

Оно свойственно только глаголам, образованным от ономатопей, имитирующих внезапные звуки, без указания на их длительность. Например, *buz!* > *бухать* > *бухнуть*, откуда в результате новой редукции междометная форма: *buz!* Это новое *buz!* приобретает глагольные значения: вида, времени, в ряде случаев переходности, залога. Оно уже не является больше междометием. Это — слово, знак концептуальной природы, хотя и принадлежащий экспрессивному языку.

Вот почему *buz!*, междометие, и предикативное *buz!* не вызывают один и тот же образ. Они не ведут себя одинаково по отношению к синкретическому образу, который послужил отправным моментом в цепи преобразований. Междометие вызывает прежде всего акустический образ, остальное пребывает в латентном состоянии. Междометные предикаты близки по своим значениям глаголам *ударять*, *падать*, *бросать* и т. д., т. е. они вызывают *кинетический* образ. Это движение, этот «удар» сопровождается характерным шумом, но это факт сопутствующий, хотя и очень важный. Кинетический образ, лежащий в основе понятия «удара», отличается необычайной продуктивностью. Вспомним все эти *coup de hache*, *coup de main*, *coup d'oeil*, *coup de jarretière*, *coup de glotte*, *coup de tête*, *coup d'horloge*, *coup de tonnerre*, *coup de soleil*, *boire un coup*, *tout à coup* и т. д. и т. п. В русском языке эта продуктивность особенно проявляется в области глагола.

Вот почему некоторые глаголы, не имеющие никаких деривационных связей с междометиями, образовали под действием аналогии междометные формы. Например: *толкать* > *толкнуть* > *толк!*, *хватить* > *хват!*, *двигать* > *двинуть* > *двиг!*, *глядеть* > *глядь* и т. д. Звукоподражательные глаголы, обозначающие крики животных, не имеют междометной

формы. Поэтому следующий случай весьма поучителен. Имитация тьяканья *тляф* (или *тляе*) лежит в основе образования глаголов *тляе-к-ать* / *тляе-к-нуть*, откуда *тляе-к!* Это последнее образование отличается от первоначального не только наличием суффикса *-к-*, указывающего на его происхождение от глагола, но еще и тем, что оно означает уже не «твякать», а «кусать» или «цапать»: *Собака тляе его за ногу!* Еще один любопытный случай. Немецкому выражению «*Ich sprucke drauf!*» в русском языке соответствует *Мне на это наплевать!* и *Я тьфу на это!* Глаголы *плевать* и *плюнуть* не восходят к междометию, хотя и имеют звукоподражательную природу. Они не имеют также и междометной формы. С другой стороны, междометие *тьфу!*, имитирующее действие, не послужило основой для образования глагола. Впрочем, при сравнении двух фраз создается впечатление, что это *тьфу!* ведет себя так, словно оно образовано от глагола *плевать*³, кроме того оно имеет то же управление. Можно сказать, что в данном случае тождество означаемых предпочтено расхождению между означающими. Таким образом, речь здесь может идти о синонимии.

Тенденция к дифференциации двух знаков проявляется также в том, что предикативные образования не употребляются с целью «цитирования», которое остается особой функцией, присущей только ономотопеям. Нашему утверждению не противоречит и следующая фраза Л. Толстого: *Вдруг слышат — грох в колокол у дверей.* Эта бессоюзная структура подразумевает субъект: *Кто-то грох...*

Рассмотренные нами знаки являются словами, особыми видовыми глагольными формами. Эти формы принадлежат как грамматике, так и словарю, что свойственно виду вообще. Как элементы словаря эти знаки группируются вокруг немногочисленных стержневых слов, главным содержанием которых является понятие «удара». Поэтому они легко вступают в синонимические и омонимические отношения, чего нельзя сказать об обычных ономотопеях.

VI

Мы убедились, что ономотопеи, не став словами, не являются в то же время и фразами. Действительно, трудно представить себе ситуацию во время диалога, когда один из собеседников обращается к другому *ку-ка-ре-ку!* Мы достаточно подробно останавливались на *бух!* и *упс!*, чтобы снова к ним возвращаться. В качестве фраз, *лишних*, естественно, *концептуального содержания*, могут функционировать только восклицания, такова их роль в языке.

Фраза есть функция диалога. Диалог возможен только при наличии двух собеседников. Истина слишком банальная. Возможно по этой причине этот факт часто не принимается во внимание лингвистами. Пока еще не существует общей теории диалога. Немногие проводят различие между фразой и предложением и предвидят проблемы, которые вытекают из этого различия. Нам уже приходилось писать на эту тему⁴, но наши прежние идеи нуждаются в пересмотре, однако сейчас не время заниматься этим. Тем не менее для того, чтобы определить место восклицания в системе языка, мы должны сказать несколько слов о диалоге и фразе, ограничившись общими соображениями.

Не следует забывать, что фраза является *звуковой единицей*. Признаки не-звукового порядка явно недостаточны для того, чтобы ее рассматривать как грамматическую или лексическую единицу. Она — *единица обмена в диалоге*. Диалог же — это своего рода поединок, словесная дуэль между двумя его участниками. В конечном счете, здесь мы имеем дело со столкновением двух характеров, и в основе фразы лежит не столько «коммуникация» — как думал К. Сведелиус⁵ — сколько *интенция*, восходящая к первоначальному волевому акту. В грамматическом плане интенция стремится оформиться в «предикат». Но поскольку существует несколько типов фраз, нет единого определения предиката.

В словесном поединке, который представляет собой диалог, участник А является «атакующим», ему-то и принадлежит инициатива. Его партнеру остается только отвечать на *выпады*, объектом которых он является. Сре-

ди этих выпадов на первом месте стоит вопрос, *вопросительная фраза*. Она характеризуется незаконченной, напряженной интонацией, что передает некоторое беспокойство перед неведомым, неизвестным, которое призвано рассеять партнер. На долю участника *B* остается, по сути дела, только фраза-ответ. Но являясь функцией вопроса, который она дополняет и завершает, фраза-ответ принадлежит речи. На вопрос *Qu'est-ce que c'est que la baleine?* (Кто такой кит?), спонтанный ответ будет *Un animal* (*Животное*), произнесенный с интонацией разрядки. А человек из народа ответил бы, скорее всего повторив вопрос, *La baleine, c'est un animal*, по-русски *Кит — зверь такой*. Таким образом, мы приходим к *высказыванию*.

С фонологической точки зрения вопросительная фраза противопоставляется не фразе-ответу, а фразе-высказыванию. Интонация последней объединяет и напряжение вопроса, и разрядку, свойственную ответу. Тем самым преодолевается диалектическим путем то, что разделяет и противопоставляет двух участников диалога. С тех пор и тот, и другой могут пользоваться одной и той же фразой, а диалог принимает форму обмена высказываниями.

Обе фразы принадлежат языку. В вопросах могут использоваться средства не-звукового порядка: инверсия, частицы, игноративно-вопросительное местоимение ⁴ и т. д. Но эти средства могут и не использоваться. То, что всегда сохраняется, так это интонация. Все эти средства отсутствуют в высказывании. Это свидетельствует о том, что оба типа фраз представляют собой звуковые единства, которые различаются только интонацией.

Переходя к *волеизъявительным*, а также к *восклицательным* фразам, мы покидаем почву языка. Характерным для этих двух типов звуковых единств является экспрессивный тон. Впрочем, экспрессивный тон — явление естественное, которым можно управлять по своему усмотрению, но он не пользуется вниманием со стороны фонологии.

Волеизъявительные фразы принадлежат «активному» языку. Здесь, собственно говоря, имеется только один участник диалога. Можно ли в самом деле рассматривать в качестве «собеседника» лицо, к которому обращаются с приказанием? Средства не-звукового порядка волеизъявительных фраз являются совершенно недостаточными. В сфере глагола с императивом конкурируют инфинитив, будущее время, даже настоящее. В русском языке к ним добавляется прошедшее законченное. В сфере имени вокатив все больше уступает место простому обращению, явлению звукового порядка, совпадающего со вставкой и относящегося к внутренней фонологии фразы.

Наряду с собственно диалогом следует различать две особые ситуации. Одну из них можно назвать *ложным диалогом*, а другой мы уже дали название *нулевой диалог*.

Мы имеем дело с *ложным диалогом*, когда обращаемся, говоря языком лингвистики, к *minis habens*: животному, младенцу, даже иностранцу, плохо владеющему нашим родным языком. Чтобы приспособиться к языковому уровню партнера, мы иногда прибегаем к искажению своего собственного языка. Мать, которая, подражая бормотанию грудного ребенка, обращается в нему *a-gu!*, не далека от мысли, что она «беседует» с ним. Произнося *ко-ко-ко...*, простые люди готовы вообразить, что таким образом они разговаривают с курами. Обращаясь к животным, часто прибегают к ономотопеям. Однако в подобных случаях мы выходим за рамки человеческого языка и не можем считать эти ономотопеи «фразами». Отметим тем не менее, что крики, с которыми обращаются к животным, по своей природе являются «волеизъявлениями»: побудительные или запрещающие команды, обращения — это сближает позицию говорящего субъекта с позицией автора волеизъявительной фразы. Последний часто находится на периферии диалога, в непосредственной близости от ложного диалога.

Участники диалога могут меняться ролями. Участник *B* может стать инициатором, это происходит в *парном сочетании реплик*, простейший случай которого представлен *hein?* А участник *A* становится «реактивным»

только в нулевом диалоге, когда он реагирует на внешнее возбуждение каким-нибудь восклицанием, не адресуя его никому.

Восклицания следует рассматривать как не-концептуальные субституты обычных фраз.

Вопросительная фраза представлена *hein?* или в русском языке *а?*, *неужели?*, *разве?* и *что...*? Напротив, *да* и *нет* представляют не-вопросительную фразу. Но больше всего не-концептуальных репрезентативов имеют волеизъявительные фразы. Все восклицания партнера *A* — за исключением, естественно, относящихся к нулевому диалогу — представляют собой побуждения: *he!*, *pst!*, *allo!*, *halte!*, по-русски *эй!*, *ни-ни!*, *на!*, *ну!* и т. д. Два последних восклицания языковое чутье приравнивает к императиву: они получают во множественном числе его показатели и могут сопровождаться частицей *-ка*, которая употребляется только с императивом (ср. нем. *mal*): *name!*, *nume!*, *name-ka!*, *nu-ka!* и т. д. Остальные восклицания следует рассматривать как субституты неспецифических восклицательных фраз.

Вообще восклицания подразделяются на *реактивные* и *инситуативные*, побудительные. Первые используются собеседником *B* в случае, когда имеет место реакция собеседника *A* на внешние раздражители (нулевой диалог). Вторые являются достоянием собеседника *A* за исключением парного сочетания реплик, когда партнер *B* также переходит в наступление. Но самое важное состоит в том, что собеседник *B* имеет в своем распоряжении почти все восклицания своего партнера, особенно вводящие концептуальную восклицательную фразу.

Чаще всего восклицания употребляются не в качестве автономных единиц обмена, а для введения концептуальной фразы: *Ах, какой молодец!* *Ах, какой негодяй!* Соотношение между восклицанием и фразой является двусторонним. С одной стороны, восклицание служит средством экспликации фразы в концептуальном языке. Обе фразы могут быть произнесены абсолютно идентичным тоном, в таком случае только слова *молодец* и *негодяй* указывают на то, что речь идет о двух диаметрально противоположных суждениях. С другой стороны, *ах!* служит сигналом, свидетельствующим об отношении говорящего субъекта к тому, о чем он только что узнал. В данном случае восклицание выражает чувство удивления и ничего более. В случае автономного употребления по тону, каким произносится восклицание, можно судить, приятно это удивление или нет. В наших примерах это не существенно, поскольку остальная часть фразы говорит об этом достаточно ясно.

Предупредительные сигналы такого рода широко используются в экспрессивном языке. К ним, по нашему мнению, восходят русские сочинительные союзы *но*, *а*, *да* и *и*. Эти значки продолжают употребляться поразному. Если они не являются автономными восклицаниями, то используются в качестве сигналов, вводящих реплики. В других случаях они функционируют как «внешние союзы», связывающие в монологической фразе с предшествующей фразой, либо являются «внутренними», соединяя последующее предложение с предыдущим в рамках одной и той же фразы. В последнем случае мы имеем дело с собственно союзами.

Интересно отметить, что в восклицательной фразе русского языка часто прибегают к использованию местоимений; например, *Все-то его почитают!*, *Нигде-то он не может ужиться!*, *Такой дурак!*, *Где-то он теперь?*, *То-ли еще будет?* и т. д.

VII

Рамки статьи не позволяют нам предпринять рассмотрение звуковой структуры междометий. Нам остается только привести таблицу основных восклицаний, употребляемых собеседником *B*. Достаточно беглого взгляда на эту таблицу, чтобы заметить, что они образуют систему. Основываясь на идеях покойного Н. Трубецкого, мы постарались выделить лежащие в основе этой системы дифференциальные оппозиции.

1.	ГМ?	ГМ-ГМ	ГМ!	ГМ...	ГМ.	
2.	и (...)	э	а	о	у	
3.		эге	ага	ого		
4.	ин (...)		ан (...)			
5.	ни-ни	не	на	но (...)	ну	
6.		те-те-те...	да (...)	тотэ		тсс
7.		Нет.	Да.			
8.	(й) их (...)	эх (...)	ах (...)	ох (...)	ух (...)	
9.		эй (...)	ай (...)	ой (...)		
10.					фу (...)	

Н. В. Знаком (...) сопровождаются восклицания, которые, как правило, служат только для введения фразы. Восклицания, функционирующие также в качестве сочинительных союзов, выделены курсивом.

1—7. Стандартные фразы-ответы собеседника В. 8—10. Человеческие «крики», транспонированные для введения реплик собеседника В.

1. Восклицания, произносимые закрытым ртом, отмечены навалезованным $g^?$. Определение: *восклицания с нулевой фонемой*, поскольку их дифференцирует только *тон*. Их значимости (слева направо): *вопрос* (ср. «hein?»⁸, *подтверждение* (или согласие), *признательность* (удовлетворение по поводу чего-либо), *колебание* и *отказ* (отрицание). Оппозиция по тону: $g^M?$: $g^M!$ (поднимающийся : опускающийся) — эквиолентная (следовательно качественная); $g^M...$: ($g^M?$ $g^M!$ g^M-g^M) (одинаковый : модифицированный) — эквиолентная; $g^M?$: g^M-g^M (напряжение : напряжение+разрядка) — привативная; $g^M.$: ($g^M?g^M!$ g^M-g^M и $g^M...$) (отсутствие длительности : длительность) — привативная.

2. *Вокалические восклицания*. Значимости: *уверенность*: 1° *и!* успокоительное отношение, 2° *э!* успокоительное, граничащее с пренебрежением; *беспокойство*: 1° *о!* негодование (нескрываемая угроза), 2° *у!* страх (ощущаемая угроза); *нейтральное* отношение: *а!* понимание и *а?* («hein») непонимание (неудавшийся акт аудирования).— Аффективная фонология: *э!* : *и!* (пренебрежение : отсутствие пренебрежения) — привативная оппозиция; *о!* : *у!* активная позиция : пассивная позиция — эквиолентная оппозиция; (*и!* и *э!*) : (*о!* и *у!*) (уверенность : беспокойство) — эквиолентная оппозиция; *а!*/*а?* (нейтральное) : все другие (специфические) — привативная оппозиция.

3. *Удвоенные вокалические восклицания*, вокализованные варианты g^M-g^M .

4—5. *Запретительно-увеивательные* восклицания. *Н* вызывает ощущение препятствия то возникающего (*ан! ни-ни! не! но!*), то исчезающего (*ин! на! ну!*).

6. Восклицания (с апиально-дентальной артикуляцией), *закрывающие диалог*: *те-те-те...* (пренебрежительно) обесценивают речь собеседника; восклицанием *тотэ* (угрожающе) говорящий субъект, в парном сочетании реплик⁹, обнаруживает превосходство над позицией, занятой по отношению к нему собеседником, чтобы сохранить за собой последнее слово; *тсс!* (нейтральное) прерывает диалог (приостановление акта фonaции партнера); *да(...)* (амбивалентное) сигнализирует о нетерпении, испытываемом либо в ожидании речи собеседника, либо в связи с паузой.— Оппозиция: *тсс!* : все другие (нейтральное : специальные) — привативная оппозиция; *да(...)* : (*те-те-те...* и *тотэ*) (амбивалентность : дифференциация) — привативная оппозиция; *те-те-те...* : *тотэ* (пренебрежение : угроза) — эквиолентная оппозиция.

7. *Восклицания на ступени нуля*, лишённые какого-либо экспрессивного тона. Предельный случай восклицания. *Да* : *Нет* (подтверждение : отрицание) — эквиолентная оппозиция.

Н. В. Сочинительные союзы сохраняют, хотя и в ослабленной форме, значимость соответствующих восклицаний : *но* — полное противопостав-

ление; *a* — простое несоответствие; *да* (амбивалентное) — частичное сокращение (в парном сочетании реплик) или простое добавление; *и* — отсутствие противопоставления (непрерывность, даже последовательность).

Подобно тому как интонация образует фразу, *тон* создает восклицание. Вот почему экспрессивная значимость тембра гласных может быть в любой момент радикально изменена тоном. Это приводит к нейтрализации ряда оппозиций.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Не говоря об огромном количестве экспрессивных слов, относящихся к различным частям речи, в которых в качестве экспрессивного средства используется *ф*, поскольку он воспринимается как звук, имеющий «иностранный происхождения».

2. См. прекрасную работу Л. Брэн-Лалуара «Междометие, язык и речь» (L. Brun-Laloire. Interjection, langage et parole. — *Revue de philologie française*, t. XLII, 1930).

3. Отметим, что *тьфу* имеет не перфектное значение, а значение настоящего времени.

4. См. работы автора «О фонологии фразы» (*Sur la phonologie de la phrase*. — TCLP IV. Prague 1931) и «Фраза и предложение» (*Phrase et proposition* — *Mélanges J. van Ginneken*, Paris, 1937).

5. *L'analyse du langage appliquée à la langue française*. Upsala 1897.

6. *Игноративное* местоимение (местоимение серии *К*) употребляется в русском языке в различных функциях: оно может быть *вопросительным*, *восклицательным*, *неопределенным*, *отрицательным*, *относительным* или *анафорическим*. В этом проявляется различное отношение говорящего субъекта к «неизвестному», на которое указывает это местоимение.

7. По предложению Н. С. Трубецкого, содержащегося в его письме автору в 1938 году.

8. Мы рассматриваем «*hein?*», а также русское «*а?*» как два различных способа вокализации *е^М*.

9. В парном сочетании реплик имеет место совмещение функции собеседника *A* с функцией собеседника *B*.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Алисова Т. Б., Репина Т. А., Таривердиева М. А. Введение в романскую филологию. — М.: Высшая школа, 1982. 343 с.

В отечественной романистике 1982 г. ознаменован важным событием: вышла в свет фундаментальная работа «Введение в романскую филологию». Успех книги очевиден. Сразу же после публикации она стала библиографической редкостью. Актуальность рецензируемой книги обусловлена, с одной стороны, отбором важнейших проблем современной романистики, их представлением и решением на основе марксистско-ленинской методологии, а с другой стороны, самой ситуацией, сложившейся в истории изучения романских языков. Ежегодно в нашей стране и за рубежом выходят в свет монографии и сборники научных трудов, посвященные частным проблемам конкретных романских языков, их типологическим и сравнительно-историческим характеристикам. Однако издание систематического курса в области романской филологии, включающего рассмотрение кардинальных проблем, связанных с зарождением, функционированием, взаимодействием на разных этапах развития романских языков и сопряженные с ними вопросы более конкретного характера, — явление, не частое в романистике.

Среди работ общего профиля, трактующих романистическую проблематику в целом, отечественная наука располагала только «Введением в романское языкознание» М. В. Сергиевского, опубликованным в начале 50-х годов (1-е изд. в 1952 г. и 2-е — в 1954 г.). Однако эта содержательная и богатая фактическим материалом работа (и к тому же первая в данной области) в некоторой степени уже устарела. И это неизбежно, т. к. романистика не стоит на месте: появляются новые идеи и методы, в научный оборот вводятся новые факты, рождаются новые теории. Поэтому, естественно, уже давно возникла настоятельная необходимость систематического всестороннего рассмотрения романистической проблематики в целом в свете новейших достижений отечественной и зарубежной науки.

В цели авторов «Введения в романскую филологию» входило приближение традиционной проблематики к современному состоянию науки. Поэтому к числу важнейших задач курса, с точки зрения его авторов, относится органическое объединение его частей: исторических, филологических и собственно лингвистических.

Рассмотрение филологических и лингвистических моментов развития языков в их тесном взаимодействии позволяет

приблизить интралингвистические исследования к исходной филологической проблематике и тем самым избежать противопоставления лингвистики и филологии. Такое противопоставление, довольно характерное для работ предшествующих десятилетий, хотя, возможно, и оправданное для частных исследований в отдельных лингвистических направлениях, в целом не может считаться плодотворным, т. к. неизбежно приводит к нежелательной «атомизации» филологического знания. В трудах ведущих советских ученых неоднократно подчеркивается мысль о комплексном подходе к языковым и филологическим данным, представленным в ходе исторического развития в их органическом единстве.

Против решительного разрыва лингвистики и филологии выступили М. Б. Храпченко, Г. В. Степанов, Р. А. Будагов и другие ученые. М. Б. Храпченко подвергает критике научный подход, когда «каждое из взаимодействующих и соподчиненных явлений предстает в своем независимом существовании и развитии», когда «происходит своеобразная атомизация художественных средств». Поэтому опыт развития научной мысли учит прежде всего тому, что вне «целостного» освещения составных начал объекта научного исследования невозможно выяснить роль исторического развития каждого из них. И далее: «и хотя научное изучение процессов, происходящих в природе и обществе, всегда в какой-то степени связано с выделением тех или иных сторон объекта исследования и самостоятельным их рассмотрением, функционально взаимодействующие величины нуждаются в исследовании, раскрывающем их внутреннее единство, единство их развития» [1].

В свете приведенного выше положения пути исследования и систематизации материала авторами рецензируемой книги, равно как и характер отражения ими основных положений современной романистики в учебном курсе, представляются и актуальными и значимыми.

В рецензируемом курсе «Введения в романскую филологию» явно обнаруживается стремление к преодолению «разрыва между социолингвистикой и собственно лингвистикой в области их естественного взаимопроникновения, а именно при исследовании причин распространения языковых изменений», и ставится цель показать «историческую обусловленность

как сходства, так и своеобразия романских языковых систем». При этом, как отмечают авторы курса, «сопоставление систем близкородственных языков не ограничивается их современным состоянием и не является самоцелью: оно лишь помогает обнаружить общность или различие тенденций развития романских языковых систем, отличающихся друг от друга темпом своей эволюции, характером отклонения от языка-основы и степенью сохранности унаследованных от латыни элементов» (с. 4).

Круг проблем, стоящих перед исследователем в области романского языковедения, практически неисчерпаем. Поэтому неизбежно в трудах ученых-романистов акцентируется часть из них. В центре внимания авторов рецензируемой работы находится освещенные проблемы генезиса романских языков и сопряженных с ней других проблем.

«Введение в романскую филологию» состоит из четырех достаточно автономных и вместе с тем тесно взаимосвязанных частей.

Первая часть — «Романский языковой ареал и исторические условия его образования» (с. 6—71) — включает два раздела, посвященные общей характеристике романских языков, ареала их распространения. Автор первой части, Т. А. Репина, уточняя термин «Романия» применительно к романскому языковедению, отмечает при этом определенную «условность» термина. Так, Романия, с позиций современной науки (истории, филологии и др.) и в отличие от традиционного понимания, восходящего к поздней античности, обозначает, собственно, «романский языковой ареал», т. е. область распространения романских языков в настоящую эпоху. Рассматривая общую проблематику романских языков, Т. А. Репина останавливается прежде всего на том, что считать романским языком. Автор проводит грань между самостоятельным романским языком и диалектом, что особенно важно, как нам представляется, в свете специфики исторического развития романских языков. В этом языковом регионе со всей четкостью проявляется диалектика языкового развития. Отдельные языки романоязычного ареала могли иметь разный статус в процессе исторической эволюции, что проявляется в двух разнонаправленных тенденциях развития: от языка к диалекту и наоборот (например, средневековому франкопровансальскому языку в настоящее время соответствует группа отдельных местных (франкопровансальских) говоров — патуа) и наоборот: от диалекта к языку (ср. специфику функционирования галисийского и португальского языков в средние века и в новое время).

Далее автор останавливается на проблеме классификации романских языков, их структурной общности, на понятии литературного языка, креольских языков. Подробно описывается процесс романизации и образования так называемой Древней Романии (романизация Апеннинского и Пиренейского полуостровов, Галлии, Дакии). В заключении раздела рассматриваются проблемы, связанные

с распространением романских языков за пределами Древней Романии и со спецификой их функционирования в странах Латинской Америки, Азии, в Океании и в Канаде. Лингвистическая проблематика данной области романского языковедения налагается автором на широкий исторический фон с учетом фактов социальной истории разных народов.

Вторая часть рецензируемой книги — «Истоки романских языков» (с. 72—136) — также объединяет два раздела. Первый из них посвящен латинскому языку как основе последующих романских языков. Автор этой части — М. А. Таривердиева — в краткой форме излагает важнейшие этапы истории латинского языка, основываясь на характере лингвистических и экстралингвистических данных, а также на хронологии. Автор аргументирует расчленение латинского языка на архаическую, классическую и позднюю латынь, особо отмечая специфику книжной латыни в эпоху средневековья и в новое время. Несомненно плодотворным представляется положение об общности классической и народной латыни. Автор не разделяет явно устаревшую точку зрения о том, что классическая и народная латынь являются двумя «последовательными», «взаимосключающими» этапами в развитии латинского языка либо просто двумя различными языками. Напротив, М. А. Таривердиева придерживается концепции, разрабатываемой в современном отечественном языковедении, согласно которой народная латынь рассматривается как вариант общелатинской диасистемы. При этом народная латынь понимается как «общерасговорный латинский язык во все периоды его существования, с особым учетом всех тех инноваций, которые появились в поздний период его развития, непосредственно предшествовавший периоду формирования романских языков» (с. 92).

Перед тем как перейти непосредственно к классификации письменных свидетельств на народном латинском языке, автор рассматривает проблему единства народной латыни и вопрос хронологии этого языка.

Глава, содержащая жанрово-видовую представленность народнолатинской письменности (различные надписи, дипломатика, историография, художественная литература, агиография, а также грамматические трактаты, глоссарии, схолии и др. тексты), завершается описанием приемов и методов реконструкции народной латыни с учетом ее специфики.

Рассматривая проблему дифференциации народной латыни и ее преобразования в романские языки, М. А. Таривердиева отдельно останавливается на этнических, а также хронологических и социальных факторах. Первые обычно связываются с действием субстрата, суперстрата и адстрата. Автор показывает возможные влияния на народную латынь предроманского языкового субстрата Апеннинского и Иберийского полуостровов, грецизмов, кельтизмов, германизмов, арабизмов, а также балканского языкового адстрата, латинского «культурного» суперстрата. Автор кратко ос-

танавливается на теории дифференциации романских языков Ф. Ж. Моля и на так называемой хронологической теории Г. Грёбера. Подводя итог изложенному, М. А. Таривердиева заключает, что «говоря о причинах дифференциации народной латыни в формировании романских языков, недопустимо склоняться лишь к какой-либо одной из изложенных выше теорий. В современном языковедении при рассмотрении этой проблемы учитывается весь комплекс факторов, как лингвистического, так и исторического и социального характера» (с. 127—128). Данная часть книги заканчивается кратким обзором первых письменных свидетельств на романских языках.

Третья часть книги — «Историческое развитие и структурная общность романских языковых систем» (с. 137—301) — посвящена представлению фонетической, грамматической и лексической систем романских языков в сопоставительном плане. Разделы этой части книги, написанные Т. Б. Алисовой, содержат большой фактический языковой материал, интерпретация которого, во многих случаях отличаясь от традиционно принятой, основана на теоретических исследованиях автора.

В первом разделе речь идет о фонетике романских языков. Т. Б. Алисова останавливается на таких важнейших проблемах, как проблема фонетических изменений (позиционно обусловленные и спонтанные изменения, их системность, а также предпосылки и пути их развития) и связанное с ней понятие «фонетического закона» (приведенное автором определение младограмматиков гласит: «Один и тот же звук в одних и тех же фонетических условиях в данный промежуток времени и на данной территории изменяется одинаковым образом во всех словах, где он встречается»; с. 138). В данном разделе приводятся понятия пространственных и временных границ фонетических изменений, отмечается роль социальных факторов их распространения, указываются причины (и источники) изменения фонетической системы языка. Применительно к последнему случаю особое внимание уделено заимствованиям.

Далее автор переходит к проблеме преобразования латинской фонетической системы в разных областях Романии, останавливаясь на просодической структуре слова и ударении, отмечая роль последнего в вокалических изменениях (изменения в ударном и безударном вокализме). После разбора системы гласных Т. Б. Алисова переходит к рассмотрению консонантизма, выделяя вначале общероманские изменения согласных, связанные с палатализацией, образованием аффрикат и мягких согласных и т. д. Раздел завершается сравнительной характеристикой фонетических систем романских языков и основных тенденций их развития. Автор показывает, как в результате описанных изменений гласных и согласных фонем «латинские слова народной устной традиции получили в каждом романском языке своеобразный фонетический облик» (с. 181).

Второй раздел посвящен грамматической проблематике романизмов и их происхождению. В нем рассматриваются основные вопросы, связанные с именными частями речи, глаголом и т. д., даются важнейшие представления о частях речи и круг основных проблем применительно к их специфике. Так, например, для существительного приводятся характеристики семантических и словообразовательных подклассов, грамматических категорий рода, числа, особенности склонения. Значительное внимание уделено местоименным актуализаторам и артиклям.

Представляя глагольную систему, автор также останавливается на семантических и формальных особенностях этой части речи, отмечая, что «ни в латыни, ни в романских языках не существует единообразных морфологических или синтаксических показателей, указывающих однозначно на семантический подкласс глагола. Тем не менее, семантические подклассы глагола отличаются друг от друга определенным рядом формальных проявлений» (с. 244). Рассматриваются важнейшие категории глагола (лицо, залог, вид, время, наклонение), а также личные и неличные формы глагола. В этот же раздел включены союзы, там же освещается специфика порядка слов в предложении. Раздел завершается подробной сравнительной характеристикой грамматических систем романских языков. Автор делает заключение, что «несмотря на расхождения по некоторым признакам, романские грамматические системы развивались из народной латыни в одном направлении и, в отличие от фонетических систем, они сохраняют не только генетическую, но и типологическую общность» (с. 288).

В третьем разделе поднимаются основные проблемы, касающиеся лексической системы романских языков. Дается характеристика общероманского лексического состава и последующей лексической дифференциации романских языков, выявляются типы изменения значений слов, а также их причины. Раздел завершается сравнительной характеристикой словарного состава романских языков.

Четвертая часть — «Развитие романского языкознания» (с. 302—335) — отражает историю зарождения и становления романистики как науки. Автор этой части — Т. А. Ренина — дает также краткую характеристику современного состояния романского языкознания, указывая на основные направления романистических исследований.

Как мы уже отмечали, рецензируемая книга объединяет довольно самостоятельные части, хотя и подчиненные единой концептуальной линии. Это имеет свои и положительные, и отрицательные стороны. Прежде всего отметим, что такое построение работы позволяет четко определить основной круг вопросов, рассматриваемых в каждой части, и сохранить при этом индивидуальность каждого автора. Более того, рецензируемая книга, являющаяся учебником, может быть рекомендована романистам разного уровня подготовки: студентам и аспирантам, преподавателям и научным сотрудникам.

В связи с этим следует особо отметить третью часть книги, посвященную сопоставительному представлению фонетической, грамматической и лексической систем романских языков. Данная часть содержит исключительно сложные материалы, хотя и вполне доступные студентам, благодаря четкости представления языковых и экстралингвистических фактов и явлений. Не только каждый раздел или глава, но и каждый параграф сопровождается наглядной схемой или таблицей и подробными выводами.

К отрицательным моментам, на наш взгляд, относятся некоторые повторы и неоднозначные интерпретации, встречающиеся в разных частях книги. Например, на с. 317 речь идет об этимологическом словаре Ф. Дюпа, а на с. 319 говорится об этимологическом словаре В. Мейера-Любеке, которые уже были представлены на с. 288—289. На с. 318 приводится определение фонетического закона, уже данное на с. 138. В рецензируемой книге имеются некоторые неточности относительно даты образования французского литературного языка (ср., например, с. 28, 29, 305). Для специально не подготовленного читателя это может создать определенные трудности. Считаем также не вполне удачным отождествлять некоторые понятия, например, лингвистическую географию и ареальную лингвистику (с. 326), адстрат и суперстрат. Так, на с. 125 указывается, что контактирующие языки «следует считать адстратами по отношению друг к другу», а результаты интерференции определять как языковой субстрат. Понятие суперстрата автор считает излишним, не соответствующим никакой лингвистической сущности. Но, несмотря на то, что понятие суперстрата отвергается автором, этот термин находит в книге довольно широкое применение. Напри-

мер, латинскому культурному суперстрату посвящен § 51 рецензируемой работы.

Хотелось бы пожелать авторам расширить отдельные разделы, в том числе последнюю (четвертую) часть, где речь идет о современном состоянии романистики или основных ее направлениях. Это возможно сделать за счет изменения некоторых параграфов. Так, например, в § 115 «Социологический подход к изучению романских языков» излагаются концепции только К. Фосслера и Ф. де Соссюра (с. 319—324) и не упоминаются работы А. Мейе, Ж. Вандриеса и других романистов. Считаем также слишком кратким раздел «Лексика» в третьей части книги (с. 288—302). Было бы желательно помимо представления автором общероманского лексического фонда дать читателю более подробные сведения об этимологической стратификации романских языков и других аспектах их лексических систем. При этом § 105 «Этимологические словари» можно было бы перенести в четвертую часть книги и тем самым избежать некоторых повторов.

В заключение еще раз подчеркнем ценность и актуальность рецензируемой книги и ту особую пользу, которую она уже принесла (и принесет) в подготовке филологов-романистов. Исходя из интересов учебного процесса, а также из задач, стоящих перед современной романистикой, считаем целесообразным переиздать «Введение в романскую филологию».

Волкова З. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. Храпченко М. Б. Историческая поэтика и ее предмет. — В кн.: Храпченко М. Б. Историко-филологические исследования. М., 1974, с. 13.

Handbook of Australian Languages. Ed. Dixon R. M. W., Blake B. — The Australian National University Press, Canberra/John Benjamins B. V., Amsterdam. V. 1, 1979, 390 p.; V. 2, 1981, 427 p.

Языки Австралии представляют интерес для лингвистов самой разнообразной специализации: социо- и этнолингвистов, компаративистов и типологов. Осознание того, насколько значимы австралийские языки для языковедения в целом, произошло довольно поздно: вследствие истребления и вымирания аборигенов многие языки либо полностью утрачены, либо оказались на грани исчезновения, ряд же языков подвергся пиджинизации и креолизации. Поэтому недавно начавшийся подъем австралистики был отчасти стимулирован необходимостью срочно фиксировать языковой материал. В то же время австралистика многим обязана и общему развитию науки о языке. Переход от тагмематики, в жестких рамках которой работали австралисты 60-х го-

дов¹, к типологически ориентированному описанию языков был связан с общим совершенствованием лингвистических методов, а это не замедлило дать свои результаты.

Основными проблемами австралистики являются: установление внутренних и внешних генетических связей языков и реконструкция как таковая, ареальная

¹ Пионером австралистики заслуженно считается А. Капелл, чьи работы по классификации и структуре австралийских языков оказали большое влияние на дальнейшие исследования в рамках Австралийского института по изучению аборигенов и австралийского филиала Летнего института языковедения (оба открыты в 1961 г.).

и типологическая классификация, описание отдельных языков и языковых групп. Способствовать решению этой последней проблемы и призвано рецензируемое издание.

Первый том «Языков Австралии» содержит введение (Б. Блейк, Р. Диксон) и очерки языков гуту-йимидьир (Дж. Хевиленд), питта-питта (Б. Блейк), гумбайнтийр (Д. Ида), ййгир (Т. Кроули). Второй том охватывает языки варгамай (Р. Диксон), аягутимри (Т. Кроули), ватъярри (У. Дуглас), маргань и гунья (Дж. Брин), тасманийские (Р. Диксон, Т. Кроули).

Все представленные в первых двух томах языки, за исключением тасманийских, входят в семью пама-ньюнга. Языки этой семьи занимают большую часть территории Австралии. Географический разброс языков, описанных в очерках, чрезвычайно велик, но это скорее достоинство, нежели недостаток издания, поскольку читатель может сразу получить представление о территориально далеких друг от друга членах крупнейшей семьи австралийских языков.

Авторы и редакторы издания подчеркивают предварительный характер очерков. Общая цель издания — публикация в сжатые сроки (предполагается, что будет выходить по тому в один-два года) грамматик мертвых языков (в первых двух томах это питта-питта, гумбайнтийр и близкий ему ййгир, стоящие особняком тасманийские, находящиеся на грани вымирания маргань, гунья, аягутимри) и обзорных грамматик языков, среди носителей которых ведутся многолетние полевые исследования (варгамай, гуту-йимидьир). Обзорные грамматики — предварительный и, как правило, единственный источник информации по данному языку. Авторы очерков — языковеды, занимающиеся как полевой работой, так и теорией.

Подобная постановка цели издания, естественно, заставляет отвлечься от некоторых проблем, и прежде всего — от решения существенного для Австралии вопроса «язык или диалект». Австралийский языковой ареал характеризуется: а) протяженными диалектными цепями, обширными переходными зонами, б) интенсивными заимствованиями из языка в язык, не ограничивающимися сферой лексики, в) социально обусловленным многоязычием (многоязычие вообще характерно для обществ, подобных австралийским), г) наличием разнообразных тайных, гонорифических, этнических (подъязыков, нередко имеющих своим источником соседний язык или диалект. Все это чрезвычайно затрудняет классификацию и описание языков.

Авторы очерков не ставят своей целью какие-либо изменения генетической классификации. Генетическая принадлежность каждого языка указывается в соответствии с известной классификацией, идущей от С. Вурма [1], по которой на территории Австралии выделяется 26 языковых семей — 25 мелких (р-ны Кимберли, Арнемленд) и гигантская семья пама-ньюнга. Субклассификация последней пока недостаточно ясна, и авторы указывают лишь локализацию ее языков

и степень родства с языками-соседями. Кроме того, приводится строгая характеристика языка по А. Капеллу, разделившему все австралийские языки с точки зрения словоизменительной морфологии на суффикгирующие и префикгирующие (с допустимой суффиксацией). Дополнительным критерием классификации может служить наличие в языке местоименных клитик (в ряде языков пама-ньюнга они суффикгируются, в некоторых отсутствуют, а в языках прочих 25 семей представлены в виде проклитик).

Требования к содержанию очерков предусматривают: внешелингвистические сведения (общая вводная характеристика языка, сведения о диалектном членении, локализация, сведения о носителях, социалингвистическая информация, обзор исследований по языку и культуре его носителей); фонетические сведения; морфологические сведения (наибольшее внимание уделено морфологии глагола, обычно более сложной, чем именная); сведения о синтаксисе простого и сложного предложения; образец текста; алфавитный словарь лексических единиц, появившихся в примерах по ходу описания (для мертвых языков — зафиксированная лексика); словарь-тезаурус. Подобный принцип построения был апробирован в ряде монографических описаний австралийских языков, в частности, в монографиях Кембриджского университета (грамматики языков дирбал, йидинь, нгиямба, дияри).

Весьма ценно обращение авторов к предшествующим исследованиям по языку и культуре их носителей: во-первых, таким образом читатель получает некоторое представление о редких и труднодоступных материалах², во-вторых, каждый язык рассматривается в общем культурном контексте, что существенно для рассуждений о прошлом австралийских языков.

Естественно, что несмотря на единообразие схемы, описания живых и мертвых языков несколько различаются: первые ориентированы преимущественно синтактико-типологически, вторые вынужденно ограничиваются фиксацией имеющихся данных.

Исследователей не раз удивляли простота и чрезвычайное сходство фонетических систем многих австралийских языков. Так, простота австралийского вокализма спровоцировала А. Соммерфельта на рассуждение о наличии в аранта всего одной гласной фонемы [2] (см. критику такой интерпретации в [3]). Подчас же эта простота заставляла исследователей искусственно усложнять картину. В этом отношении любопытно сравнить фонетическое описание гуту-йимидьир у Я. де Звана [4] и у Дж. Хевиленда (очерк в 1-м томе рецензируемого изда-

² В конце XIX — нач. XX в. в Австралии работало немало этнографов, записывавших и языковой материал. Особенно ценны для лингвистики записи У. Рота, полевого исследователя, опубликовавшего в начале века серию очерков о племенах Австралии (в частности — о носителях языка дирбал).

ния). Типичную для австралийских языков трехчленную вокалическую систему Я. де Зван представляет как более сложную: /i/, /o/, /u/, /a/, /a/. С другой стороны, консонантизм у Я. де Звана упрощен: он не различает альвеолярный и postalveолярный ряды, ламинно-дентальные и палатальные. Несомненно, материал, обработанный Дж. Хенилдендом, обширнее, что и позволяет ему более корректно выделить инвентарь фонем.

Обычно консонантная система австралийских языков включает ряды билабialsных, апино-альвеолярных, ретрофлексных, ламинальных, (велярно-)дорсальных смычных; носовых; латеральных; 1—2 вибранта, 2 глайда. Типично ограничение набора инициалей и наличие интервокальных кластеров.

Фонетически своеобразны языки п-ова Кейп-Йорк, представленные в издании языком ангутимри (Т. Кроули описывает один из его диалектов, мбакуити). Система вокализма ангутимри — одна из самых сложных в Австралии: гласные /i/, /e/, /a/, /a/ имеют долгие и назализованные корреляты, /u/, /o/ — пелабиализованные. Относительно сложна и система консонантизма. Т. Кроули предполагает, что фонетический состав ангутимри претерпел множество системных изменений, приведших к общей перестройке исходной «типично австралийской» системы, в частности — к установлению оппозиции смычных по глухости/звонкости, а также к обогащению фонетической синтагматики.

Описание большинства австралийских языков вынужденно базируется на материале одного-двух диалектов. Некоторую ненадежность такого описания отмечает У. Дуглас, указывающий, что аборигены обычно «подстраивают» свою речь под собеседника. Описывая диалект, исследователь не может быть уверен в адекватности отражения в получаемом материале свойств полной системы данного языка (о трансформациях полной языковой системы в диалектах ср. [5]). Тем не менее появление описаний, выполненных на современном уровне и с единых позиций, существенно обогащает австраистику и может быть полезно для общей фонологии.

То же самое можно сказать о морфологических разделах очерков. Типичные морфологические процессы в австралийских языках — гаплогония, редупликация, падение и/или ассимиляция тематических гласных. В ряде языков п-ова Кейп-Йорк действуют правила сингармонизма (ср. очерк Т. Кроули в 2-м томе издания). Морфологическая структура австралийских языков, по морфологическому типу — преимущественно агглютинативных, проста и легко поддается сегментации. По-видимому, справедливо наблюдение Р. Диксона [6], отметившего, что австралийские языки стремятся к скорейшей элиминации или полному переосмыслению морфологических аномалий, т. е. что их существенную характеристику составляет стремление к регулярности. Наиболее интересны в этом отношении языки ангутимри и варгамай; в последнем перестройка морфологии ведет

к структурным изменениям типологического плана.

Отметим выявляемое при анализе материалов издания структурное сходство местоименных систем (трехчленная оппозиция по числу, эксклюзивность/инклюзивность, местоименные перифразы, наличие табуированных местоимений) и, видимо, связанное с этим сходство дейктических систем (многие австралийские языки «вводят» трехмерное дейктическое пространство; в качестве исключения можно привести гугу-йимидыр с одномерной, линейной дейктической системой); различие прямых/косвенных основ имен и местоимений; наличие глаголообразных наречий, согласуемых с именем; соединение глаголов в «цепочки», или серии³; например, в языке дярбал *balam* (1) *wudu* (2) *banqul* (3) *yarangu* (4) *dangani* (5) *ganbin* (6) «спину (1—2) человек (3—4) неряшливо (5, бун, «плохо делает») ест (6)» [8, с. 88].

Заслуживают внимания также следующие явления: 1) общаустралийская тождественность ряда служебных морфем; 2) единообразие словообразовательных процессов (в частности, образования отменных прилагательных со значением «(не) имеющих X» — с аффиксом комитатива/социатива, ср. в питта-питта *malumari* «пустой» = *malu*/отрицат. частица/ + *maru* /суффикс социатива/, — и с аффиксом приватива, ср. в гумбайнгир *bigu* : *rbigu* «безлесный» = *bigu* : *r* /«дереву»/ + *biga* /суффикс приватива/.

Повторяемость морфологических процессов и самих морфем может быть результатом как общего развития, так и заимствования. Разграничить две названные причины нелегко, а проблема их разграничения лежит на стыке типологии и компаративистики (кстати, для частных сравнительно-исторических исследований австралистика уже накопила достаточный материал). И в том и в другом случае мобильность определенных грамматических показателей может вызываться следующими причинами: 1) формальная причина — простота формальной структуры показателя; 2) динамическая причина — утрата или переосмысление в языке-акценторе функционально аналогичного показателя; 3) функциональная причина — совмещение показателем некоторого набора функций, из которых каждый язык может выбирать «нужные» ему.

Лингвистически наиболее интересна третья причина. Синкретическими надежными показателями в большинстве австралийских языков являются показатели эргатива/инструменталиса, а также датива/генитива. Примером синкретического глагольного показателя может служить залоговый формант, который маркирует в глаголе: а) пассив, б) антипас-

³ Это свойство австралийских языков до сих пор не привлекало внимания; между тем наличие его позволяет вывести типологический анализ сериализации за пределы австроазиатских и африканских языков, пока что имевших монополию на сериализацию. О сериализации ср., например, [7].

скв, в) рефлексив, г) статив-результатив. д) реципрок, е) декаузатив, или так называемый «ложный рефлексив/реципрок». Естественно, что не всегда все перечисленные функции представлены в конкретном языке.

По-видимому, для подобного синкретического служебного показателя невозможно определить исходную, базисную семантику или выбрать из всех его функций главную. Отметим, кстати, что подобное требование — определить базисную семантику — считается необходимым при анализе глагольных формантов, но не предъявляется обычно к именным показателям.

Очевидно, функция названного выше синкретического глагольного показателя детерминирована конкретной глагольной семантикой и семантикой приглагольных именных групп. В принципе функциональный анализ глагольных конструкций обещает быть адекватнее, нежели анализ, при котором форманты приписываются некоторое исходное, базисное содержание. Так, приписывание рассматриваемому глагольному показателю универсальной этикетки «антипассивный»⁴ приводит Т. Кроули к трактовке конструкции языка ангитимри *Ku* (1) *fa-pɪni* (2) «Бревно (1) расколосось (2)» как «необычной» антипассивной, в то время как это конструкция стативно-результативного типа, и показатель *-pɪ-* выступает здесь в функции (г).

Проблема трактовки морфологических показателей непосредственно связана с общетипологическими проблемами, находящимися в центре внимания австралистики, — структурой надежных систем (отметим две обобщающие работы по этой проблеме [см. 9, 10]) и установлением типов языков в рамках синтаксической типологии. Это, в свою очередь, связано с вопросом о соотношении в австралийских языках черт аккузативности и эргативности. Заметим, что общее введение, вопреки традициям этого научного жанра и вопреки самой типовой схеме издания, освещает прежде всего именно эти проблемы.

Авторы очерков следуют типологической концепции Р. Диксона [11] и оперируют понятиями подлежащего непереходного глагола (S), подлежащего переходного глагола (A) и дополнения при переходном глаголе (P или O). Определенный акцент делается на четком разгра-

ничении синтаксических категорий и семантических ролей. В качестве общего теоретического недочета можно, видимо, отметить неразличение эталонно и не-эталонно переходных глаголов, стативных и агентивных глаголов, слишком поспешное сведение ролей в гиперроли.

С морфологической точки зрения многие австралийские языки являются представителями так называемого парциального, или смешанного (*split, fossil*) типа, совмещающего черты аккузативности и эргативности (а также других типов). Как правило, эргативность реализуется в сфере имен нарицательных и небудущих времен.

Что касается синтаксиса, то большинство австралийских языков синтаксически аккузативны и/или нейтральны. В рецензируемом издании обсуждается и проблема синтаксической эргативности, впервые поднятая Р. Диксоном применительно к материалу языка дирбал [8]. Р. Диксону принадлежит очерк языка варгамай, близкого дирбалу; по мнению автора, синтаксис варгамай был чисто эргативным, сейчас совмещает черты эргативности и аккузативности, а вследствие накопления морфологических изменений может стать полностью аккузативным. В очерке о варгамай автор особенно подчеркивает взаимосвязь между морфологическими и синтаксическими изменениями в языке.

Типичный порядок слов в австралийских языках — SOV. Правила порядка слов изучены недостаточно, изучение их затруднено в связи с исчезновением многих языков и, следовательно, невозможностью наблюдать интонацию — инструмент плана выражения, непосредственно связанный с порядком слов. В принципе исследование порядка слов в живых австралийских языках могло бы дать многое для трактовки «ежестных» SOV-языков, в которой еще есть лакуны.

Остановимся на двух явлениях, подробно обсуждаемых в австралистике. Они представляют собой своего рода мост от собственно синтаксиса к структуре дискурса. Речь идет об уже упоминавшейся антипассивной конструкции и о конструкции с «переключением референции» (*switch-reference*). «Переключение референции» проявляется в том, что глагол (или форма, обладающая рядом признаков глагола, например, глаголообразное наречие) имеет специальные показатели, которые служат для указания на кореферентность/некореферентность подлежащих предикативных конструкций, объединенных в рамках более сложного синтаксического целого. Так, в диалекте глагол-сказуемое принимает показатель *-la-*, если подлежащие объединяемых в сложном предложении предикативных конструкций кореферентны, и показатель *-pani-*, если эти подлежащие некореферентны [12].

Функционирование таких конструкций обусловлено, в частности, семантическими факторами (так, для антипассивной конструкции типично, чтобы имя субъекта было личным или одушевленным, имя объекта — неодушевленным; сама кон-

⁴ В антипассиве (= антипассивной конструкции) именная группа объекта имеет статус више прямого дополнения (т. е. дативное или косвенное дополнение), именная группа субъекта ведет себя во многом подобно подлежащему при непереходном глаголе. Антипассивную конструкцию, характерную для многих эргативных языков, принято сопоставлять с эргативной. Если в последней субъект выражен эргативом, объект — абсолютивом, глагол согласуется с объектом или с обоими актантами, то в антипассивной конструкции субъект выражен абсолютивом, объект — косвенным падежом или нулем, глагол согласуется только с субъектом.

струкция обычно реализуется в сфере непротекших времен и ирреалиса) и структурой дискурса. До недавнего времени считалось, что две названные конструкции распределены в языках дополнительно и в одном языке сосуществовать не должны, поскольку они выполняют тождественную функцию — служат обеспечению когерентности. Однако конкретные описания показывают, что эти конструкции могут сосуществовать в одном языке, и, следовательно, их функционирование подлежит дальнейшему изучению.

Обсуждение структуры дискурса в рамках типологического очерка привлекает внимание как полезное новшество, и остается надеяться, что в следующих томах издания появятся новые, более подробные сведения по этому вопросу.

Особняком в 2-м томе издания стоит статья «Тасманийские языки». В ней звучит осуждение тотального геноцида тасманийцев, приведшего к полному исчезновению этого народа в конце XIX в. Сохранившиеся лингвистические материалы столь скудны и ненадежны, что позволяют сделать лишь самые общие выводы: видимо, тасманийцы говорили на шести (или более) языках, имевших диалектное членение. Нет никаких данных, опровергающих связь тасманийских языков с австралийскими, но нет и надежных фактов, подтверждающих их родство. Статья замечательна тем, что авторы попытались охватить максимум литературы по тасманийским языкам: они опираются как на имеющиеся записи XVIII—XIX вв., многие из которых находятся в архивах и трудно доступны, так и на предшествующие исследования — в особенности на работы Т. Кроули и Н. Пломли [13, 14].

Заслуживает внимания высокий технический уровень издания. Вероятно, оно могло бы быть более удобным, если бы было снабжено индексом. Хотелось бы более единообразного представления звукового состава описываемых языков, и, по-видимому, в дальнейшем это станет возможным: в Австралии уже принято решение об унификации фонетической записи аборигенных языков. Возможно, недостатком является то, что сведения о некоторых категориях (например, дейктических) разбросаны по разным разделам статей. Далее, поскольку исследуемые языки в большинстве своем мертвые, в ряде случаев выделение тех или иных грамматических категорий и их квалификация могут быть сомнительными (отметим, например, глагольные наклонения). Вероятно, в таких случаях лучше пренебречь традиционными схемами, не «подгоняя» материал под них.

Несмотря на то, что сам объем очерков вынуждает авторов жертвовать какой-то информацией, все статьи написаны с достаточной степенью подробности. Используемая терминология проста и это делает очерки доступными для языковедов разного профиля.

Появление первых томов издания — новое доказательство успехов австралистики и новый материал для работы. Для тех, кто впервые знакомится с этими языками, издание восполняет пробел в литературе по языкам «далних ареалов», столь опутанным до сих пор. Издание уже успело привлечь к себе внимание широкого круга специалистов. На это указывает Р. Диксон в предисловии к 2-му тому; свидетельство тому — и рецензии на 1-й том, появившиеся в ряде журналов: «Oceania» (Ф. Мерлан), «Language» (Б. Ригсби), «Journal of Linguistics» (Дж. Хит) ⁵.

Подинская М. С., Журиная М. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wurm S. Languages of Australia and Tasmania. The Hague — Paris, 1972.
2. Sommerfelt A. La langue et la société; caractères sociaux d'une langue de type archaïque.— In: Institutet for sammenlignende kulturforskning, 1938, ser. A. 18.
3. Dixon R. M. W. The languages of Australia. London — Cambridge, 1980.
4. Zwaan J. D. de. A preliminary analysis of Gogo-Yimidjir. Canberra, 1969.
5. Соколовская Н. К. Фонетическое варьирование в бесписьменном языке (на примере языка понг).— В кн.: Варьантность как свойство языковой системы: Тезисы докладов. Ч. 2. М., 1982, с. 68.
6. Dixon R. M. W. Syntactic reanalysis, evidence from Wargamay.— Australian Journal of Linguistics, 1981, v. 1, N 1.
7. Foley W., Olson M. Clausehood and verb serialization.— In: Grammar inside and outside the clause. Eds. Nichols J., Woodbury A., New York, 1982.
8. Dixon R. M. W. The Dyirbal language of North Queensland. London — Cambridge, 1972.
9. Blake B. Case marking in Australian languages. Canberra, 1977.
10. Blake B. Australian case systems.— In: Australian Linguistic Studies. Ed. Wurm S., Canberra, 1979.
11. Dixon R. M. W. Ergativity.— Language, 1979, v. 55, N. 1.
12. Austin P. A grammar of Diyari, South Australia. Cambridge, 1981, p. 191—195.
13. Crowley T. Phonological change in New England.— In: Grammatical categories in Australian languages. Ed. Dixon R. M. W., Canberra, 1976.
14. Plomley N. J. B. A word-list of the Tasmanian aboriginal languages. Launceston, 1976.

⁵ Уже после сдачи рецензии в печать авторы получили возможность ознакомиться с третьим томом рецензируемого издания, вышедшим в свет в 1983 г. Том содержит очерки языков дыяну (Ф. Морфи), юкулта (С. Кин), уради (Т. Кроули), ньявайги (Р. Диксон).

Рецензируемая книга открывает серию обзорных монографий, посвященных различным языковым ареалам. Она принадлежит перу одного из крупнейших современных специалистов в области австралийского языкознания и синтаксической типологии. Роберт Диксон известен как автор фундаментальных дескриптивных трудов по австралийским языкам [1, 2], одной из лучших зарубежных работ по теории аргативности [3] и ряда статей на темы семантики и синтаксиса, а также как редактор (вместе с Б. Дж. Блейком) третью серии описаний австралийских языков [4]. «Языки Австралии» адресуются самому широкому кругу читателей: австроловедам, лингвистам других специальностей и — что автор считает особенно важным — той части австралийской общественности, которая проявляет интерес к жизни аборигенного населения. Ориентация на возможного читателя-непрофессионала обусловила такие особенности книги Р. Диксона, как довольно пространное разъяснение общелингвистических понятий и методов, графически упрощенный вариант транскрипции и т. п. Избранный автором жанр ограничивает и научную новизну материала: помимо систематизации известных фактов, в книге предлагается реконструкция праавстралийской (точнее прапама-ньюнга, см. ниже) фонологической и морфологической систем, а также ряд новых классификационных критериев. Книга состоит из предисловия, тринадцати глав и заключения; изложение сопровождается обширным справочным аппаратом (пятью указателями и девятью картами).

Языки коренного населения Австралии, к сожалению, до сих пор мало привлекали внимание советских лингвистов. Между тем «экзотичность» их структуры не следует преувеличивать: по своим типологическим характеристикам они ближе к индоевропейским, алтайским, кавказским, эскимосско-алеутским и др. давно освоенным отечественной традицией языкам, чем к языкам Юго-Восточной Азии, Океании или Африки. Для большинства австралийских языков характерны простая фонологическая система, умеренные ограничения на фонетическую структуру слова, «привычные» для европейской традиции морфологические категории — падеж, время, наклонение; для меньшей части языков — полисинтетизм. Наконец, на разных уровнях их структуры, как правило, обнаруживается аргативность, и по ряду причин австралийские языки предоставляют очень ценный материал для обсуждения различных концепций, связанных с этим явлением.

В 1-й главе рецензируемой книги излагается история изучения австралийских языков и убедительно опровергается представление об их «примитивности». Так, автор показывает полную несостоятельность популярного тезиса об отсутствии в этих языках родовых наименований (типа «рыба», «оружие» и

т. д.), основанного на анекдотических ошибках первых исследователей (с. 5). В 2-й главе рассматривается членение аборигенных сообществ, его отражение в языке и связь языкового и племенного деления, в 3-й дается лингвистическая характеристика фольклора аборигенов, а также песенного, этикетного и тайного стилей. (Нам кажется, что употребление автором термина «стиль» вместо привычного «язык» для характеристики этих форм речи более уместно.) В 4-й главе («Роль языка в современном обществе австралийских аборигенов») особый интерес представляют соображения Р. Диксона по поводу введения письменности и двуязычного школьного обучения для аборигенов. Он полагает, что неумелое проведение этих мер способно разрушить устную традиционную культуру, базирующуюся на ином принципе передачи и хранения информации, поэтому письменность должна вводиться 1) раньше на родном языке, чем на английском; 2) первоначально для взрослых, которые затем обучают детей; 3) с целью фиксации не только новых, но и традиционных знаний; так, устная литература должна быть записана возможно скорей и возможно более полно.

Три последующие главы посвящены соответственно словарю, фонологии и фонетическим процессам австралийских языков. Словарный состав характеризуется, в частности, разработанностью культурной лексики и обилием родовых наименований (в том числе классификаторов). Отсутствие системы числительных (имеются лишь неопределенные детерминаторы с лексической числовой оппозицией) объясняется тем, что в традиционной австралийской культуре не возникало потребности в языковом счете (с. 108). Автор описывает типичные варианты австралийской фонетики и предлагает реконструкцию праавстралийской фонологической системы и фонотактики.

Глава 8-я посвящена вопросам классификации австралийских языков. Автор перечисляет многочисленные изоглоссы, отделяющие огромную семью пама-ньюнга, занимающую более четырех пятых территории континента, от множества остальных семей, сосредоточенных на полуострове Арнемленд и в Кимберли. В этой же главе обсуждаются гипотезы внешнего родства австралийских языков — с вымершими языками Тасмании, с австронезийскими, папуасскими, эскимосско-алеутскими, мон-кхмерскими и т. п. С наименьшим скептицизмом автор, по-видимому, относится к австралийско-дравидийскому сопоставлению Р. Колдуэлла, но замечает при этом, что «типологические параллели между австралийским и дравидийским поразительны, однако на том дело и кончается» (с. 237). Возможно, что Р. Диксон прав, предполагая, что такая изоляция австралийских языков стерла все черты генетического сходства с другими языками, однако окончательно это может подтвер-

даться только если будет реконструирован словарь праавстралийского и если он не обнаружит никаких сходств с аналогичными результатами, полученными на материале других языков. Вообще говоря, учитывая обилие австралийских языков, можно считать маловероятным, что какие-то существенные черты праязыка никогда не удастся реконструировать. В главе 9-й («Классы слов») рассматривается, в частности, известная иерархия М. Сильверстайна, располагающая те признаки имен, которые определяют у них наличие эргатива и/или аккузатива, в виде последовательной шкалы. Р. Диксон поддерживает наиболее распространенное объяснение действия этой иерархии как иерархии потенциальной агентивности (ср. возражения А. Вежбицкой [5]); при этом он опирается на гипотезу, согласно которой имя тяготеет к маркированной форме тогда, когда оно выступает в нетипичной для себя функции (например, одушевленное имя в функции пациенца); выступая в типичной функции, оно, наоборот, скорее будет немаркировано. Нам кажется, что это не единственный способ объяснения иерархии Сильверстайна и что эти предположения, на первый взгляд очевидные, нуждаются в более точной формулировке и эмпирическом обосновании. (Для проверки этой гипотезы небезинтересно было бы поискать ответ, например, на следующие вопросы: всегда ли имеется тенденция для имен со значением инструмента реже остальных выступать в маркированной форме творительного падежа? для названий типичных ориентиров — в форме локатива? для предельных глаголов — в форме совершенного вида? и т. п.)

В главах 10—12-й дается обзор словоизменительных парадигм, реконструируются праавстралийские системы падежей, личных местоимений, типы спряжения. Глава 13-я посвящена синтаксису. При определении исходных синтаксических понятий Р. Диксон считает целесообразным сохранить термин «подлежащее» только для исходной структуры, а при описании синтаксических процессов оперировать поверхностно-синтаксическими характеристиками (приравнивающими единственный актант непереходного глагола либо к первому, либо ко второму актанту переходного). Здесь же рассматривается порядок слов, процессы транзитивизации и интранзитивизации. Интересна с типологической точки зрения идея Р. Диксона об историческом преобразовании антипассивной конструкции в форму имперфектива или настоящего-будущего времени как первым шагом в номинативизации (языки калкатунгу, питта-питта, жукута и др.), что, на наш взгляд, представляет собой примечательную аналогию процессу частичной эргативизации индоиранских языков через закрепление пассива в перфектных временах (ср. аналогичную гипотезу о возникновении номинативной конструкции при временах презентной системы в картвельских языках [6]).

В рецензируемой книге есть ряд спорных мест. Так, применение критерия взаи-

мопонимания для отнесения двух форм речи к одному языку (с. 33—35) не представляется надежным. Хотя автору удалось преодолеть возникающие при этом трудности с «лингвистической непрерывностью», просто объявив, что два крайних члена диалектной цепи относятся к одному языку, если у каждого двух соседних имеет место взаимопонимание, остается в силе другая трудность: в случае близкородственных языков (диалектов?) невозможно определить, обусловлен ли факт взаимопонимания их объективным родством или просто сложившейся практикой взаимного общения (особенно учитывая типичное для аборигенов многоязычие)¹. На с. 69—71 автор, скорее всего, упрощает процесс возникновения пиджина Aboriginal English. По его мнению, поселенцы не могли представить себе, что аборигены способны говорить на правильном английском языке, и поэтому обращались к ним в любой части страны на смеси ломаного английского и языка сиднейского побережья. Такая парадоксальная ситуация (согласно Р. Диксону, обладающий низким социальным престижем пиджин возник в одной социальной группе и был назван другой) вряд ли может сложиться в результате простого недоразумения, и причины устойчивости Aboriginal English еще нуждаются в исследовании. Хотя автор вполне адекватно формулирует принципы сравнительно-исторического языкознания (с. 221), предположенная им реконструкция не может считаться окончательной без реконструированного словаря и полной системы межъязыковых соответствий. В этой связи необходимо также отметить, что опора Р. Диксона на язык пама-ньюнга, при всей их очевидной архаичности, пока еще не дает оснований говорить о собственно праавстралийском уровне (с. 256); не исключено, что какие-то архаизмы сохранились, наоборот, только в языках не пама-ньюнга. Более того, называя реконструированный им уровень праавстралийским, Р. Диксон заявляет, что читатель сам может убедиться в исторической выводимости остальных языков (не пама-ньюнга) из этого уровня; достаточно лишь сравнить их материал с его реконструкциями (с. 225; ср. по этому поводу ироническое замечание Д. Лейкока: «с таким же успехом можно рекомендовать читателю написать собственную книгу» [7]).

Книга Р. Диксона представляет интерес для этнографов, типологов, социолингвистов, специалистов по общему языкознанию. Не претендуя на роль фундаментального компендиума, она является скорее введением в современное австралийское языкознание, развитие которого принимает такие темпы, что обобщающая работа С. Вурма [8], вышедшая в свет в 1972 г., уже в течение ближайших лет успеет во многом устареть. Стремительно возрастающий поток публикаций по австралистике (выполнен-

¹ Именно такое положение вещей отмечает, например, Ф. Морфи для группы диалектов (языков?) йолангу, см. [4, т. 3, с. 3].

ных, как правило, на высоком научном уровне) привлекает все большее внимание лингвистов разных специальностей. Нет сомнения в том, что рецензируемая книга способна послужить ключом к сложному и многообразному материалу.

Тестелец Я. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dixon R. M. W. The Dyirbal language of North Queensland. Cambridge, 1972.
2. Dixon R. M. W. A grammar of Yidiny. Cambridge, 1977.
3. Dixon R. M. W. Ergativity. — Language, 1979, v. 55, № 1.

4. Handbook of Australian languages. Ed. by Dixon R. M. W. and Blake B. J. Amsterdam, v. 1—1979, v. 2—1981, v. 3—1983.
5. Wierzbicka A. Case marking and human nature. — Australian Journal of linguistics, 1981, v. 1, № 1.
6. Boeder W. Ergative syntax and morphology in language change: the South Caucasian languages. — In: Plank F. (ed.). Ergativity: Towards a theory of grammatical relations. London, 1979.
7. Laycock D. — Language, 1982, v. 58, № 3, p. 709. — Rec.: Dixon R. M. W. The languages of Australia.
8. Wurm S. Languages of Australia and Tasmania. The Hague — Paris, 1972.

Журавлев В. Е. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. — М.: Наука, 1982, 328 с.

Изучение воздействия социальных факторов на развитие языка представляет собой один из важнейших аспектов исследования сложной и многогранной проблемы соотношения языка и общества, разработка которой в советском языкознании имеет давние плодотворные традиции. В последние десятилетия заметно возрос интерес лингвистов к теме «Язык и общество», о чем свидетельствует размах социолингвистических исследований как в нашей стране, так и за рубежом. Наряду с разработкой общетеоретических принципов и методов социолингвистики большое внимание уделяется изучению связей языка с различными сторонами жизни общества (язык и культура, язык и идеология, язык и история и т. п.), социальной дифференциации языка, выяснению роли экстралингвистических факторов, оказывающих влияние на функционирование и развитие языка (или отдельных языковых уровней (лексика, синтаксис и др.)). Социолингвистический подход реализуется прежде всего при анализе синхронного состояния языка или закономерностей функционирования современных языков, в меньшей степени — при изучении истории языка. В свете этого рецензируемая книга — один из первых опытов диахронической социолингвистики — представляет особый интерес.

Во вводном разделе книги — «Социальное давление на языковые процессы» (Понятийный аппарат) — излагаются исходные теоретические принципы и основные понятия, на которых базируется проводимое исследование. Важной чертой авторского подхода к рассматриваемой проблематике является стремление показать органическую (но не прямолинейную) связь внешних и внутренних факторов в истории языка, диалектическое единство социального и собственно лингвистического в языковой эволюции. Проводимое некоторыми социолингвистами разграничение понятий «социум» (общество, социальные коллективы) и «со-

циалема» (языковой, речевой коллектив) автор переносит из синхрония в диахрония. Понимая под термином «социалема» любую «социальную общность людей, говорящих на одном языке» [1, с. 312], В. К. Журавлев рассматривает социалему в качестве «элементарной единицы языковой эволюции» (с. 7). Строго говоря, с такой формулировкой трудно безоговорочно согласиться, но, видимо, автору важно было подчеркнуть, что именно социалема представляет собой основное звено, в котором совмещаются и перекрещиваются линии развития языка и общества и через которое осуществляется социальное давление на развитие и функционирование языка. Для выявления сложной динамики взаимодействия между обществом и языком на разных этапах их истории оказалось существенным введение новых социолингвистических понятий «реальной социалемы» и «потенциальной социалемы». Первое означает «общность людей, речевое взаимодействие которых осуществляется на одном и том же языке и принципиально не ограничивается ни социальными, ни географическими барьерами», второе — «языковой коллектив, обладающий установленной общностью языка, но реально не использующий эту общность в силу отсутствия необходимости или возможности социального взаимодействия» (с. 11). Наряду с понятиями «социум» и «социалема (реальная и потенциальная)» автор оперирует понятием «лингвема». Этим термином, применяемым вслед за Ю. Д. Дешериевым [1, с. 313], обозначаются все возможные языковые формации, разновидности языка (национальный язык, литературный язык, язык письменный и устный, койне, территориальные диалекты и говоры, социальные диалекты, функциональные стили и т. д.), находящиеся в определенной функциональной связи с тем или иным социумом (месоциумом, макросоциумом, микросоциумом и т. п.). Опираясь на понятия социума, социалемы и линг-

языка, автор формулирует задачи выяснения роли социальных факторов в его развитии. Отметим, что говоря о влиянии общества, о социальном давлении на внешнюю историю языка, автор подчеркивает также значение внутренних факторов, «давления системы» языка, спонтанных изменений, обусловленных закономерностями развития самой языковой структуры.

Основное содержание книги излагается в последующих четырех частях, посвященных различным аспектам исследуемой проблематики.

В первой части — «Развитие производства и производственных отношений» анализируется влияние на социальное, а через нее и на язык таких социально-экономических и политических факторов, как коренное изменение в характере и способе производства, развитие производственных отношений, торговли, становление государственности, промышленная революция и др. Автор показывает, что уже при первобытнообщинном строе начинают складываться конвергентные тенденции в развитии языка, как стихийные, обусловленные усилением взаимодействия между общинами и родами в рамках племени, так и более или менее сознательные, связанные с появлением особых социально-языковых институтов, подчеркивающих единство языка племени (развитие надплеменного языка устной народной поэзии, возникновение зачатков публичной речи и т. п.). К этой же эпохе относится формирование территориальных диалектов, а также элементов диглоссии и билингвизма. Хорошо раскрыта важная роль древней торговли как инструмента развития контактов и взаимодействия между социумами и социалами, как фактора, который, с одной стороны, способствовал углублению дифференциации социалем и соответствующих им лингвем (например, возникновение социальных аргонов, условных языков), а с другой стороны, стимулировал интеграционные социальные и языковые процессы. Значительное внимание уделяет автор анализу социолингвистических последствий промышленной революции. С ней, в частности, связывается интенсификация социального взаимодействия, «вырывообразный» рост объема социумов и социалем, возрастание роли «социалами носителей городского диалекта» (с. 41), изменение общественных функций отдельных языковых формаций, формирование нового социума — нации и основного средства общения внутри ее — общенародного языка, становление национальных литературных языков. В данном контексте следовало бы, на наш взгляд, специально остановиться и на такой важной проблеме, как процесс складывания системы национального языка. С возникновением и развитием государства в книге связывается усиление конвергентно-дивергентных процессов в социальной и языковой сфере, зарождение тенденций к сознательному регулированию процессов функционирования и развития языка. Подробно освещается автором взаимодействие на языковое развитие различных демографических

факторов, в частности, интенсивных миграционных процессов.

Во второй части рецензируемой книги — «Развитие духовной культуры» — исследуются социальные факторы, связанные с развитием духовной культуры. Автор довольно подробно освещает историю письменности и ее роль в языковой эволюции. При этом значительное внимание уделяется вопросу о взаимоотношении письменной и устной форм языка. В этом разделе немало интересных наблюдений и выводов. Так, автор отмечает, что «письмо, являясь внешним фактором по отношению к языку, само по себе имеет внутренние закономерности развития и представляет собой центральное поле взаимодействия внешних и внутренних факторов в развитии языка» (с. 83). Естественно, что это относится к истории письменных и литературных языков. Специальный раздел посвящен также школе. «Первые в истории человечества школы были созданы с целью преподавания языка» (с. 89), — подчеркивает автор, подробно описывая развитие школьного дела и народного образования в разных странах. Процесс проникновения национального языка в сферу народного образования вполне справедливо рассматривается как часть более общего процесса организации национальной школы и развития национального литературного языка, расширения его общественных функций. Автор приходит к выводу, что школа является «основным способом социализации и сохранения норм литературного языка, основным средством воспроизводства его социалем» (с. 121). Мощным фактором интенсификации языкового общения и взаимодействия социалем и лингвем явилось книгопечатание. По наблюдениям автора, с развитием книгопечатания резко возрастает элемент сознательного вмешательства общества в стихийные процессы языковой эволюции.

Интересен по замыслу завершающий раздел второй части книги — «Культурно-исторический ареал». Введение этого понятия и его социолингвистическое осмысление в данном исследовании представляется вполне оправданным. Культурно-исторический ареал понимается автором как своеобразный мегасоциум, объединяющий «народы и соответственно их языки на основе общего уровня социально-экономического, политического и культурного развития, общности культурных традиций, базизирующихся на определенной общности книжных текстов, отражающих основное содержание интегрирующей части духовной культуры» (с. 139—140). Важным признаком культурно-исторического ареала является наличие книжного языка — общей для всего ареала лингвемы «международного взаимодействия в сфере духовной культуры» (с. 142). Естественно, что в такой трактовке понятие «историко-культурный ареал» оказывается нетождественным понятиям «семья родственных языков», «языковой союз» и «языковой ареал» (примечательно, однако, что пять основных культурно-исторических ареалов, которые описываются в книге, а сущ-

ности совпадают с пятью языковыми ареалами, выделяемыми некоторыми исследователями при анализе интернационализмов [2]). Сильной стороной концепции В. К. Журавлева является история: культурно-исторический ареал рассматривается им как категория, которая с течением времени может менять «свое содержание, объем и границы в связи с изменением интегрирующих начал, перемещением эпицентров и перераспределением границ между ними, со сменой и борьбой идеологий» (с. 140). Интересна идея «интегрирующих текстов», так как в них можно видеть реализацию общности культурно-исторических традиций ареала. Наряду с этим некоторые моменты авторской концепции представляются нам дискуссионными. Так, в частности, нуждается в уточнении трактовка отдельных признаков культурно-исторического ареала. Учитывая, что в его состав могут входить, по словам самого автора, «различные государства и народы, племенные союзы и племена» (с. 142), «несколько гетерогенных социалем» (с. 159), вряд ли стоит говорить об общем уровне их социально-экономического и политического развития. В связи с этим следовало бы, на наш взгляд, подчеркнуть лишь относительный характер целостности социума в рамках культурно-исторического ареала (особенно в прошлом).

Думается, что в общетеоретическом плане вопрос о культурно-историческом ареале заслуживает дальнейшего специального исследования. Что же касается влияния культурно-исторических ареалов на судьбы языков, то в рецензируемой книге это показано на конкретном материале, охарактеризованы определенные сферы языка, где это влияние отражается особенно заметно.

В третьей части книги — «Языковые процессы и их социальный субстрат» — рассмотрены некоторые специфические аспекты языкового развития, связанные с преобразованием социалем. Под новым углом зрения освещается, в частности, проблема языковых контактов, суть которых автор видит во взаимопроникновении социалем и интерференции языковых элементов. При этом большая роль отводится коллективам билингвов, относящихся одновременно к двум социаламам. Известную классификацию языковых контактов по «стратам» (субстрат, суперстрат, адстрат, мистрат, перстрат) автор дополняет четырьмя типами языкового взаимодействия, которые выделены по характеру каналов коммуникации (устная или письменная форма речевой деятельности билингвов): I тип — взаимодействие лишь по устным каналам, II тип — взаимодействие по письменным каналам, III тип — контакт между письменным и бесписьменным языками, IV тип — смешанный, осуществляющийся по устным и письменным каналам. Отдельные разделы третьей части посвящены вопросам демократизации и нормализации литературного языка, а также роли переводов во взаимодействии и интеграции литературных языков. Процесс демократизации литературного языка, как считает автор, имеет две стороны:

«расширение функций родного языка за счет снижения роли всех других лингвем, функционировавших в данном социуме, у данного народа» и «увеличение удельного веса народно-разговорных элементов в структуре литературного языка» (с. 193). Демократизация литературного языка понимается как результат демократизации социалемы, изменения ее «социального содержания» (с. 193), обусловленного развитием промышленной революции, школьного дела, народного образования и т. п. В связи с этим приводится и анализируется интересный историко-культурный и языковой материал, относящийся к разным народам, странам и эпохам. Говоря о нормализации литературного языка, автор отмечает стихийный характер этого процесса, а также пути и сферы сознательного воздействия на него, подчеркивает важную роль «особого подсоциума нормализаторов» (с. 238) (лингвистов, писателей, издателей, преподавателей).

Ряд важных проблем освещается в четвертой части — «Научно-техническая революция, язык, языкознание». Серьезное внимание уделено характеристике социолингвистических последствий НТР, которая вызвала небывалый размах и интенсификацию информационно-коммуникативных процессов, привела к резкому увеличению числа и форм механизмов языкового взаимодействия (особенно благодаря развитию средств массовой коммуникации), к усилению процессов языковой интеграции социумов. Одним из важнейших следствий развития НТР, как указывает автор, является интернационализация и демократизация социума, который занимается наукой (с. 266). Это в свою очередь привело к дивергенции языков науки, к их заметной интернационализации. Значительно возросла роль языка науки, научного стиля в становлении и стабилизации литературно-языковых норм: «Язык науки в эпоху НТР все в большей мере становится основной опорой существования и развития норм литературного языка» (с. 272). Естественно, что в работе не могли быть рассмотрены все проявления влияния НТР на развитие языковой жизни. Многие аспекты этой проблемы еще предстоит исследовать. Более полное определение характера, масштаба и сфер воздействия НТР на функционирование современных языков, на процессы их взаимодействия является актуальной задачей социолингвистики. Значительное внимание уделяет автор характеристике таких типичных для развития современных литературных языков тенденций, как интеграция, интернационализация и интеллектуализация. Проявление интернационализации языков он усматривает, с одной стороны, в усилении функциональной нагрузки языков межнационального и международного общения, в росте билингвизма, а с другой стороны, в увеличении объема интернациональных элементов в литературных языках. В связи с этим различается функциональная интернационализация языков и внутренняя (структурная) интернационализация литературных языков (с. 284).

Завершается четвертая часть обобщающим очерком опыта языкового строительства в СССР. В заключении излагаются основные итоги исследования.

Рецензируемая книга В. К. Журавлева отличается необычайной широтой проблематики. Она написана на интересную, актуальную и малоразработанную тему. В центре внимания автора — исследование внешних (прежде всего социальных) факторов объективного характера, но наряду с этим освещаются и субъективные социальные факторы: сознательные установки и концепции языкового развития определенных социальных групп, общественных течений, целенаправленная нормализаторская и кодификаторская деятельность в области литературного языка, языковая политика и т. п. В теоретическом плане важное значение имеет общая модель механизма социального давления на развитие языка. Этот механизм проявляется в изменении объема, содержания и общественного статуса социалемы; в изменении социальных функций лингвемы (лингвем), используемой (используемых) данным социумом; в приспосабливании лингвемы к выполнению функциональной нагрузки в данном обществе на данном этапе его развития. Проследив его действие на разных этапах развития общества и языка, автор показал, что сложные, порой противоречивые, конвергентно-дивергентные процессы в истории языков и диалектов в определяющей степени обусловлены процессами взаимодействия, сближения, объединения или дифференциации и расхождения социалем, которые в свою очередь детерминированы существенными сдвигами и изменениями в экономической, социально-политической и культурной жизни общества.

Несомненным достоинством книги является привлечение богатейшего историко-культурного и языкового материала, относящегося к разным регионам, странам и народам. В частности, широко используется материал по истории языков и культур славянских народов. Большое внимание уделено социолингвистической интерпретации закономерностей развития языков народов СССР. Автор проявил незаурядную эрудицию, творчески используя и обобщая огромную научную литературу (лингвистическую, социолингвистическую, историко-культурную, статистическую и др.).

Рецензируемая книга дает импульс для дальнейшей разработки актуальных вопросов социолингвистики. Конечно, и в общей концепции книги, и в решении некоторых проблем имеются моменты дискуссионного характера. Отдельные положения и выводы автора представляются нам излишне абсолютизированными. Так, вряд ли можно безоговорочно согласиться с тем, что любой новый ли-

тературный язык — «своего рода гибрид между устным народно-поэтическим языком и книжным языком данного культурно-исторического ареала» (с. 160). Другой пример. Характеризуя тенденции развития языков эпохи НТР, автор пишет: «Если в предшествующую эпоху развития промышленной революции ведущей тенденцией языкового развития была тенденция к демократизации литературных языков в связи с демократизацией социалемы, то теперь на передний план выдвигается интернационализация» (с. 280). В отношении ряда современных литературных языков этот вывод можно признать правильным. И все же, по нашему мнению, его нельзя абсолютизировать. Для некоторых национальных литературных языков и на современном этапе главной, определяющей тенденцией является их демократизация [3]. Можно высказать пожелание более тесно связать используемый в книге социолингвистический аппарат с понятием «языковая ситуация».

Рецензируемая книга представляет интерес для широкого круга специалистов в области языкознания, социолингвистики, истории культуры. Это один из первых опытов применения социолингвистического подхода к изучению проблем истории языка. Почти одновременно с исследованием В. К. Журавлева вышла в свет монография [4], в которой также предпринята попытка разработки основ историко-социолингвистической теории. Однако по своим задачам она более ограничена: в ней социолингвистический подход соединяется с решением конкретных вопросов исторического синтаксиса. Книга В. К. Журавлева вносит важный вклад в разработку теории диахронической социолингвистики, она является серьезным шагом на пути становления новой области социолингвистических исследований.

Смирнов Л. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. М., 1977.
2. Акуленко В. В. Научно-техническая революция и проблема интернациональной терминологии. — В кн.: Научно-техническая революция и функционирование языков мира. М., 1977.
3. Смирнов Л. Н. Новый этап демократизации славянских литературных языков в эпоху социалистических преобразований. — В кн.: Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. Киев, 1982.
4. Romatne S. Socio-historical linguistics; its status and methodology. Cambridge, 1982.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Исполнилось 100 лет деятельности Финно-угорского общества, основанного в 1883 г. в г. Хельсинки по инициативе общественных и научных деятелей Финляндии и превратившегося со временем в один из представительных международных центров финно-угорских исследований. Общество с самого начала поставило своей основной задачей изучение особенностей языков и культуры финно-угорских, прежде всего финноязычных, народов, а также более общих проблем уральистики и алтаистики.

За столетний период своей активной деятельности Общество проделало значительную работу. Об этом свидетельствуют огромное число трудов в таких периодических изданиях, как «Журнал Финно-угорского общества» (JSFOu), опубликованный к 1983 г. 78 номерами; «Мемориалы Финно-угорского общества» (MSFOu), вышедший в 185 томах; ежегодник (с 1901 г.) «Финно-угорские исследования» (FUF), изданный 45 номерами; специальные серии: «Lexica» (20 томов), «Этнографические труды» (10 томов), «Учебные пособия для изучения финно-угорских языков» и мн. др. В этих трудах наряду с обширным числом исследований по финно-угорским, индоевропейским, уральским и алтайским языкам содержатся интересные публикации и по смежным наукам: археологии, этнографии, фольклору и пр.

Финно-угорское общество объединяет в своих рядах ученых не только Финляндии, но и других стран. Почетными членами Общества были и ныне являются многие видные ученые России и Советского Союза.

1—3 декабря 1983 г. в г. Хельсинки проходил симпозиум на тему «Взаимосвязи уральских языков с другими языковыми семьями» и состоялось юбилейное годичное заседание Финно-угорского общества. Тексты основных докладов были заранее опубликованы (см. *Symposium societatis Fenno-ugricae*. — MSFOu, 185, 1983), что в значительной степени облегчило и оживило их обсуждение.

Первый день заседаний был посвящен докладам, связанным в основном с прибалтийско-скандинавской тематикой.

И. Койвулеhto (Финляндия) в докладе «О времени расселения древних финнов в Прибалтике? К относительной и абсолютной хронологии индоевропейских лексических заимствований в прибалтийско-финских языках» сопоставил языковые данные с археологическими и сделал вывод о начале активных контактов прибалтийских финнов с балтий-

скими и германскими племенами еще в эпоху бронзы (культуры боевых топоров и шнуровой керамики).

В докладе Т. Р. Витсо (СССР) «Освоение финнами прибрежно-морских земель — результат их прихода или языковых контактов?» высказана мысль о том, что этнокультурная основа прибалтийских финнов имеет автохтонный характер. С этих позиций автор полагает возможным считать финноязычными племена культуры с ямочно-гребенчатой и текстильной керамикой.

Известный шведский языковед Т. Шельд в докладе «О выявлении древнейших германских лексических заимствований в финском языке» остановился на истории вопроса, упомянув при этом не только языковедов (Сетеля, Карстена, Баха, Фромма и др.), но и археологов (Тальгрена, Хакмана и др.). Интересным представляется попытка докладчика проследить параллельно с древнегерманскими заимствованиями в финском языке древнефинские заимствования в германских языках. Г. Фромм (ФРГ) доложил об исследованиях германо-финских языковых контактов и истории германских языков.

Один из ведущих исследователей саамско-лопарского языка и культуры К. Бергсланд (Норвегия), избранный на юбилейном заседании почетным членом Общества, выступил с докладом «Южные лопари и языковые явления Скандинавии», в котором обосновал наличие саамского субстрата в топонимике юго-восточной Норвегии и центральной Швеции. Прослеживанию этого же саамского (лопарского) субстрата в скандинавских языках был посвящен доклад А. Кылстра (Нидерланды).

Во второй день состоялись доклады, затрагивавшие более широкие проблемы финно-угроведения и уральистики. Так, К. Редем (ВНР) в докладе «Древнейшие индоевропейские лексические заимствования в уральских языках» выделил три группы таких заимствований, которые он попытался соотнести с известными археологическими периодами: 1 — предарийский слой (около 4000 лет до н. э.) = второй курганный период; 2 — раннеарийский слой (около 3000 лет до н. э.); 3 — индоевропейский слой (около 2000—1500 гг. до н. э.), с двумя подпериодами — финно-пермским (2000—1500 гг. до н. э.) и финно-волжским (1500—500 гг. до н. э.). Доклад вызвал оживленную дискуссию.

Доклады венгерских ученых, акад. П. Хайду и Б. Кальмана, были

посвящены в основном проблеме угорско-самодийских языковых контактов. В докладе Ю. Яхунена (Финляндия) «К вопросу о ранних индоевропейско-самодийских связях» на основании языковых и археологических данных сделан вывод, что носители таких археологических культур Сибири, как афанасьевская, андроновская, карасукская и тагарская, являлись европеоидами по антропологическому типу и индоевропейцами по языку, а племена окуневской культуры — монголоидами и самодийцами.

В ряде докладов обсуждались проблемы урало-алтаистики, т. е. вопросы контактов финно-угорских и уральских народов с преимущественно тюркоязычными народами. Г. Берекли (ВНР) в докладе «Воздействие тюркских языков на венгерский» остановился на одном из сложных вопросов истории венгерского языка — о времени и характере тюркоязычных заимствований. Эта же проблема, но только с археологических позиций была рассмотрена в докладе А. Халикова (СССР) «О времени и месте

активных контактов древних венгров и болгар».

Проблемы урало-алтаистики и более древних языковых взаимосвязей нашли освещение в докладах Р. Аустерлица (США), А. Рона-Таша (ВНР) и Н. Поппе (США).

В целом симпозиум показал, что на современном этапе развития финно-угроведения, индоевропеистики и алтаистики наметилось стремление языковедов при исследовании вопросов, связанных с историей языка, более широко использовать данные и других наук, в частности археологии. К этому в прошлом стремились и такие видные члены Финно-угорского общества, как А. Тальгрэн, Г. Рамстедт, Н. Паасонен, Е. Итконен и др.

2 декабря 1983 г. состоялось годовое, а затем юбилейное заседание Финно-угорского общества, где с приветствиями выступили представители Швеции (проф. Т. Шельд), Венгрии (акад. П. Хайду) и Советского Союза (проф. А. Халиков).

Халиков А. (Казань)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1984 г.

Материалы февральского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС	2
--	---

СТАТЬИ

Аксенов А. Т. К проблеме экстралингвистической мотивации грамматической категории рода	1
Алексеев М. П. Русский язык в мировом культурном обиходе	2—3
Жукова А. Н. Инкорпоративный комплекс как словосочетание в языках чукотско-камчатской группы	6
Кацнельсон С. Д. Речемыслительные процессы	4
Кононов А. Н. Актуальные проблемы тюркского языкознания	6
Кубрякова Е. С. О номинативном компоненте речевой деятельности	4
Перельмутер И. А. Индоевропейский медий и рефлексив	1
Петр Я. Международная целевая программа «Национальные языки в развитии социалистическом обществе» (социально-лингвистические, методологические и научно-практические аспекты)	5
Солнцев В. М. Вариативность как общее свойство языковой системы	2
Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян	2—3
Чесноков П. В. Логические и семантические формы мышления как значение грамматических форм	5
Эдельман Д. И. К генетической классификации иранских языков	6

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Агрикола Э. Микро-, мидео- и макроструктуры как содержательная основа словаря	2
Болдырев А. Н. «Семь вторящих» (к истории одного арабopersидского стиховедческого термина)	3
Бурт Э. М. Научные понятия как системы и их описание в толковых терминологических словарях	1
Васченко В. Грамматическая категория общего рода в русском языке	5
Верещагин Е. М. К проблеме красогласия слов в византийской гимнографии (в связи с анализом рифмы в древнеславянских переводах)	4
Вернер Г. К. Типология элементарного предложения в египетских языках	3
Гаджиева Н. З. Проблемы ареальной лингвистики (на материале языков народов СССР)	2
Горелов И. Н. Проблема лингвистического обеспечения искусственного интеллекта	5
Журавлев В. К. Диахроническая фонология. Состояние и перспективы	5
Зыцарь Ю. В. О единстве сознания и различиях языков	4
Колосова Т. А., Черемисина М. И. О принципах классификации сложных предложений	6
Конечкая В. П. О системности лексики	1
Кривонос А. Т. «Текст» и логика	3
Лаптева О. А. О языковых основаниях выделения и разграничения разновидностей современного русского литературного языка	6
Малащенко В. П., Богачев Ю. П. Словосочетание и члены предложения	6
Малкова О. В. К истории образования восточнославянских языков (По данным Галицкого евангелия 1266—1301 гг.)	4
Меновщиков Г. А. Эскимосско-алеутское языкознание. Итоги и проблемы	5
Овчаренко В. М. Моделирующие функции субстанции выражения в языке	6
Откупщиков Ю. В. Закон Лахмана в свете индоевропейских данных	2
Панфилов В. С. Исходные понятия вьетнамского синтаксиса	1
Попова З. Д. Может ли обойтись синтаксис без учения о членах предложения?	5
Потаенко Н. А. К языковому освоению временной структуры действительности	6
Соколянский А. А. Происхождение одного фонологического парадокса в современном русском литературном языке	3

Улукханов И. С. Узуальные и окказиональные единицы словообразовательной системы	1
Франчук В. Ю. О языке древнерусской дипломатии	4
Цветков Н. В. К методологии компонентного анализа	2
Шабес В. Я. О проксии содержательных единиц на план выражения	5
Шанидзе А. Г. Грамматические заметки	2
Шаховский В. И. Значение и эмотивная валентность единиц языка и речи	6
Шевякова В. Е. О некоторых закономерностях взаимодействия интонационных и синтаксических средств выражения грамматического значения	4
Щербак А. М. О нестратегических исследованиях с позиций тюрколога	6
Ширяев Е. Н. Основы системного описания бессоюзных сложных предложений	1
Шмидт К. Х. Типологическое сопоставление систем картвельского и индоевропейского глагола	3

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Абдуллаев А. А. Развитие лакско-русского двуязычия	2
Алексеев М. Е. К вопросу о классификации лезгинских языков	5
Антонова Т. И. Текстовые формулировки научного определения	1
Беркетова З. В. Иерархические и параллельные связи мотивационных полей современного немецкого языка	4
Бузаров В. В., Бузарова М. Д. О нейтрализации на синтаксическом уровне	4
Бухария В. И. Вводные слова в аспекте актуального членения	1
Вейхман Г. А. Лингвистика текста и проблема сложно-подчиненных предложений	5
Востокова Г. В. Семантическая мотивация сложного слова	1
Гречко В. К. О семантике пассивных конструкций (на материале немецкой научной речи)	4
Забавников Б. Н. К проблеме структурирования речевого акта (речевого действия)	6
Канонич С. И. Принципы типологии контекстных грамматических категорий	1
Катликская Л. П. К вопросу о категориях описания в синхронном словообразовании	6
Лаптева О. А. Типология вариативных синтаксических рядов в аспекте функционирования литературного языка	2
Муравичка М. П. Психолингвистический аспект взаимодействия лексического и грамматического в слове	5
Никулеску Р. И. От безвидового языка к видовому	2
Пюрбеев Г. Ц. Об актуальности типологического изучения синтаксиса предложения монгольских языков	4
Томахин Г. Д. Топонимы как реалии языка и культуры (на материале географических названий США)	4
Ушаков В. Д. Стилистическая функция фразообразовательных средств (на материале текста Корана)	4
Харитончик З. А. Семантические особенности производных признаковых слов	4
Чарков С. Л. Наречные слова и частицы в системе частей речи бурятского языка	3
Чеерчиев М. Ч. К теоретическому обоснованию фонологических экстраполяций (на материале аварского языка)	4
Чернышева М. И. Эквиваленты, заимствования и кальки в первых славянорусских переводах с греческого языка	2
Шелов С. Д. Терминология, профессиональная лексика и профессионализмы (К проблеме классификации специальной лексики)	5
Шульга М. В. О причинах устранения родовых различий во множественном числе у родопринадлежащих слов	3
Эмрова А. М. К вопросу о номинативной сущности фразеологических (идиоматических) предикатов	6
Яцкевич Л. Г. Средства выражения предметности в русском языке	1

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Карцевский С. Введение в изучение междометий	6
--	---

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Домашнев А. И. Реформа немецкой орфографии	3
Мельничук А. С. Лингвистическая проблематика на IX Международном съезде славистов	3

Николаева Т. М. Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции	3
Торсуева И. Г. Современная проблематика интонационных исследований	1

Рецензии

Алиатов В. М. Невзоров С. В. Общественно-языковая практика современной Японии	3
Беляев Д. Д. Lunt H. G. The progressive palatalization of Common Slavic	3
Благова Г. Ф., Наджиб Э. Н. Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России. Досоветский период	3
Бородин М. А., Рахматулаева Т. Г. Walter H. Enquête phonologique et variétés régionales du français	2
Винокур Т. Г. Типы наддиалектных форм языка	1
Волкова З. Н. Алисова Т. Б., Репина Т. А., Таривердиева М. А. Введение в романскую филологию	6
Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Peruzzi E. Myseneans in early Latin	1
Даниленко В. П., Панько Т. И. Интернациональные элементы в лексике и терминологии	1
Демьянов В. Г. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол	4
Зекко У. С. Кумаков М. А. Сравнительно-историческая фонетика адыгских (черкесских) языков	2
Иванов В. В. Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги	5
Карлинский А. Е. Копыленко М. М., Саина С. Т. Функционирование русского языка в различных слоях казахского населения	4
Карпенко Ю. А. Lutterer J., Majtán M., Šrámek R. Zeměpisná jména Československa. Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Malé encyklopedie	4
Лаанест А. Х. Heutige Wege der finnischen Dialektologie	5
Михайловская Н. Г. Кожин А. Н., Крылова О. А., Одинцов В. В. Функциональные типы русской речи	2
Мокиенко В. М. Matešić J. Grazeološki rječnik hrvatskog ili srpskog jezika	4
Нерознак В. П. Цыгун Г. А. Типологические проблемы балканославянского языкового ареала	2
Полинская М. С., Журинская М. А. Handbook of Australian languages	6
Репина Т. А. Будагов Р. А. Язык — реальность — язык	5
Слюсарева Н. А. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии	5
Смирнов Л. Н. Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции	6
Тестелец Я. Г. Dixon R. M. W. The languages of Australia	5
Федоров А. В. Пужынский А. Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык	3

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	1—6
--------------------------------	-----

CONTENTS

Articles: K o n o n o v A. N. (Leningrad). Topical problems of Turkic linguistics; E d e l' m a n D. I. (Moscow). On the genetic classification of Iranian languages; Z u k o v a A. N. (Leningrad). The incorporative complex as a word-group in Chukot-Kamchatian languages; **Discussions:** Š c e r b a k A. M. (Leningrad). On the Nostratic studies from the turcological point of view; P o t a e n k o N. A. (Piatigorsk). On the means of expressing the category of time in language; L a p t e v a O. A. (Moscow). Principles of determining and differentiating the varieties of modern literary Russian; K o l o s o v a T. A. (Voronež). Ceremisina M. I. (Novosibirsk). Principles of classification of non-simple sentences; M a l a š c e n k o V. P. (Rostov-on-Don), B o g a č e v J u. P. (Moscow). Word-group and part of the sentence; O v č a r e n k o V. M. (Kharkov). Modelling function of the substance of expression in language; S a x o v s k i j V. I. (Volgograd). Meaning and emotive valency of language and speech units; **Materials and notes:** K a t l i n s k a j a L. P. (Moscow). Phenomena of synchronic word-formation and categories of their description; E m i r o v a A. M. (Samarkand). On the nominative character of phraseological (idiomatic) predicates; Z a b a v n i k o v B. N. (Moscow). On the structuring of the speech act; **From the history of science:** K a r c e v s k i j S. Introduction to the study of interjections; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: K o n o n o v A. N. (Léningrad). Problèmes actuels de la linguistique turque; E d e l' m a n D. I. (Moscou). Sur la classification génétique des langues iraniennes; Z u k o v a A. N. (Léningrad). Le complexe incorporatif en tant que groupe de mots dans les langues tchoukote-kamtchatiennes; **Discussions:** Š c e r b a k A. M. (Léningrad). Sur les recherches nostratiques au point de vue de turcologie; P o t a e n k o N. A. (Piatigorsk). Moyens de l'expression de la catégorie du temps dans la langue; L a p t e v a O. A. (Moscou). Principes de détermination et de différenciation des variétés du russe littéraire contemporain; K o l o s o v a T. A. (Voronež). Ceremisina M. I. (Novosibirsk). Sur la classification des phrases complexes; M a l a š c e n k o V. P. (Rostov-sur-Don), B o g a č e v J u. P. (Moscou). Groupe de mots et terme de la proposition; O v č a r e n k o V. M. (Kharkov). La fonction modélante de la substance expressive dans la langue; S a x o v s k i j V. I. (Volgograd). Signification et valeur emotive des unités de la langue et de la parole; **Matériaux et notices:** K a t l i n s k a j a L. P. (Moscou). Phénomènes de la formation des mots synchronique et catégories de leur description; E m i r o v a A. M. (Samarkand). Sur le caractère nominatif des prédicats phraséologiques (idiomatiques); Z a b a v n i k o v B. N. (Moscou). Structuration de l'acte de la parole; **De l'histoire de la science:** K a r c e v s k i j S. Introduction à l'étude des interjections; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Рафина Т. И.*

Сдано в набор 29.08.84. Подписано к печати 22.11.84. Т-13396. Формат бумаги 70×108/16.
 Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 82,2 тыс. Уч.-изд. л. 16,7 Бум. л. 5
 Тираж 5601 экз. Зак. 501

Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-82, Подсосенский пер., 21
 2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 с., объем рецензии — 10 с. Объем хроникальной заметки — 3—5 с. машинописи (хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни).

3. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

4. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

5. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и регистратора в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

6. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;

б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3]; в случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

7. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

8. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

9. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»**

- БЕ — Български език
 ВДИ — Вестник древней истории
 ВИ — Вопросы истории
 ВСЯ — Вопросы славянского языкознания
 ВФ — Вопросы философии
 ВЯ — Вопросы языкознания
 ЕИЯЯ — Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
 ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
 ЗВО РАО — Записки Восточного отделения Русского археологического общества
 ИАН СЛЯ — Известия АН СССР. Серия литературы и языка
 ИКЯ — Иберийско-кавказское языкознание
 ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
 ИЯШ — Иностранные языки в школе
 РЯНШ — Русский язык в нац. школе
 РЯШ — Русский язык в школе
 СБНУ — Сборник за народни умотворения
 СТ — Советская тюркология
 ФН — Доклады высшей школы. Филологические науки
 ADAW — Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
 AfslPh — Archiv für slavische Philologie
 AGI — Archivio glottologico Italiano
 AKGW — Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
 AL — Acta linguistica
 AmA — American anthropologist
 ANF — Arkiv för nordisk filologi
 AO — Archiv orientali
 APAW — Aphandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
 BCLC — Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague
 BPTJ — Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
 BSLP — Bullétin de la Société de linguistique de Paris
 BSOS — Bulletin of the School of Oriental studies
 BzNf — Beiträge zur Namenforschung
 CAJ — Central Asiatic Journal
 CFS — Cahiers F. de Saussure
 CJ — The classical journal
 FPhon — Folia phoniatrica
 FuF — Finnisch-ugrische Forschungen
 HR — Hispanic review
 IF — Indogermanische Forschungen
 IJ — Indo-Iranian journal
 IJAL — International journal of American linguistics
 JA — Journal asiatique
 JASA — Journal of the Acoustical society of America
 JEGPh — Journal of English and Germanic philology
 JP — Język polski
 JRAS — Journal of the Royal Asiatic society
 JSFOu — Journ. de la Société finno-ougrienne
 JФ — Южнославянский филолог
 KZ — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen
 LM — Les langues modernes
 MM — Maal og minne
 MSFOu — Mémoires de la Société finno-ougrienne
 MSLP — Mémoires de la Société de linguistique de Paris
 MSOS — Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin
 NSS — Nysvenska studier
 NTS — Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
 PBB — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
 PMLA — Publications of the Modern Language Association of America
 RES — The Review of English studies
 REG — Revue des études grecques
 RESI — Revue des études slaves
 RF — Romanische Forschungen
 RKJL — Rozprawy Komisji językowej Łódź. t-wa naukowego
 RKJW — Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukiwego
 RLR — Revue de linguistique romane
 RO — Rocznik orientalistyczny
 RP — Revista de Portugal. Serie A: Lingua portuguesa
 RS — Rocznik slawistyczny
 SaS — Slovo a slovesnost

SDAW — Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse
für Sprachen Literatur und Kunst
SFL — Studi di filologia italiana
SMS — Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu históriu
SPAW — Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
StO — Studia orientalia
SWAW — Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
TA — Traduction automatique
TCLC — Travaux du Cercle linguistique de Copenhague
TCLP — Travaux du Cercle linguistique de Prague
TIL — Travaux de l'Institut de linguistique
TPHS — Transactions of the Philological society
UAJb — Ural-Altaische Jahrbücher
UJB — Ungarische Jahrbücher
VR — Vox Romanica
WW — Wirkendes Wort
ZAS — Zentralasiatische Studien
ZCPh — Zeitschrift für celtische Philologie
ZDA — Zeitschrift für Deutsches Altertum
ZDMG — Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZDPh — Zeitschrift für deutsche Philologie
ZNS — Zeitschrift für neuere Sprachen
ZPhon — Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
ZRPh — Zeitschrift für romanische Philologie
ZSL — Zeitschrift für Slavistik
ZSlPh — Zeitschrift für slavische Philologie.